П·П·Бажов

П П Бажов
Уральские сказы

П. Бажов

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

П. П. БАЖОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

Р2
Б16

ИЗДАНИЕ ПЯТОЕ

Рисунки В. Панова

7—6—3

ПЕВЕЦ ЧУДЕС ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

С Павлом Петровичем Бажовым я познакомился в разгар Великой Отечественной войны. И произошло это далеко от его родных мест, на фронте, где замечательный поэт Урала никогда не бывал.

До войны мне не привелось прочесть «Малахитовую шкатулку». Конечно, знал о ней, слышал много хорошего, но книга как-то не попала в руки. И вот в войну, когда Советская Армия, наступая, образовала на Висле сначала маленькое предмостное укрепление, выросшее потом в знаменитый Сандомирский плацдарм, мы с фотокорреспондентом «Правды» переправились ночью к нашим солдатам, державшим этот крохотный кусочек земли. Он был так мал, что простреливался вдоль и поперек не только из минометов, но даже из автоматов, а огонь, который обрушивали на него немцы, был так сосредоточен, что пули выкосили всю траву перед брустверами окопов.

Этот маленький клочок земли за рекой поначалу держал один-единственный батальон, прикрываемый огнем нашей артиллерии с того берега. Горстка обстрелянных, опытных солдат так крепко вцепилась в землю, так глубоко пустила в нее корни, что противник, хотя и сознавал всю опасность положения, так и не смог сбросить их обратно.

Мы переправились через реку под покровом густого тумана на понтоне, доставившем пополнение и боеприпасы. Майор, руководивший обороной «пятачка», маленький, загорелый, совершенно осипший человек с худым, нервным, но чисто выбритым лицом, непрерывно курил, всякий раз прижигая новую папиросу от уже докуренной. По выговору мы сразу угадали, что он коренной уралец.

В эти часы Висла как бы дремала, затянутая низким, гус-

тым слоистым туманом. На плацдарме было тихо, только лягушки надрывались в плавнях на той стороне. В звездной синеве непрерывно мерцали осветительные ракеты. Враг не спал. Изредка гудели высоко в небе моторы самолетов: наши шли на бомбежку Берлина.

Разведя подкрепления по стрелковым ячейкам, эвакуировав на обратных понтонах раненых, отправив на тот берег боевое донесение, майор вернулся в блиндажик — маленькую, тесную нору, вырытую в крутом берегу. Мы с фотокорреспондентом уже улеглись на свежей яровой соломе, но не спалось. Мы видели, как этот маленький человек, который вот уже пять суток нес непосильную тяжесть, руководя горсткой советских солдат за рекой, человек, которому полагалось бы в эти редкие минуты затишья свалиться и уснуть каменным сном, тихо прошел мимо нас в глубь блиндажа, засветил карбидную лампочку, вытащил из подсумка какую-то книжку с оторванным переплетом и стал читать. Да, именно читать страницу за страницей, спокойно, сосредоточенно, будто сидел он за освещенным столиком в тихом библиотечном зале, а не лежал на соломе на крошечном куске земли, окруженном вражескими войсками, где его в любое мгновение мог заживо похоронить случайный снаряд.

Это было так странно, что, забыв о сне, мы из своего угла молча следили за ним. По мере того как он читал, напряженное, нервное лицо как бы отходило, преждевременные морщины разглаживались, оно становилось спокойным и точно бы молодело. Читал он с полчаса, потом закрыл книгу, задумался о чем-то своем и, вероятно, очень далеком от его беспокойных фронтовых дел, вздохнул, убрал книгу в полевую сумку и прилег на соломе. Но заснуть ему так и не удалось. Противник внезапно обрушил на плацдарм огневой удар, такой тяжелый, что земля заходила и бревна накатника зашевелились над головами. Наша артиллерия ответила из-за реки. Завязалась огневая дуэль. Разрывы оборвали телефонные провода, и, лишившись связи с ротами, майор побежал в траншеи организовывать контратаку.

Плацдарм удержали, но самого майора утром принесли на шинели. Он был убит наповал очередью из автомата.

Густой туман еще висел над рекой, но заря уже окрашивала его в нежно-розовые тона, когда мы возвращались обратно. На том же понтоне отправляли тело майора, завернутого в плащ-палатку. Офицер, заменивший его, вручил нам для передачи в политорганы части его ордена́, партбилет, полевую сумку. И мне захотелось узнать, что же с таким интересом читал этот воин ночью в последние часы своей жизни.

Книжка была старая, совсем затрепанная, закапанная стеарином. Переплета и титульного листа не было, не хватало многих страниц. Начал читать с той страницы, что уцелела. Рассказывалось о парне, который пошел в горы искать покос, встретил странную девушку, опознал в ней волшебницу — Малахитницу, приобщившую его потом к горным тайнам. Странная это была книжка. В ней все удивляло с первых же строк: и язык, сочный, своеобразный, и необычайность действующих лиц, и какое-то удивительное и в то же время ненарочитое переплетение двух миров — реального и сказочного, и, наконец, своя, особая, ни на кого не похожая простая и пленительная именно этой своей простотой манера письма.

К концу сказа я уже, разумеется, понял, что читаю знаменитую «Малахитовую шкатулку» П. П. Бажова, понял, почему, уносясь мыслями на свой далекий Урал, читал ночью офицер, и еще почувствовал, что передо мной какое-то необычное произведение искусства, свежее, сильное, завораживающее читателя.

Все уцелевшие в книге сказы были прочтены залпом, один за другим. Потом истрепанный томик этот пошел по рукам моих товарищей, военных корреспондентов. Многие из них были уже знакомы с книгой и перечитывали ее вновь. Книжка без переплета, унаследованная от убитого офицера, служила по вечерам предметом бесед, горячих литературных споров, далеких от военных дел. В этих беседах мы уходили из мира войны в мир труда, о котором совершенно по-новому, необычно и сильно, рассказывал писатель-чародей, от прикосновения пера которого самые обычные трудовые дела превращались в поэтические сказки.

В самом деле, в нашей стране, где тогда уже было введе-

но обязательное семилетнее образование, где даже старики давно ликвидировали былую неграмотность и через газеты, книги, радио приобщились к сокровищам культуры, народное поэтическое творчество, бывшее обычно изустным, естественно, должно приобретать какие-то новые формы. Среди современных дедушек и бабушек есть такие, что когда-то носили пионерские галстуки, и было бы просто смешно, если бы они, развлекая внуков, начинали свои с ними беседы традиционным зачином: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был...» и т. д.

Да и само понятие народности творчества коренным образом изменилось. Почему, скажем, частушки, сочиненные в каком-нибудь районе дояркой, избачом или учителем и потом записанные из третьих рук собирателем фольклора, идут под рубрикой «народное творчество», а, скажем, прекрасные песни Михаила Исаковского вроде «Катюши», которые распевает весь народ, под эту рубрику не подходят?

Словом, споров на эту тему было много, и все дружно сходились на том, что Бажов совершил своего рода открытие, показав, как преобразуется народное творчество в нашем советском мире, как, не теряя своих природных форм, разнообразных и ярких, оно наполняется новым, социалистическим содержанием, приобретает законченность мáстерского художественного произведения. Бажов смело переступил круг традиционных сказочных тем, которые современное народное творчество уже переросло, и смело ввел в богатую семью персонажей русской сказки уральских умельцев — честных, простых тружеников, захваченных своим делом, не чарами волшебства, а смекалкой своей рушащих все преграды, творящих не божеские и не бесовские, а человеческие чудеса.

Писатель не удовольствовался сделанным им открытием. Он сам был великолепным умельцем. Он сам, неутомимо показывая «живинку в деле», переплавлял богатейшие руды народных преданий, сказов, поговорок, столетиями бытовавших по Уралу, в свои сказы. Оставаясь *народным* сказителем, он был и *передовым литератором-коммунистом,* и поэтому сказы его, такие пленительные, непосредственные

по форме, в то же время так глубоки и богаты и в лучшем смысле современны своим содержанием. Вот почему с одинаковым интересом читает их и школьник, делающий в жизни первые самостоятельные шаги, и пенсионер, подводящий итоги жизни. Каждый находит в них что-то свое, близкое, нужное, дорогое ему, соответствующее духовным запросам своего возраста.

После того как впервые, еще там, на Висле, был прочтен сборник бажовских сказов, я не раз перечитал их в последующие годы. И чем больше думалось о его творчестве, тем все более и более органично сливался образ сказителя с образами его героев. Вопреки всему, что было известно об авторе сказов, он представлялся мне даже в виде деда Слышко, этого живого носителя трудовой поэзии уральских заводов. Он рисовался этаким уральским богатырем, в характере и облике которого запечатлены черты наиболее полюбившихся персонажей его произведений. Сказы его воспринимались как нечто целое, и автор их, подобно лирическому герою, как-то сам вплетался в это свое многообразное творчество.

И вот серенький, прохладный, неприветливый вечер поздней уральской весны. Мы идем по свердловской окраине, где молодые, высокие здания соседствуют с бодрыми, прочными деревянными домиками прошлого века. Из-за заборов доносится горький запах цветущей черемухи. Там, впереди, в уже сереющей полумгле улицы,— дом, где живет этот мудрый уралец, вобравший в себя сказочный мир своего удивительно богатого края, где столетиями в невероятных условиях, всё побеждая, опрокидывая все преграды, расцветали таланты русского мастерового человека. И я, в силу профессии повидавший на своем веку немало интересных, больших людей, признаюсь друзьям, что сейчас вот, на пороге бажовского дома, волнуюсь, как волновался когда-то в юности перед экзаменом по любому предмету.

Вместо могучего, плечистого бородача встречает нас в полутьме прихожей небольшой сутуловатый старичок с реденькой бородкой, в поношенной уютной домашней куртке, с трубкой, привычно зажатой сложенными в горсть прокуренными пальцами. Из мягкой рамки шелковистых седин

смотрит открытое русское лицо. Бажов глядит на собеседника чуть исподлобья, из-под приспущенных бровей, но взгляд у него доброжелательный, ласковый. Когда он улыбается незаметной под усами улыбкой, к глазам сбегаются живые, веселые морщинки, и от них, как это ни странно, лицо как-то вдруг свежеет и будто бы даже молодеет.

Он ведет в кабинет, который сейчас почему-то хочется назвать лабораторией, а точнее, мастерской. В самом деле, комната, наполовину занятая книжными шкафами, вспоминается именно как лаборатория, где этот мудрый старик переплавлял драгоценную руду народных сказок, легенд и пословиц в свои сказы, в которых филигранно отточена каждая строка. Все в этой комнате связано с неугомонной творческой деятельностью старого уральского литературного мастера: и сборники его сказов, изданные на всех европейских и многих восточных языках, и богатая библиотека по истории края, и коллекции минералов, образцы руд, в разное время преподнесенные Бажову рабочими, инженерами — почитателями его таланта, и чернильница, искусно сделанная специально для него камнерезами из черного камня-змеевика, и даже стулья, на которых мы сидим. Как свидетельствуют награвированные бланочки, прикрепленные к спинкам, эти стулья — подарок Бажову ко дню его семидесятилетия от рабочих местного деревообделочного завода.

Самое любопытное в комнате — письменный стол... Он весь точно бы топорщится ворохами рукописей, депутатскими письмами, образцами малахита, друзами[1] каких-то кристаллов, весь засыпан табаком и трубочным пеплом. Среди всего этого беспорядка, в котором все-таки угадывается свой, особенный порядок, стоит пишущая машинка, и в ней белеет лист с недописанной строкой. Перед машинкой — кожаная затертая подушечка. Все это освещено узким кругом света, отбрасываемого рефлектором старой конторской лампы.

— Последнее время у Павла Петровича со зрением плохо. Больше на машинке выстукивает, чем пишет. И сидеть ему трудно, работает стоя, опираясь локтями на по-

[1] Пучками.

душку,— поясняет жена писателя — черноволосая женщина, удивительно молодая и жизнедеятельная для своих лет.

— Эк ты, Валянушка, точно экскурсию водишь! — отмахивался Павел Петрович, посасывая свою трубочку, которая курится у него потихоньку, с этаким уютным хрипением, распространяя запах простого, незлого табака, которым, как кажется, пропитан и он сам, и рукописи, лежащие на столе, и вся эта комната, где он живет и работает.

Усаживаемся, и после обычных, так сказать, ознакомительных фраз завязывается неторопливая беседа, искренняя, спокойная и в то же время очень вместительная. Заметив некоторую связанность гостей, Павел Петрович сам ведет эту беседу. Он засыпает нас вопросами, и сразу становится ясно, как широк круг общественных интересов этого человека, как кипуча и полна деятельности его жизнь и с какой снайперской точностью он умеет в массе окружающих его явлений брать на прицел самое главное и интересное.

Он пристально следил за международным положением и старался вызнать все интересное о моих зарубежных поездках. Но из всех сторон зарубежной жизни его особенно интересует, как там, за границами нашей Родины, воспринимают трудящиеся великий опыт нашей революции, как простые люди земли ведут борьбу за мир и особенно как советский опыт помогает людям стран народной демократии.

— Им легче. Мы дорогу протоптали,— говорил Павел Петрович, тая под усами ласковую негаснущую улыбку.— Я вот тут как-то с одним избирателем на приеме серьезный разговор имел. Старый рабочий, а вот на именинах у зятя перебрал лишнего, прогулял смену, ну и выставили его, голубчика, с завода. Он ко мне: «Павел Петрович, потолкуй с директором, пусть хоть в сторожа, да в родной цех». А я ему: «Как я буду за тебя толковать, когда тебя правильно уволили. Стыдно тебе: ты учитель, а вон до чего набираешься». Он мне: «Какой я, Павел Петрович, учитель, токарь я». А я ему говорю: «Нет, говорю, ты учитель, ты, говорю, всем рабочим из народных демократий учитель... Разве нет? Разве не у нашего рабочего класса люди жизнь-то новую строить учатся?» И ведь понял он, этот самый почтенный

прогульщик, дошло до него, заплакал даже. «Стыдно, говорит. Павел Петрович, вот как стыдно...»

— Ну, а дальше как?

— Дальше-то? — Павел Петрович посасывает трубку, хитро посматривает из-под серых своих бровей, и кажется в эту минуту, что перед нами не знаменитый писатель, отмеченный высокими наградами, облеченный доверием избирателей, а дед Слышко со старого Сысертского завода.— Дальше-то что же. Дал он мне слово, что больше такого греха с ним не случится. Ну, я в партком завода позвонил. Вернули... Он ко мне потом на прием опять приходил, этакий благостный, в новой тройке, бритый, будто прямо из бани. «Очень, говорит, ты меня, Павел Петрович, тогда за душу тронул — учителем-то назвал».

Павел Петрович задумчиво перебирает на столе пачку свежих, частично даже еще не вскрытых конвертов.

— Сегодняшняя почта. Видите, восемь писем, в каждом чья-нибудь забота или печаль, искренне тебе, депутату, доверенные. Много пишут. Кабы вон не она,— он кивает на жену,— да не дочка, захлебнулся бы я в этих письмах. Они мне помогают разбирать и ответы писать. Всей семьей так вот и депутатствую.

Заговорили об Урале, о поездке, которую мы с женой предполагали тогда совершить по заводам, рудникам, новостройкам и золотым приискам. Бажов сразу точно бы изнутри осветился, трубочка его засипела отрывистей, веселые морщины, собравшиеся в уголках глаз, так уже больше и не разбегались.

Об Урале он мог рассказывать сколько угодно и, как говорили люди, близко его знавшие, никогда не повторялся. Бесконечные истории, любопытные случаи, происшествия, старые и новые, жили в его голове. Часто это были уже готовые, сложившиеся сказы, так и просившиеся на бумагу, но будто еще дозревавшие в нем.

Особенно почему-то запомнился рассказ Павла Петровича о посещении им цехов Уралмашзавода, когда там опробовали механизм шагания ныне знаменитого, а тогда только рождающегося экскаватора «ЭШ-14-65».

— ...По сравнению с этой машиной я почувствовал себя букашкой, муравьем. А вот не подавляло это, не унижало. Наоборот, гордость такая появлялась. Ведь это мы, маленькие, слабенькие по сравнению с этой машиной люди, выдумали ее, отлили, обточили ее огромные члены, сложили их и вот собираемся вдохнуть в них жизнь. Царь-машина! Ведь это просто представить себе трудно, как она работать будет, какой для нее фронт работы нужен. И когда она вдруг задвигала этими своими лапами, знаете что было кругом? Плакали люди... Пошел, пошел... Так вот мы до́ма смотрели, как Никитка, наш внучок, ходить начал... Люди подходили к машине и гладили ее, как лошадь какую... Царь-машина, что и говорить...

Голос его задрожал, в нем почувствовались слезы. Бажов отвернулся и с помощью какой-то необыкновенной, тоже подаренной ему кем-то из бесчисленных почитателей зажигалки долго, слишком долго раскуривал свою и без того горевшую трубочку под озабоченными взглядами встревожившейся жены.

На комоде стояла уже подвыгоревшая фотография в старинной проволочной рамке. Молодой белокурый мужчина с шелковистыми усиками и пушистой бородкой снят со стройной черноокой девушкой с волевым, умным лицом.

— Это мы с Валянушкой после свадьбы. Видите, какая она у меня была. Вот с тех пор всю жизнь и нянчится со мной. Все у нас пополам — и горе и радость. Уж как я ей только не надоел, удивляюсь,— поясняет он, краем глаза лукаво косясь на жену...

В этот раз мы много поездили по Уралу, но, конечно, не увидели и малой доли того, что хотелось и стоило посмотреть. И все же вернулись в Свердловск, полные впечатлений, смущенные, даже как-то подавленные величием всего виденного. Как договорились, расставаясь с Бажовым, снова, теперь уже днем, пришли на знакомую улицу Чапаева. В этот день своенравная уральская весна вдруг светло заулыбалась, солнце сияло в бескрайней хрустальной голубизне, и из-за заборов тянуло уже не горечью черемух, а душным ароматом зацветавшей сирени.

Бажовы, привыкшие к нашествиям малознакомых, а то и вовсе не знакомых людей, постоянно навещавших их дом, встретили нас, как старых друзей. В маленьком садике на скамейке, в пронзенной солнцем трепещущей тени раскидистой березы, собственноручно посаженной когда-то, в давние годы, Павлом Петровичем, он потребовал от нас полного отчета об уральских впечатлениях. Внимательно слушал, защитив глаза от солнца козырьком надвинутой на нос кепки, прятал в усах довольную улыбку, выспрашивал подробности, причем все время выяснялось, что все, о чем мы рассказывали, ему знакомо: и события, и люди, и их дела, и их мечты, которые нам казались порой поражающе новыми.

Говорили о Краснотурьинске, этом социалистическом городе, возникающем прямо в тайге, как-то сразу без пригородов, без окраин. Город этот действительно нас поразил. Дорога вьется меж лесистых сопок, поворот, еще поворот, и вдруг на берегу большого, как потом оказалось — искусственного, озера возникают, как в сказке, вполне современные широкие, строгие проспекты, с многоэтажными домами, с широкими тротуарами и газонами, с многолетними березами, выстроившимися вдоль них; набережная, сбегающая к озеру каменными балюстрадами террас, просторные, на столичный лад магазины, школы, клубы. Я сказал, что хочу написать в «Правду» об этом самом молодом городе, которому тогда еще едва насчитывалось пять лет.

— Напишите, напишите, только не забудьте при этом, что изобретатель-то радио Попов там родился, на Старотурьинском руднике. И рудничный музей там еще до революции был знаменитый — один умный человек там его собрал... Город-то молодой, это справедливо, но слава у него старая. Нам Иванами не помнящими родства нельзя быть.

Дослушав наши рассказы, он сказал моей жене, учительнице по профессии:

— Так довольны? То-то будете теперь ребятам в классе о нашем социалистическом Урале рассказывать! Больше, больше о нас говорите. Урал — всей страны гордость. Он ведь всегда такой был, только до поры до времени дремал, скованный, как богатырь в цепях. Революция его расковала,

социализм вон на какой простор его вывел. Должны вы, учителя, во всех концах земли советской интерес в ребятах к Уралу воспитывать. Чтобы дети загорались мечтой сюда ехать, богатства его неисчерпаемые для народа добывать... Нет такого второго места на земле, как наш Урал.

Потом обратился ко мне и, слегка покачивая в такт речи трубкой, зажатой в прокуренном кулаке маленькой руки, спросил:

— Вот вы много по белу свету бродите — как наш Урал по сравнению со всякими заграницами выглядит?

Я сказал. Бажов очень серьезно кивнул головой:

— Ну вот, видите! Когда вы в Европы-то ездите, это экскурсия в наш вчерашний, а то и в позавчерашний день, в далекое прошлое, которое у нас уже и старикам по ночам не снится... А вот поездка сюда — это в завтрашний день. Да, да, что вы думаете. А как еще мало написано об Урале, о его тружениках!.. Больше, больше надо об Урале писать.

Сам он считал это главным делом своей жизни. И думается, что никто до него не писал об уральских тружениках так необыкновенно тепло и так мудро, как он.

Перед тем как писать предисловие к этой книге, я снова, в который уже раз, перечитал ее. И, как это всегда бывает с хорошей книгой, в которую автор вкладывает не только свои наблюдения, воплощенные в художественные образы, не только свой талант, но и душу свою, перечитывая сказы, я нашел в этих произведениях много нового, ранее не замеченного, ощутил в общем течении сказов новые глубины, новые мысли. И еще выше, еще прекрасней поднялся из них передо мной обобщенный образ уральского труженика, великого умельца, поэта своей профессии, мастерство которого покоряет всё и вся.

Славный рабочий человек, искусными руками которого создано все, чем горда и богата земля,— излюбленный герой П. П. Бажова. Всепокоряющее, неутомимо ищущее мастерство, «живинка в деле»— его главная тема. Это та самая живинка, которая, воплощенная в ленинской идее социалистического соревнования, помогает советским труженикам вершить сейчас чудеса трудовых подвигов. Недаром один из

славнейших поэтов-большевиков, Демьян Бедный, человек с необыкновенно развитым ощущением нового, именно этому сказу посвятил стихотворение:

...Колдун уральский бородатый,
Бажов дарит нам новый сказ.
«Живинка в деле» — сказ богатый
И поучительный для нас.
В нем слово каждое лучится,
Его направленность мудра,
Найдут чему здесь поучиться
Любого дела мастера...

И это именно так. Юноши и девушки, что будут читать эту книгу, почерпнут в ней любовь к всесозидающему, всепокоряющему труду, почувствуют романтику простой и, казалось бы, обычной, обыденной работы. Она зажжет в них огонек трудового искательства, ту самую «живинку в деле», которая любую работу превращает в праздник.

Перед читателем этой книги стоит волшебная малахитовая шкатулка: здесь лучшие сказы П. П. Бажова, автобиографическая повесть «Зеленая кобылка», отрывок из поэтической и тоже в значительной мере автобиографической книги «Дальнее — близкое». Много неожиданных радостей, волнений, и гнев, и восторг доведется испытать тем, кто будет перебирать сокровища малахитовой шкатулки. О многом поведает им на Думной горе старый уралец — дед Слышко. Я не буду портить читателям впечатления назидательными пересказами и толкованиями — сокровища малахитовой шкатулки не требуют ни рекламы, ни комментариев. Каждый увидит и поймет их соответственно своему возрасту и, приняв, обязательно запомнит, — нет, не только запомнит, но и полюбит на всю жизнь.

Мне же только хочется напомнить юным читателям необыкновенной этой книги, с каким вниманием и восторгом читал ее смертельно усталый советский офицер при свете коптилки в блиндаже, вырубленном саперами в прибрежном откосе, читал после долгого боя в последнюю ночь свою.

Борис Полевой

Уральские сказы

У КАРАУЛКИ НА ДУМНОЙ ГОРЕ

Вместо предисловия[1]

В детстве пришлось мне три года провести в Полевском заводе. Было это чуть не полвека тому назад — в 1892—1895 годах.

Жили мы за рекой, почти у самой горы Думной, в небольшом домике, стоявшем на шлаковых отвалах.

Кругом было пустынно и безлюдно.

[1] «У караулки на Думной горе» — предисловие П. П. Бажова к первому изданию в 1939 году его сборника уральских сказов «Малахитовая шкатулка».

В той стороне, где теперь высятся многочисленные корпуса криолитового завода и соцгородка, виднелось лишь чуть всхолмленное поле старого Гумёшевского рудника, а за рудником и заводским поселком тянулись темно-синей полосой бесконечные хвойные леса...

Недалеко от нашего дома находилась заводская «дровяная площадь». Для ее охраны на горе Думной была поставлена будка с колоколом. Звон колокола по вечерам казался таинственным, и детское воображение рисовало и связывало с будкой всякие «страшные истории».

— Пойдем на гору сказки слушать,— пригласил меня один из первых моих полевских приятелей.

— Сказки?.. Что я, маленький?

— Пойдем! Сегодня на карауле дедушка Слышко стоит. Он занятно сказывает. Про девку-Азовку*[1], про Полоза, про всякие земельные богатства...

В Полевском заводе тогда медеплавильное производство доживало свои последние дни. Переделочные цехи работали на слитках Северского завода, но тоже с большими перебоями. В этих условиях заводское население усиленно ударилось в поиски золота и хризолитов. Понятно, что это отражалось и в быту.

Об Азовке и Полозе, о кладоискательских приметах и всяких земельных богатствах мне уже не раз приходилось слышать. Но все это было как-то не по-настоящему, без начала, без конца. Послушать об этом заново показалось интересно. Пошел с товарищем на гору и с той поры стал самым ревностным слушателем дедушки Слышко. Из игр потом вечерами выходил, чтобы не пропустить дежурства этого заводского сказителя.

* * *

Звали его Хмелинин Василий Алексеевич, но это лишь по заводским и волостным спискам. Для ребят он был «дедушка Слышко». У взрослых были для него еще два прозванья — Стаканчик и Протча,— на которые старик откликался.

---

[1] Слова, отмеченные звездочкой, объяснены в конце книги.

Был он почти одинок. «Старуха» — годов на десять его моложе — больше «по людям ходила»: где повивалась, где домовничала... Может быть, поэтому старик всегда был ласков с ребятами и охотно рассказывал им свои затейные сказы.

Годы высушили его, ссутулили, снизили. И только не по росту широкие плечи да длинные руки напоминали, что сила в этом теле была немалая.

Держался старик, однако, бодро, бойко шаркал ногами в подшитых валенках и задорно вскидывал свою белую, клинышком, бороду.

Среди взрослых Хмелинин слыл знатоком «всех наших песков», веселым балагуром, а порой и «подковырой».

* * *

На плотине «отдали восемь часов». То же повторилось на колокольне. Третья очередь — Думной горы.

Дедушка Слышко уже взобрался на невысокий помост и ждет, когда замрет вдали последний звук.

Потом размеренно бьет в колокол и приговаривает:

— Знай наших! Тонко, да звонко, и спать неохота...

Отбив, не спеша сходит с помоста, усаживается на крылечке караулки и начинает набивать свою «аппетитную».

Самое спокойное время... В эти часы дед что-нибудь рассказывает. Но, если попросит кто сказку, он всегда поправит:

— Сказку, говоришь? Сказку это, друг, про попа да про попадью. Такие тебе слушать рано. А то вот про курочку-рябушку да золото яичко, про лису с петухом и протча. Старухи маленьким сказывают. Ты, поди, опоздал такие слушать, да и не умею я. Кои знал, и те позабыл. Про старинное житье — это вот помню. Много такого от своих стариков перенял да и потом слыхал. Тоже ведь на людях, поди-ка, жил. И в канаве топтали, и на золотой горке сиживал. Всяко бывало. Восьмой десяток отсчитываю. Это тебе не восемь часов в колокол отбрякать! Нагляделся, наслушался. Только

это не сказки, а сказы да побывальщины прозываются. Иное, слышь-ко, и говорить не всякому можно. С опаской надо. А ты говоришь — сказку!

— Думаешь, про тайну силу правда?

— А то как же...

— А у нас в школе говорили...

— Мало что в школе... Ты учись, а стариков не суди. Им, может, веселей было все за правду считать. Ты и слушай, как сказывают. Вырастешь — тогда и разбирай, кое быль, кое небылица. Так-то, милачок! Понял ли?..

Старик рассказывал так, будто он сам «все видел и слышал». Когда упоминались места, видные с горы, он указывал рукой:

— Вон у того места и упал...— Около дальнего-то барабана главный спуск был. Тут и собрались, а Степан и говорит...— Теперь нету, а раньше, поправее вон тех сосен, горочка была. Змеиная прозывалась. Данило и повадился туда...

Если приходилось слышать сказ во второй или третий раз, легко было заметить, что старик говорил не одними и теми же словами. Порой менялся и самый порядок рассказа, по-разному передавал он и всякие подробности.

Иной слушатель не выдержит — заметит:

— В тот раз, дедушка, ты об этом не говорил...

— Ну, мало ли... Забыл, видно, а так, слышь-ко, было. Это уж будь в надежде — так!

Всю свою долгую жизнь, «пока мога была», старик работал на рудниках и золотых приисках*. Жизнь горняка и старателя* он «испытал до дна». Все было ему известно, вплоть до «нечаянного богатства». В свои сказы старик вводил многое из того, что сам видал, сам испытал. И наравне с явным вымыслом была в его сказах и чистая правда.

Рассказывая, например, «о старой дороге», он показывал место, где она проходила, хотя никаких признаков ее уже не было. Такая дорога действительно была, судя по историческим документам.

«Старые люди» у Хмелинина живут и действуют близко к исторической правде.

Хозяйка Медной горы, Полоз, его дочери Змеевки * — вся эта «тайная сила» действует по-человечески, вполне сознательно: одним помогает, других наказывает, барам и начальству всегда враждебна.

Действиями этой силы старик объяснял многое, что казалось непонятным малограмотному горняку прошлого.

«Исчезла жилка — Полоз отвел; в камне оказалось золото — Змеевка прошла, след оставила; нашел человек редкие по красоте и объему глыбы малахита — Хозяйка горы помогла», и т. д.

В результате сказы Хмелинина можно рассматривать как своего рода историко-бытовые документы. В них не только отразилась полностью тяжелая жизнь старого горняка, но и его наивное понимание «земельных чудес» и его мечта о других условиях жизни, каких — сказитель и сам не знал, не мог представить себе, но только не тех, в каких проходила его жизнь.

Сказы В. А. Хмелинина в свое время никем записаны не были.

Заводские служащие — «прахтикованные техники» или «люди с хорошим почерком и бойким счетом» — не могли, конечно, оценить сказы по достоинству, а те, что «стояли повыше» и были чуть грамотнее, относились пренебрежительно к «каким-то сказам старичонки караульного».

Этим «важным людям» было невдомек, что неграмотный «старичонка караульный» с редкой глубиной прочувствовал и понял жизнь горнозаводского рабочего и, как подлинный художник, сумел передать ее в образах, где уральская фантастика переплелась с исторической правдой.

* * *

Память не в силах, конечно, донести полностью все то, что было слышано чуть не полвека назад. В лучшем случае сохранились остов сказа, его стиль, кой-какие имена, названия да некоторые наиболее запомнившиеся выражения. По этим вешкам сказы и воспроизводились. Помогло также некоторое знакомство с историей заводского округа, близость

родного местного говора и свой жизненный путь, долгое время проходивший по тем же местам, где работал, жил и слагал свои сказы дедушка Слышко.

Хотелось бы, чтобы эта запись по памяти хоть в слабой степени отразила ту непосредственность и увлекательную силу, которыми были полны сказы, слышанные у караулки на Думной горе.

П. Бажов

МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА

Пошли раз двое наших заводских траву смотреть.

А покосы у них дальние были. За Северушкой где-то.

День праздничный был, и жарко — страсть. Парун * чистый. А оба в горе робили, на Гумёшках то есть. Малахит-руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали и там протча, что подойдет.

Один-от молодой парень был, неженатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный *. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял завсе * тот человек.

В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух легкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железну руду добы-

вали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать — девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь.

Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо — на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Однем словом, артуть *-девка. Слыхать — лопочет что-то, а по-каковски — неизвестно, и с кем говорит — не видно. Только смешком все. Весело, видно, ей.

Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.

«Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Ее одежа-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косой-то своей».

А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить.

«Вот,— думает парень,— беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта — малахитница-то — любит над человеком мудровать.

Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой:

— Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько.

Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а все-таки девка. Ну, а он парень — ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.

— Некогда,— говорит,— мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли.

Она посмеивается, а потом говорит:

— Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть.

Ну, парень видит — делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит, обойди-де руду-то с другой стороны. Он и обошел и видит — ящерок тут несчисленно. И всё, слышь-ко, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло либо слюда, блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены.

Девка смеется.

— Не расступи,— говорит,— мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленьки.

А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали.

Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала да и говорит, и все смехом:

— Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу — беда будет.

Он поглядел под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки-то сбились в одно место,— как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это руда медная! Всяких сортов и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блёски всякие, кои на малахит походят.

— Ну, теперь признал меня, Степанушко? — спрашивает малахитница, а сама хохочет-заливается.

Потом, мало погодя, и говорит:

— Ты не пужайся. Худого тебе не сделаю.

Парню забедно * стало, что девка над ним насмехается да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже:

— Кого мне бояться, коли я в горе роблю!

— Вот и ладно,— отвечает малахитница.— Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик *, ты ему скажи, да смотри не забудь слов-то:

«Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели

еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумешках туда спущу, что никак ее не добыть».

Сказала это и прищурилась:

— Понял ли, Степанушко? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди да тому, который с тобой, ничего смотри не говори. Изробленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать. И так вон лазоревке сказала, чтоб она ему маленько пособила.

И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались.

Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног — лапы у ее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:

— Не забудь, Степанушко, как я говорила. Велела, мол, тебе,— душному козлу,— с Красногорки убираться. Сделаешь по-моему, замуж за тебя выйду!

Парень даже сплюнул вгорячах:

— Тьфу ты, погань какая! Чтоб я на ящерке женился.

А она видит, как он плюется, и хохочет.

— Ладно,— кричит,— потом поговорим. Может, и надумаешь?

И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул.

Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело не малое, а он еще,— и вер-

но,— душной был — гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь Хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвастуном себя оказать.

Думал-думал, насмелился:

— Была не была, сделаю, как она велела.

На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит:

— Видел я вечор Хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на Гумешках туда спустит, что никому не добыть.

У приказчика даже усы затряслись.

— Ты что это? Пьяный али ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!

— Воля твоя,— говорит Степан,— а только так мне велено.

— Выпороть его,— кричит приказчик,— да спустить в гору и в забое * приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что — драть нещадно.

Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный,— тоже собака не последняя,— отвел ему забой — хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было,— крепость *. Всяко галились * над человеком. Надзиратель еще и говорит:

— Прохладись тут маленько. А уроку с тебя будет чистым малахитом столько-то,— и назначил вовсе несообразно.

Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каелкой * помахивать, а парень все-таки проворный был. Глядит,— ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало.

«Вот,— думает,— хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне Хозяйка».

Только подумал, вдруг зносияло. Глядит, а Хозяйка тут, перед ним.

— Молодец,— говорит,— Степан Петрович. Можно чести приписать. Не испужался душного козла. Хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.

А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а Хозяйка им распорядок дала:

— Урок тут наломайте вдвое. И чтобы наотбор малахит был, шелкового сорту.— Потом Степану говорит: — Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданое.

И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она

идет — все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Однем словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней — на Хозяйке-то — меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут-идут, остановилась она.

— Дальше, — говорит, — на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после Гумешек самое дорогое место.

И видит Степан огромную комнату, а в ней постели, столы, табуреточки — всё из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью, а на ем цветки медны.

— Посидим, — говорит, — тут, поговорим.

Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает:

— Видал мое приданое?

— Видал, — говорит Степан.

— Ну, как теперь насчет женитьбы?

А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышь-ко, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться! Простой человек, обыкновенный. Помялся-помялся Степан да и говорит:

— Приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой.

— Ты, — говорит, — друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж али нет? — И сама вовсе принахмурилась.

Ну, Степан и ответил напрямки:

— Не могу, потому другой обещался.

Молвил так-то и думает: огневается теперь. А она вроде обрадовалась.

— Молодец, — говорит, — Степанушко. За приказчика те-

бя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменну девку.— А у парня верно невесту-то Настей звали.— Вот,— говорит,— тебе подарочек для твоей невесты,— и подает большую малахитову шкатулку.

А там, слышь-ко, всякий женский прибор. Серьги, кольца и протча, что даже не у всякой богатой невесты бывает.

— Как же,— спрашивает парень,— я с эким местом наверх подымусь?

— Об этом не печалься. Все будет устроено, и от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой, только вот тебе мой сказ — обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько.

Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки — полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит:

— Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне.— А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнехонька горсть.— На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь,— и подает ему.

Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть живая, и трясется маленько.

Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает:

— Куда мне идти? — А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне — опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала, Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел. Посмеяться ладил, а видит — у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор, сорт сортом. «Что,—

Говорит Хозяйка Медной горы:— Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне.— А у самой слезы...

думает,— за штука? Откуда это?» Полез в забой, осмотрел все да и говорит:

— В эком-то забое всяк сколь хошь наломает.— И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил.

На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали, а у того — у племянника-то — скажи на милость, ничего доброго нет, все обальчик * да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику. Так и так.

— Не иначе,— говорит,— Степан душу нечистой силе продал.

Приказчик на это и говорит:

— Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пущай только малахитовую глыбу во сто пуд найдет.

Велел все-таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал — на Красногорке работы прекратить.

— Кто,— говорит,— его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча.

Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил:

— Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли — это уж как счастье мое подойдет.

Вскорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх. Гордятся,— вот-де мы какие, а Степану воли не дали.

О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышько, Сам-Петербурху *. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана.

— Вот что,— говорит,— даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше пяти сажен длиной.

Степан отвечает:

— Меня уж раз оплели. Ученый я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет — увидим.

Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно свое:

— Чуть было не забыл — невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это за порядок — сам буду вольный, а жена в крепости.

Барин видит — парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.

— На,— говорит,— только старайся смотри.

А Степан все свое:

— Это уж как счастье поищет.

Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал и сама Хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и посейчас в нашем городу, говорят. Как редкость ее берегут.

С той поры Степан на волю вышел, а в Гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода долить * стала. Так с той поры Гумешки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.

Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул *. Так на глазах и таял.

Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел так-то да и с концом. Вот его нет, вот его нет... Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ко, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается, и ружьишечко у него тут же в сторонке валяется, не стрелено из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, го-

лову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали — она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали — глядят: у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнехонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит:

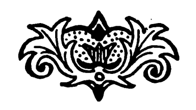
— Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?

Настасья — жена-то его — объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитову. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала.

Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы Хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышь-ко, никому, тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А?

Вот она, значит, какая Медной горы Хозяйка!

Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало.



МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался.

Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо... Ровно как раз впору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда — замается. Как закованный палец-то, в конце нали * посинеет. Серьги навесит — хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять — не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть ли семь рядов только раз и примерила. Как лед кру-

гом шеи-то, и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.

— Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!

Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:

— Убери-ко куда от греха подальше.

Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.

Как Степан умер да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасье и причтелось * ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:

— Ты гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит.

Он, этот человек-от, ученой был, тоже из вольных. Рането в щегарях * ходил, да его отстранили; ослабу-де народу дает. Ну, и винцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всем правильный. Прошенье написать, пробу смыть, знаки оглядеть — все по совести делал, не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.

Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смышленый, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну, и послушалась его.

— Ладно,— говорит,— поберегу на черный день.— И поставила шкатулку на старо место.

Схоронили Степана, сорочины отправили честь честью. Настасья — баба в соку, да и с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно:

— Хоть золотой второй, а все робятам вотчим.

Ну, отстали по времени.

Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный *, лошадь, корова, обзаведенье полное. Настасья баба работящая, робятишки пословные *, не охтимнеченьки * живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все-

таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать:

— Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать! Все едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем * не наденешь эко место. А люди деньги бы дали. Разоставок * тебе.

Однем словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов всё. Кто сто рублей дает, кто двести.

— Робят-де твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение делаем.

Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали.

Настасья хорошо запомнила, что ей старый щегарь говорил, не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит:

— Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.

От Степана, вишь, осталось трое робятишек-то. Двое парнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:

— Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала *. В кого только зародилась! Сама черненька да бассенька *, а глазки зелененьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.

Степан пошутит, бывало:

— Это не диво, что черненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался *. А что глазки зеленые — тоже дивить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.

Так эту девчоночку Памяткой и звал.— Ну-ка ты, Памятка моя! — И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет.

Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала—далеко

ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей — Танюшка да Танюшка. Самые завидущие бабешки и те любовались. Ну, как,— красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала:

— Красота-то — красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.

По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову — пущай-де позабавится. Хоть маленькая, а девчоночка,— с малых лет им лестно на себя-то навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво — которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, а эта все знает. Да еще говорит:

— Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, да еще кто тебя мягким гладит.

Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, неспроста!» — да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:

— Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем!

Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце — пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:

— Не изломай чего!

Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избе-сенях веничком подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке поглядеть. Справит все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот легонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любуется, на себя примеряет.

Раз к ней и забрался хитник *. То ли он в ограде * спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез,

только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу видать — кто-то навел его, весь порядок обсказал.

Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась — на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул *, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:

— Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! — а сам глаза трет.

Танюшка видит — неладно с человеком, стала спрашивать:

— Ты как, дяденька, к нам зашел, пошто топор взял?

А тот, знай, стонет да глаза свои трет. Танюшка его и пожалела — зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.

— Ой, не подходи! — Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход — выбежала через окошко и к суседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался маленько, объясняет — проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.

— Как солнцем ударило. Думал — вовсе ослепну. От жары, что ли.

Про топор и камешки Танюшка суседям не сказала. Те и думают:

«Пустяшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает».

До Настасьи все-таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что суседям рассказывал. Настасья видит — все в сохранности, вязаться не стала. Ушел тот человек, и суседи тоже.

Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то ее, видно, не просто.

А сама думает:

«Оберегать-то ее все ж таки покрепче надо».

Взяла да потихоньку от Танюшки и других робят и зарыла ту шкатулку в голбец *.

Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а ее быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом ее опахнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась — не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит — шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбце и наигралась досыта.

Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает»,— а дочь, как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчет продажи Настасья и говорить родне не давала.

— По миру впору придет — тогда продам.

Хоть круто ей приходилось,— а укрепилась. Так еще сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие робята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские

мастерицы руками хлопали — откуда узоры берет, где шелка достает?

А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настасьиных уж годах, а вострозглазая и, по всему видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемуховый бадожок, вроде как странница. Просится у Настасьи:

— Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко.

Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой, потом все-таки пустила.

— Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесешь. Только вот кусок-то у нас сиротский. Утром — лучок с кваском, вечером — квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи сколь надо.

А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.

«Ишь неочесливая! * Приветить ее не успела, а она нако — обутки сняла и котомку развязала».

Женщина, и верно, котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку:

— Иди-ко, дитятко, погляди на мое рукоделье. Коли поглянется, и тебя выучу... Видать, цепкий глазок-то на это будет!

Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком вышиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало.

Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.

— Поглянулось, знать, доченька, мое рукодельице? Хочешь — выучу?

— Хочу,— говорит.

Настасья так и взъелась:

— И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то, поди-ка, денег стоят.

— Про то не беспокойся, хозяюшка,— говорит странница.— Будет понятие у доченьки — будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей — надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром работу отдаем. Кусок имеем.

Тут Настасье уступить пришлось.

— Коли припасов уделишь, так о чем не поучиться. Пущай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.

Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше которое знала. Да вот еще что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скоса запоглядывала:

«Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бродяжке прилипла!»

А та еще ровно дразнит, все Танюшку дитятком да доченькой зовет, а крещеное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!

— Есть,— говорит,— у нас дорогая тятина памятка — шкатулка малахитова. Вот где каменья! Век бы на них глядела.

— Мне покажешь, доченька? — спрашивает женщина.

Танюшка даже не подумала, что это неладно.

— Покажу,— говорит,— когда дома никого из семейных не будет.

Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько да и говорит:

— Надень-ко на себя — виднее будет.

Ну, Танюшка,— не того слова *,— стала надевать, а та, знай, похваливает:

— Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.

Подошла поближе да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет — тот и загорится по-другому. Та-

нюшке иное видно, иное — нет. После этого женщина и говорит:

— Встань-ко, доченька, пряменько.

Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет:

— Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на меня не оглядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!

Повернулась Танюшка — перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинах. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, а эта зеленоглазая стоит себе спокойнешенько, будто так и надо. Народу в том помещенье полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзаду нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, логогруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой! Ни одна в подметки не годится.

В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенечками, как есть заяц. А одежа на нем — уму помраченье. Этому золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, на обую * камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу видать — заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет.

Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее и только тут заметила:

— Ведь каменья-то на ней тятины! — сойкала Танюшка, и ничего не стало.

А женщина та посмеивается:

— Не доглядела, доченька! Не тужи, по времени доглядишь.

Танюшка, конечно, доспрашивается — где это такое помещение?

— А это, — говорит, — царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то.

— А это кто в тятиных уборах и какой это с ней заяц?

— Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.

В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махоньку. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана.

Подает ее Танюшке да и говорит:

— Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.

Сказала так-то и ушла. Только ее и видели.

С той поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о Настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невеселая, да и за крепостного где же вольная пойдет. Кому охота петлю надевать?

В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепочкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда ее обратать * можно. Толку все ж таки не выходило. Скажет Танюшка что по делу, а другие разговоры того лакея безо внимания. Надоест, так еще надсмешку подстроит:

— Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся, поди, как бы у тебя часы пóтом не изошли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.

Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаке кипяток. Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя:

— Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый! Такую ли найдем!

Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет — хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит.

Суседки уж стали Настасью корить:

— Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет аль в Христовы невесты ладится?

Настасья на эти покоры только вздыхает:

— Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая вконец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю-думаю так-то и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? * Что я худого сделала?» Вот и ответь ей!

Ну, жить все ж таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль в нашем городе, по другим местам про него узнали, заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить. Только тут беда их и пристигла — пожар случился. А ночью дело было. Пригон *, завозня *, лошадь, корова, снасть всяка — все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит:

— Видно, край пришел — придется продать шкатулку.

Сыновья в один голос:

— Продавай, мамонька. Не продешеви только.

Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит — пущай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит:

— Продавать так продавать.— И даже не стала на прощанье те камни глядеть. И то сказать — у суседей приютились, где тут раскладываться.

Придумали так — продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-от подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то — ноготок, доцарапается! Видят,— робята подросли,— больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все-таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок-от такой — ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик.

Когда ведь они — приказчики-то — подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душного козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь отставил. Потом был Жареный Зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять Хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Там еще двое ли, трое каких-то были, а потом и приехал этот.

Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. Свысока так, с растяжкой — па-роть. О какой недостаче ему заговорят, одно кричит: пароть! Его Паротей и прозвали.

На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну * не гонял. Тамошним охлестышам * вовсе и дела не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте.

Тут, вишь, штука-то в чем. Старый барин к той поре вовсе

утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все ж таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину — сынову-то полюбовницу — за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению.

— Чем, — говорит, — тебе так-то жить на худой славе, выходи-ко ты замуж. Приданым тебя оделю, а мужа приказчиком в Полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит, поди, на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживешь в Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого. Чем плохо?

Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.

— Давно, — говорит, — об этом мечтанье имела, да сказать — не насмелилась.

Ну, музыкант, конечно, сперва уперся:

— Не желаю,— шибко про нее худа слава, потаскуха вроде.

Только барин — старичонко хитрой. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем али улестил, либо подпоил — ихнее дело, только вскорости свадьбу справили, и молодые поехали в Полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так — что зря говорить — человек не вредный. Потом, как Полторы Хари вместо его заступил — из своих заводских, так жалели даже этого Паротю.

Приехал с женой Паротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Паротина баба тоже видная была. Белая да румяная — однем словом, полюбовница. Небось худуто бы не взял барин. Тоже, поди, выбирал! Вот эта Паротина жена и прослышала — шкатулку продают. «Дай-ко,— думает,— посмотрю, может, всамделе стоящее что». Живехонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы!

— Ну-ко,— говорит,— милая, покажи, какие такие камешки продаешь?

Настасья достала шкатулку, показывает. У Паротиной бабы и глаза забегали. Она, слышь-ко, в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. «Что же это,— думает,— такое? У самой царицы эдаких украшениев нет, а тут нако — в Полевой, у погорельцев! Как бы только не сорвалась покупочка».

— Сколько,— спрашивает,— просишь?

Настасья говорит:

— Две бы тысячи охота взять.

— Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь.

Настасья, однако, на это не подалась.

— У нас,— говорит,— такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги — шкатулка твоя.

Барыня видит — вон какая женщина,— живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает:

— Ты уж, милая, не продавай шкатулку.

Настасья отвечает:

— Это будь в надежде. От своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.

Уехала Паротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:

— Ну, как?

— Запродала,— отвечает Настасья.

— За сколь?

— За две, как назначила.

— Что ты,—кричат,—ума решилась али что! В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь!— И давай-ко цену набавлять.

Ну, Настасья на эту удочку не клюнула.

— Это,— говорит,— вам привышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадежила женщину, и разговору конец!

Паротина баба крутехонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит — барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка — дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Паротина жена пуще того воззрилась:

— Что за наваждение? Чья такая? — спрашивает.

— Дочерью люди зовут,— отвечает Настасья.— Самая как есть наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает — как-де от них тепло да хорошо. Да что об этом говорить. Что с возу пало — то пропало!

— Напрасно, милая, так думаешь,— говорит Паротина баба.— Найду я мéстичко этим каменьям.— А про себя думает: «Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Сам-Петербурхе, царями бы вертела. Надо — мой-то дурачок Турчанинов ее не увидал».

С тем и разошлись.

Паротина жена, как приехала домой, похвасталась:

— Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что — до свиданья! Уеду в Сам-

Петербурх либо, того лучше, в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится.

Похвасталась, а показать на себе новокупку все ж таки охота. Ну, как — женщина! Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила.— Ой, ой, что такое! — Терпенья нет — крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала. А неймется. Серьги надела — чуть мочки не разорвала. Палец в перстень сунула — заковало, еле с мылом стащила. Муж посмеивается: не таким, видно, носить!

А она думает: «Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил».

Сказано — сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер,— и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу до́ка. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни не взглянул.

— Не возьмусь,— говорит,— что хошь давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться.

Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились: оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шкатулку из Сам-Петербурху привезла. Там всё и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.

— Знаю,— говорит,— в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хошь делай.

Барыня и тут не поняла всего-то, только то и уразумела — неладно дело, боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.

«Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!»

Потом опять переводит в уме:

«Да мне-то что! Продам какой ни есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую.

Приехала, а там новость: весточку получили — старый барин приказал долго жить. Хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила — взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время Паротина жена получила писемышко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Паротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что — жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастай:

— Выросла-де у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь.

Паротя и спрашивает:

— Чья такая? В котором месте живет?

Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули — в этой-де семье ваша жена шкатулку покупала. Паротя и говорит:

— Поглядеть бы,— а у запивох и заделье * нашлось.

— Хоть сейчас пойдем — освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно.

Пошли двое ли, трое с этим Паротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами. Подыскиваются, однем словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Паротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак, а она сидит — помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость Паротя, стал спрашивать:

— Что поделываете?

Танюшка говорит:

— По заказу шью,— и работу свою показала.

— Мне,— говорит Паротя,— можно заказ сделать?

— Отчего же нет, коли в цене сойдемся.

— Можете,— спрашивает опять Паротя,— мне с себя патрет шелками вышить?

Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазая ей знак подает — бери заказ! — и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает:

— Свой патрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменьях, в царицыном платье, эту вышить могу. Только недешево будет стоить такая работа.

— Об этом,— говорит,— не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.

— В лице,— отвечает,— сходственность будет, а одежа другая.

Срядились за сто рублей. Танюшка и срок назначила — через месяц. Только Паротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обахмурило его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова, и весь разговор. Запивохи-то Паротины подсмеиваться над ним стали:

— Тут-де не отломится. Зря сапоги треплешь!

Ну вот, вышила Танюшка тот патрет. Глядит Паротя — фу ты, боже мой! Да ведь это она самая и есть, одежой да каменьями изукрашенная. Подает, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла.

— Не привышны,— говорит,— мы подарки принимать. Трудами кормимся.

Прибежал Паротя домой, любуется на патрет, а от жены впотай держит. Пировать меньше стал, а в заводское дело вникать мало-мало начал.

Весной приехал на заводы молодой барин. В Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы * пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили — помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчаниновы мастера были. Как зальешь господскую чарку десятком своих, так и невесть какой праздник покажется, а на поверку выйдет — последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько да опять за гулянку. Ну, там, на

лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Паротя все время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских питухов поставил — накачивайте до отказу! Ну, те и стараются новому барину подслужиться.

Паротя хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех:

— Это мне безо внимания, что барин Турчанинов хочет у меня жену увезти. Пущай повезет! Мне такую не надо. У меня вот кто есть! — Да и достает из кармана тот шелковый патрет. Все так и ахнули, а Паротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало:

— Кто такая? — спрашивает.

Паротя знай похохатывает:

— Полон стол золота насыпь — и то не скажу!

Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются — барину объясняют. Паротина баба руками-ногами:

— Что вы! Что вы! Околесицу этаку городите! Откуда у заводской девки платье такое да еще каменья дорогие? А патрет этот муж из-за границы привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет. Ишь, опух весь!

Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить:

— Страмина ты, страмина! Что ты косоплетки * плетешь, барину в глаза песком бросаешь! Какой я тебе патрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья — лгать не буду — не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасско седло. Весь завод про покупку-то знает!

Барин как услышал про камни, так сейчас же:

— Ну-ко, покажи!

Он, слышь-ко, малоуменький был, мотоватый. Однем словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, — как говорится, ни росту, ни голо-

су,— так хоть каменьями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.

Паротина баба видит — делать нечего,— принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу:

— Сколько?

Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядиться. На половине сошлись, и заемную бумагу барин подписал: не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол да и говорит:

— Позовите-ко эту девку, про которую разговор.

Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла,— думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно и посредине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка — отцово подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает:

— Зачем звали?

Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Потом все ж таки нашел разговор:

— Ваши камни?

— Были наши, теперь вон ихние,— и показала на Паротину жену.

— Мои теперь,— похвалился барин.

— Это дело ваше.

— А хошь, подарю обратно?

— Отдаривать нечем.

— Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся.

— Это,— отвечает Танюшка,— можно.

Взяла шкатулку, разобрала уборы,— привычно дело,— и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает:

— Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять — работа есть.

Барин тут при всех и говорит:

— Выходи за меня замуж. Согласна?

Танюшка только усмехнулась:

— Не под стать бы ровно барину такое говорить.— Сняла уборы и ушла.

Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит-молит Настасью-то: отдай за меня дочь.

Настасья говорит:

— Я с нее воли не снимаю, как она хочет, а по-моему — будто не подходит.

Танюшка слушала-слушала да и молвит:

— Вот что, не то... Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь — тогда выйду за тебя замуж.

Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Сам-Петербурх стал собираться и Танюшку с собой зовет — лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает:

— По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты свое обещанье выполнишь.

— Когда же,— спрашивает,— ты в Сам-Петербурхе будешь?

— К Покрову,— говорит,— непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.

Барин уехал, Паротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Как домой в Сам-Петербурх-от приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навез, обую, а она весточку и прислала,— тут она, живет у такой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас же туда:

— Что вы! Мысленное ли дело тут проживать? Квартерка приготовлена, первый сорт!

А Танюшка отвечает:

— Мне и тут хорошо.

Слух про каменья да турчаниновску невесту и до царицы дошел. Она и говорит:

— Пущай-ка Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут.

Барин к Танюшке,— дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает:

— О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержанье. Да, смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то.

Барин думает — откуда у ней лошади? где платье дворцовское? — а спрашивать все ж таки не насмелился.

Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчанинов барин спозаранку у крыльца вертится — невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть,— тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ — откуда такая? —валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают — не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов барин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в экой шубейке, он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят — платье-то! У царицы такого нет! — сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули:

— Чья такая? Каких земель царица?

А барин Турчанинов тут как тут.

— Моя невеста,— говорит.

Танюшка эдак строго на него поглядела:

— Это еще вперед поглядим! Пошто ты меня обманул — у крылечка не дождался?

Барин туда-сюда,— оплошка-де вышла. Извини, пожалуйста.

Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка — не то место. Еще строже спросила Турчанинова барина:

— Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана! — И пошла по дворцу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней.

— Что, дескать, такое? Видно, туда велено.

Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.

Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит — никого нет. Царицыны наушницы и доводят — турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно,— что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит — не шевельнется.

Царица и кричит:

— Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу — турчаниновску невесту!

Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:

— Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!

С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.

Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчанинову:

— Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место — дворец! Тут цену знают!

Турчанинов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина желтая, а то опять, как кровь, густая. Так ничего и не собрал. Глядит — на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла на простую грань. Вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет-заливается:

— Эх ты, полоумный косой заяц! Тебе ли меня взять! Разве ты мне пара?

Барин после этого и последний умишко потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в нее, а там все одно: стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай-ко пировать, долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли.

А Паротя, как его отстранили, по кабакам пошел. До ремков пропился, а патрет тот шелковый берег. Куда этот патрет потом девался — никому не известно.

Не поживилась и Паротина жена: поди-ко, получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены!

Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху ни духу. Как не было.

Погоревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть радетельница для семьи была, а все Настасье как чужая.

И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли. Женились оба. Внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай поворачивайся — за тем догляди, другому подай... До скуки ли тут!

Холостяжник — тот дольше не забывал. Все под Настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались.

Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут:

— Вот-де какая у нас в заводе девка была! Другой такой в жизни не увидишь.

Да еще после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто Хозяйка Медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались *, как его было довольно, и сорт — выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло.

Был в ту пору мастер Прокопьич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.

Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку.

— Пущай-де переймут всё до тонкости.

Только Прокопьич,— то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что,— учил шибко худо. Все у него с рывка да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет да и говорит приказчику:

— Не гож этот... Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет.

Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича.

— Не гож, так не гож... Другого дадим...— И нарядит другого парнишку.

Ребятишки прослышали про эту науку... Спозаранку ревут, как бы к Прокопьичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отдавать,— выгораживать стали свои-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.

Приказчик все ж таки помнит баринов наказ — ставит Прокопьичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку да и сдаст обратно приказчику.

— Не гож этот...

Приказчик взъедаться стал:

— До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого...

Прокопьич, знай, свое:

— Мне что... Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет...

— Какого тебе еще?

— Мне хоть и вовсе не ставь,— об этом не скучаю...

Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопьич их прогнал. Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазенки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что — навытяжку: что прикажете? А этот Данилко забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенье, да и стоит.

Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули:

— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.

На заводскую работу либо в гору все ж таки не отдали — шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гож пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то — вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сиротку, и тот временем ругался:

— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?

— Я и сам, дедко, не знаю... Так... ни о чем... Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а листок широконький... По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили... А букашка-то и ползет...

— Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она — и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!

Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:

— Сыграй, Данилушко, песенку.

Он и начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек * починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет, — каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.

Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной... Самое тут волчье место, глухое... Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой... Так и так — обсказали. Ну, из завода тоже побежали — поехали на розыски, да не нашли.

Расправа тогда известно какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже.

— Экой-то,— говорит,— с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.

Ударил все ж таки — не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь — молчит, втретьи — молчит. Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит:

— Я тебя, молчуна, доведу... Дашь голос... Дашь!

Данилушко дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слыхали. Приказчик,— он тут же, конечно, был,— удивился:

— Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.

Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты... Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.

Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав, да корешков, да цветков всяких у ней насушено да навешано по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен — как эту

зовут? где растет? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.

Раз Данилушко и спрашивает:

— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?

— Хвастаться,— говорит,— не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.

— А разве,— спрашивает,— еще не открытые бывают?

— Есть,— отвечает,— и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок — бегучий огонек. Поймай его — и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник * полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.

— Чем, бабушка, несчастный?

— А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали.

Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал да и говорит:

— Иди-ко теперь к Прокопьичу — малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.

Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает. Прокопьич поглядел на него да и говорит:

— Еще такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой стоит.

Пошел Прокопьич к приказчику:

— Не надо такого. Еще ненароком убьешь — отвечать придется.

Только приказчик — куда тебе, слушать не стал:

— Дано тебе — учи, не рассуждай! Он — этот парнишка — крепкий. Не гляди, что жиденький.

— Ну, дело ваше,— говорит Прокопьич,— было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.

— Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай,— отвечает приказчик.

Пришел Прокопьич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопьичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:

— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?

Данилушко и отвечает:

— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.

Прокопьич закричал, конечно:

— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?

— То и понимаю, что эту штуку испортили,— отвечает Данилушко.

— Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу... жив не будешь!

Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, вишь, сам над этой досочкой думал — с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром:

— Ну-ко, ты, мастер явленный, покажи, как по-твоему сделать?

Данилушко и стал показывать да рассказывать:

— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.

Прокопьич знай покрикивает:

— Ну-ну... Как же! Много ты понимаешь. Накопил — не просыпь! — А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет».

Подумал так да и спрашивает:

— Ты хоть чей, экий ученый?

Данилушко и рассказал про себя.

Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозванье отцовское — про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал.

Прокопьич пожалел:

— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое.

Потом будто рассердился, заворчал:

— Ну, хватит, хватит! Вишь разговорчивый какой! Языком-то — не руками — всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.

Прокопьич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечером Прокопьич сам управлял, что ему надо.

Поели, Прокопьич и говорит:

— Ложись вон тут на скамеечке!

Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился маленько,— вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени,— все-таки вскорости уснул. Прокопьич тоже лег, а уснуть не мог: все у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал, зажег свечку да и к станку — давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую... прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор понял.

— Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопьич.— Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок! Ну и глазок!

Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:

— Спи-ко, глазастый!

А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок,

растянулся под тулупом-то — тепло ему стало,— и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопьича своих ребят не было, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко знай посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопьича забота — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.

— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава,— живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.

На другой день и говорит Данилушке:

— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило,— в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь — то и ладно. Хлеба возьми полишку,— ется в лесу-то,— да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек * плеснула. Понял?

На другой день опять говорит:

— Поймай-ко мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?

Когда Данилушко поймал и принес, Прокопьич говорит:

— Ладно, да не вовсе. Лови других.

Так и пошло. На каждый день Прокопьич Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить — пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком

идет. Промнется так-то, поест дома да спит покрепче. Шубу ему Прокопьич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы * на заказ скатали. Прокопьич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.

В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопьичу тоже прильнул. Ну, как! — понял Прокопьичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопьичу расскажет да и спрашивает — это что да это как? Прокопьич объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется: «Ну-ко, я...» Прокопьич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:

— Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу... По будням с удочкой балуется, а уж не маленький... Кто-то его от работы прячет...

Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.

— Ну-ко,— говорит,— тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.

Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:

— Ты чей?

Данилушко и отвечает:

— В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу.

Приказчик тогда хвать его за ухо:

— Так-то ты, стервец, учишься! — Да за ухо и повел к Прокопьичу.

Тот видит — неладно дело, давай выгораживать Данилушку:

— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.

Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:

— Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?

Данилушко запончик * надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на все ответ готов. Как околтать * камень, как распилить, фасочку снять *, чем когда склеить, как полер навести *, как на медь присадить, как на дерево. Однем словом, все как есть.

Пытал-пытал приказчик да и говорит Прокопьичу:

— Этот, видно, гож тебе пришелся?

— Не жалуюсь,— отвечает Прокопьич.

— То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь да и парнишке невесело станет.

Погрозился так-то, ушел, а Прокопьич дивуется:

— Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.

— Сам же,— говорит Данилушко,— показывал да рассказывал, а я примечал.

У Прокопьича даже слезы закапали,— до того ему это по сердцу пришлось.

— Сыночек,— говорит,— милый, Данилушко... Что еще знаю, все тебе открою... Не потаю...

Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на

урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшенья разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь — малахитчиков — дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.

А как выточил зарукавье * — змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:

«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тих. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопьича, на оброк отпустить?»

Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопьич пойдет да и говорит:

— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведет.

Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже сноровлял *. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:

— Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться * стал, а мне что делается?

Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Однем словом, сухота девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко, знай, головой потряхивает:

— Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.

Барин на приказчиково известие отписал:

«Пусть тот Прокопьичев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтобы Прокопьич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь — с тебя взыск будет».

Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку да и говорит:

— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.

Прокопьич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет... Закричал только: «Не твое дело!»

Ну, вот пошел Данилушко работать на ново место, а Прокопьич ему наказывает:

— Ты, гляди, не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.

Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай не делай, а срок отбывай — сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:

— Еще такую же делай!

Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:

— Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!

Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин,— то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был,— все как есть наоборот повернул.

Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать — может-де вдвоем скорее придумают что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная,

на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Однем словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».

Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертеж отдал.

Повеселели Данилушко с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил,— пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватит — хорошо идет дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопьичу, а он только удивился:

— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.

Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:

— Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!

Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал,— не выдумают ли вдвоем чего новенького,— и говорит:

— Ты вот что... делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь — твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо — такой и дам.

Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано — чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать — не одну ночку с боку на бок повертишься. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопьич заметил, спрашивает:

— Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.

— И то,— говорит Данилушко,— в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.

С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Тра̀вы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку — не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело да и скажет:

— Потерять не потерял, а найти не могу.

Ну, которые и запоговаривали:

— Неладно с парнем.

А он придет домой и сразу к станку, да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеди: черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:

— Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.

Прокопьич давай отговаривать:

— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.

Ну, Данилушко на своем стоит.

— Не для барина,— говорит,— стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим, да режем, да полер наводим и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.

По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:

— Лента каменная с дырками, каемочка резная...

Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопьичу сказал:

— По дурман-цветку свою чашу делать буду.

Прокопьич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопьичу:

— Ну ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай... Не могу ее из головы выбросить.

Прокопьич отвечает:

— Ладно, мешать не стану,—а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».

Занялся Данилушко чашей. Работы в ней много — в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать:

— Вот хоть бы Катя Летемина — чем не невеста? Хорошая девушка... Похаять нечем.

Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопьич, будто ненароком, и заводил разговор. А Данилушко свое твердит:

— Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди — молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня.

Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя — невеста-то — с родителями пришла, еще которые... из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.

— Как,— говорит,— только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!

Мастера тоже одобряют:

— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.

Данилушко слушал-слушал да и говорит:

— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок...

самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.

— А где оплошал,— смеются мастера,— там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь.

— Вот-вот... А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!

Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.

Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не раз говорил:

— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.

Только был тут старичок один. Он еще Прокопьича и тех — других-то мастеров — учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял да и говорит Данилушке:

— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера...

— Какие мастера, дедушко?

— А такие... в горе живут, никто их не видит... Что Хозяйке понадобится, то они сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.

Всем любопытно стало. Спрашивают, какую поделку видел.

— Да змейку, — говорит,— ту же, какую вы на зарукавье точите.

— Ну, и что? Какая она?

— От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает — не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки... Того и гляди — клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.

Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:

— Не знаю, милый сын. Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.

Данилушко на это и говорит:

— Я бы поглядел.

Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:

— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слезы.

Прокопьич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на смех подымать:

— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.

Старик разгорячился, по столу стукнул:

— Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.

Мастера смеются:

— Хлебнул, дедушко, лишка!

А он свое:

— Есть каменный цветок!

Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, про свадьбу и не поминает. Прокопьич уж понуждать стал:

— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того жди — пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то? *

Данилушко одно свое:

— Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу.

И повадился на медный рудник — на Гумешки-то. Когда

в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его да и говорит:

— Нет, не тот...

Только это промолвил, кто-то и говорит:

— В другом месте поищи... у Змеиной горки.

Глядит Данилушко — никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли... Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять:

— Слышь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.

Оглянулся Данилушко — женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.

«Что, — думает, — за шутка? Неуж *сама*? А что, если сходить на Змеиную-то?»

Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.

Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце * тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.

Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется... Ну, все как есть... Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопьичу:

— Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить!

Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки — все пришлось лучше нельзя. Прокопьич и то говорит — живой цветок-то, хоть

рукой пощупать. Ну, как до верху дошел — тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки — как только держится! Чашку, как у дурман-цветка, а не то... Не живой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопьич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся,— чего еще парню надо? Чашка вышла — никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется * парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят,— поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.

— Ладно,— говорит,— больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня.— И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит — вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:

— Погоди маленько, доделка есть.

Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это — вот-де скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего?»— и про камень припомнил: «Ведь как положенный был! И голос на руднике-то... про Змеиную же горку говорил».

Вот и пошел Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, снежок припорашивал. Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу,— думает,— отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит — у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы нейдет. «Вот бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то

да по платью малахитову Данилушко сразу ее признал. Только и то думает:

«Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

— Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

— Не вышла,— отвечает.

— А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

— Нет,— отвечает,— не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

— Показать-то,— говорит,— просто, да потом жалеть будешь.

— Не отпустишь из горы?

— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.

— Покажи, сделай милость!

Она еще его уговаривала:

— Может, еще попытаешь сам добиться! — Про Прокопьича тоже помянула: — Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть.— Про невесту напомнила: — Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.

— Знаю я,— кричит Данилушко,— а только без цветка мне жизни нет. Покажи!

— Когда так,— говорит,— пойдем, Данило-мастер, в мой сад.

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня... Ну, всякие... Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк * дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.

И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке.

— Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша? — спросила Медной горы Хозяйка.

Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная * звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.

— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.

— Не найдешь, — отвечает Данилушко, — камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. — Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.

Пришел Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко веселым себя показывал — песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:

— Что с тобой? Ровно на похоронах ты!

А он и говорит:

— Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу.

На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:

— Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся.

Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром, — не лучше ли ему станет».

А подружкам что... Рады-радехоньки.

— И то, — кричат, — проводить надо. Шибко он близко живет — провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.

Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит — вовсе ни к чему это: «И без

того Данилушко у меня невеселый, а они еще причитанье петь придумали».

Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идет, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться — кому куда, а Данилушко уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел.

Прокопьич давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку как ножом по сердцу резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопьич прокашлялся, спрашивает:

— Ты что это с чашами-то?

— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?

— Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь.

Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопьич опять уснул. И Данилушко лег, только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопьичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал...

Потом взял балодку * да как ахнет по дурман-цветку, — только схрупало. А ту чашу, — по барскому-то чертежу, — не пошевелил! Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.

Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал — Хозяйка взяла его в горные мастера.

На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.

ГОРНЫЙ МАСТЕР

Катя — Данилова-то невеста — незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данило потерялся, — она и вовсе из невестинской поры вышла. За двадцать-то годов, по-нашему, по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта Катя, видно, пригожая была, к ней всё женихи лезут, а у ней только и слов:

— Данилу обещалась.

Ее уговаривают:

— Что поделаешь! Обещалась, да не вышла. Теперь об этом и поминать не к чему. Давно человек изгиб.

Катя на своем стоит:

— Данилу обещалась. Может, и придет еще он.

Ей толкуют:

— Нет его в живых. Верное дело.

А она уперлась на своем:

— Никто его мертвым не видал, а для меня он и подавно живой.

Видят — не в себе девка,— отстали. Иные на смех еще подымать стали: прозвали ее мертвяковой * невестой. Ей это прильнуло. Катя Мертвякова да Катя Мертвякова, ровно другого прозванья не было.

Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. Родство у нее большое. Три брата женатых да сестер замужних сколько-то. Рассорка промеж ними и вышла — кому на отцовском месте оставаться. Катя видит — бестолковщина пошла, и говорит:

— Пойду-ка я в Данилушкову избу жить. Вовсе Прокопьич старый стал. Хоть за ним похожу.

Братья-сестры уговаривать, конечно:

— Не подходит это, сестра. Прокопьич хоть старый человек, а мало ли что про тебя сказать могут.

— Мне-то,— отвечает,— что? Не я сплетницей стану. Прокопьич, поди-ко, мне не чужой. Приемный отец моему Данилу. Тятенькой его звать буду.

Так и ушла. Оно и то сказать: семейные не крепко вязались. Про себя думали: лишний из семьи — шуму меньше. А Прокопьич что? Ему по душе пришлось.

— Спасибо,— говорит,— Катенька, что про меня вспомнила.

Вот и стали они поживать. Прокопьич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает — в огороде там, сварить-постряпать и протча. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то... Катя — девушка проворная, долго ли ей!.. Управится и садится за какое рукоделье: сшить-связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось, только Прокопьичу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить станут.

«Рукодельем женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю».

Вот и говорит Прокопьичу:

— Тятенька! Ты бы хоть научил меня чему попроще.

Прокопьичу даже смешно стало.

— Что ты это! Девичье ли дело за малахитом сидеть! Отродясь такого не слыхивал.

Ну, она все ж таки присматриваться к Прокопьичеву ремеслу стала. Помогала ему, где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопьич и стал ей то-другое показывать. Не то, чтобы настояще. Бляшку обточить, ручки к вилкам-ножам сделать и протча, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно, а все разоставок при случае.

Прокопьич недолго зажился. Тут братья-сестры уж понуждать Катю стали:

— Теперь тебе заневолю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь?

Катя их обрезала:

— Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придет Данилушко. Выучится в горе и придет.

Братья-сестры руками на нее машут:

— В уме ли ты, Катерина? Эдакое и говорить грех! Давно умер человек, а она его ждет! Гляди, еще блазнить* станет.

— Не боюсь,— отвечает,— этого.

Тогда родные спрашивают:

— Чем ты хоть жить-то станешь?

— Об этом,— отвечает,— тоже не заботьтесь. Продержусь одна.

Братья-сестры так поняли, что от Прокопьича деньжонки остались, и опять за свое:

— Вот и вышла дура! Коли деньги есть, мужика беспременно в доме надо. Не ровен час,— поохотится кто за деньгами. Свернут тебе башку, как куренку. Только и свету видела.

— Сколько,— отвечает,— на мою долю положено, столько и увижу.

Братья-сестры долго еще шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет, а Катя заколодила свое:

— Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть.

Осердились, конечно, родные:

— В случае, к нам и глаз не показывай!

— Спасибо,— отвечает,— братцы милые, сестрицы любезные! Помнить буду. Сами-то не забудьте — мимо похаживайте!

Смеется, значит. Ну, родня и дверями хлоп.

Осталась Катя одна-одинешенька. Поплакала, конечно, сперва, потом и говорит:

— Врешь! Не поддамся!

Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить — чистоту наводить. Управилась — и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться:

«Попробую сама хоть одну бляшку обточить».

Хватилась, а камня подходящего нет. Обломки Данилушковой дурман-чашки остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. И Прокопьича камня, конечно, много было. Только Прокопьич до смерти на больших работах сидел. Ну, и камень все крупный. Обломышки да кусочки все подобрались — порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает:

«Надо, видно, сходить на руднишных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешок».

От Данилы да и от Прокопьича она слыхала, что они у Змеиной горки брали. Вот туда и пошла.

На Гумешках, конечно, всегда народ: кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то — куда она с корзинкой пошла. Кате это нелюбо, что на нее зря глаза пялят. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать, обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку, да тут и села. Горько ей стало — Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом,— она и не сторожится. Так слезы на землю и каплют. Поплакала, глядит — у самой ноги малахит-камень обозначился, только весь в земле сидит. Чем его возьмешь, коли ни кайлы, ни лома? Катя все-таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня.

Отгребла, сколько можно, стала вышатывать. Камень и подался. Как хрупнуло снизу,— ровно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальца в три, шириной в ладонь, а длиной не больше двух четвертей. Катя даже подивилась.

— Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько бляшек выйдет. И потери самый пустяк.

Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа не быстрая, а Кате еще надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе, и скучать некогда. Только как за станок садиться, все про Данилушку вспомнит:

— Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да Прокопьичевом месте сидит!

Нашлись, конечно, охальники. Как без этого... Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду. Попугать хотели али и еще что — их дело, только все выпивши. Катя ширкает пилой-то и не слышит, что у ней в сенках люди. Услышала, когда уж в избу ломиться стали:

— Отворяй, мертвякова невеста! Принимай живых гостей!

Катя сперва уговаривала их:

— Уходите, ребята!

Ну, им это ничего. Ломятся в дверь, того и гляди — сорвут. Тут Катя скинула крючок, расхлобыснула двери и кричит:

— Заходи, нето. Кого первого лобанить?

Парни глядят, а она с топором.

— Ты, — говорят, — без шуток!

— Какие, — отвечает, — шутки! Кто за порог, того и по лбу.

Парни хоть пьяные, а видят — дело нешуточное. Девка возрастная, оплечье крутое, глаз решительный, и топор, видать, в руках бывал. Не посмели ведь войти-то. Пошумели-пошумели, убрались да еще сами же про это рассказали. Парней и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно, они и сплели, будто Катя не одна была, а за ней мертвяк стоял.

— Да такой страшный, что заневолю убежишь.

Парням поверили — не поверили, а по народу с той поры пошло:

— Нечисто в этом доме. Недаром она одна-одинешенька живет.

До Кати это донеслось, да она печалиться не стала. Еще подумала: «Пущай плетут. Мне так-то и лучше, если побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут».

Соседи и на то дивятся, что Катя за станком сидит. На смех ее подняли:

— За мужичье ремесло принялась! Что у нее выйдет!

Это Кате солонее пришлось. Она и сама подумывала: «Выйдет ли у меня у одной-то?» Ну, все ж таки с собой совладала: «Базарский товар! Много ли надо? Лишь бы гладко было... Неуж и того не осилю?»

Распилила Катя камешок. Видит — узор на редкость пришелся, и как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась Катя, как ловко все пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только и в брос, что на сточку пришлось.

Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой выходной камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопьич такую мелочь в город, случалось, возил и там все в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и придумала сходить в город.

«Спрошу там, будут ли напередки мою поделку принимать».

Затворила избушку и пошла пешочком. В Полевой и не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тот хозяин, который у Прокопьича поделку принимал, и заявилась прямо в лавку. Глядит — полно тут всякого камня, а малахитовых бляшек целый шкап за стеклом. Народу в лавке много. Кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий да важный такой.

Катя сперва и подступить боялась, потом насмелилась и спрашивает:

— Не надо ли малахитовых бляшек?

Хозяин пальцем на шкап указал:

— Не видишь, сколь у меня добра этого?

Мастера, которые работу сдавали, припевают ему:

— Много ноне на эту поделку мастеров развелось. Только камень переводят. Того не понимают, что для бляшки узор хороший требуется.

Один-то мастер из полевских. Он и говорит хозяину потихоньку:

— Недоумок эта девка. Видели ее соседи за станком-то. Вот, поди, настряпала.

Хозяин тогда и говорит:

— Ну-ко, покажи, с чем пришла?

Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит:

— У кого украла?

Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила:

— Какое твое право, не знаючи человека, эдак про него говорить? Гляди вот, если не слепой! У кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ко, скажи! — и высыпала на прилавок всю поделку.

Хозяин и мастера видят — верно, на один узор. И узор редкостный. Будто из середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит и внизу тоже птица. Явственно видно и сделано чисто.

Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже

поглядеть, только хозяин сразу все бляшки прикрыл. Нашел заделье.

— Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу. Тогда и выбирайте, что кому любо.— А сам Кате говорит:— Иди вон в ту дверь. Сейчас деньги получишь.

Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает:

— Почем сдаешь?

Катя слыхала от Прокопьича цены. Так и сказала, а хозяин давай хохотать:

— Что ты!.. Что ты! Такую-то цену я одному полевскому мастеру Прокопьичу платил да еще его приемышу Данилу. Да ведь то мастера были!

— Я,— отвечает,— от них и слыхала. Из той же семьи буду.

— Вон что!— удивился хозяин.— Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась?

— Нет,— отвечает,— моя.

— Камень, может, от него остался?

— И камень сама добывала.

Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному да еще говорит:

— Вперед случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду и цену положу настоящую.

Ушла Катя, радуется,— сколько денег получила! А хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали:

— Сколько?

Он, конечно, не ошибся,— в десять раз против купленного назначил, да и наговаривает:

— Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать.

Пришла Катя домой, а сама все дивится:

— Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались! Хорош камешок попался. Случай, видно, счастливый подошел.— Потом и хватилась: — А не Данилушко ли это мне весточку подал?

Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.

А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским

купцом оконфузить, тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и придумал:

— Надо поглядеть, где она камень берет. Не новое ли какое место ей Прокопьич либо Данило указали?

Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошел за ней. Видит — Гумешки она обошла стороной и куда-то за Змеиную горку пошла. Мастер туда же, а сам думает: «Там лес. По лесу-то к самой ямке прокрадусь».

Зашли в лес. Катя вовсе близко и нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело, да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Кати и не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к Северскому пруду — версты, поди, за две от Гумешек.

Катя сном дела не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катя, он и отстал. Опять, как сучок, хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала-запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают:

— На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул,— и протча тако...

Наревелась, будто полегче стало, стоит — задумалась, в руднишную сторону глядит. Место тут вроде полянки. Кругом лес густой да высокий, а в руднишную сторону помельче пошел. Время на закате. По низу от лесу на полянке темнеть стало, а в то место — к руднику солнышко пришлось. Так и горит это место, и все камешки на нем блестят.

Кате это любопытно показалось. Хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой и схрупало. Отдернула она ногу, глядит — земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы меж деревьями внизу видно травы да цветы, и вовсе они на здешние не походят.

Другая бы на Катином месте перепугалась, крик-визг подняла, а она вовсе о другом подумала:

«Вон она, гора, раскрылась! Хоть бы на Данилушку взглянуть!»

Только подумала и видит через прогалы — идет кто-то внизу, на Данилушку походит и руки вверх тянет, будто сказать что хочет. Катя свету не взвидела, так и кинулась к нему... с дерева-то! Ну, а пала тут же на землю, где стояла. Образумилась да и говорит себе:

— Верно, что блазнить мне стало. Надо поскорее домой идти.

Идти надо, а сама сидит да сидит, все ждет, не вскроется ли еще гора, не покажется ли опять Данилушко. Так до потемок и просидела. Тогда только и домой пошла, а сама думает: «Повидала все-таки Данилушку».

Тот мастер, который за Катей подглядывал, домой к этому времени выбежал. Поглядел — избушка у Кати заперта. Он и притаился, — посмотрю, что она притащила. Видит — идет Катя, он и встал поперек дороги:

— Ты куда это ходила?

— На Змеиную, — отвечает.

— Ночью-то? Что там делать?

— Данилу повидать...

Мастер так и шарахнулся, а на другой день по заводу шепотки поползли:

— Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам на Змеиную ходит, покойника ждет. Как бы еще завод не подожгла, с малого-то ума.

Братья-сестры прослышали, опять прибежали, давай строжить да уговаривать Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит:

— Это, думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут, а мне за перводелку столько отвалили! Почему так?

Братья слышали про ее-то удачу и говорят:

— Случай счастливый вышел. О чем тут говорить.

— Таких, — отвечает, — случаев не бывало. Это мне Данило сам такой камень подложил и узор вывел.

Братья смеются, сестры руками машут:

— И впрямь рехнулась! Надо приказчику сказать. Как бы всамделе завод не подожгла!

Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то выдавать. Только вышли да и сговорились:

— Надо за Катериной глядеть. Куда пойдет — сейчас же за ней бежать.

А Катя проводила родню, двери заперла да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит да загадывает:

— Коли такой же издастся, значит, не поблазнило мне — видала я Данилушку.

Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставне и дивится:

— И сон ее не берет! Наказанье с девкой!

Отпилила Катя досочку — узор и обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала. Схватилась да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучалась к братьям — бегите, дескать, скорей. Выбежали братья, еще народ сбили. А уже светленько стало. Глядят — Катя мимо Гумешек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход Змеиной горки. Народ тоже призадержался — посмотрим, дескать, что она делать будет.

Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась, и темно еще тут. Катя и думает:

«Видно, я в гору попала».

Родня да народ той порой переполошились:

— Куда она девалась? Сейчас близко была, а не стало!

Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой: «Там не видно?»

А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти. Походила-походила да и закричала:

— Данило, отзовись!

По лесу голк пошел. Сучья запостукивали: «Нет его! Нет его! Нет его!» Только Катя не унялась:

— Данило, отзовись!

По лесу опять: «Нет его! Нет его!»

Катя снова:

— Данило, отзовись!

Тут Хозяйка горы перед Катей и показалась.

— Ты зачем,— спрашивает,— в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери да уходи поскорее!

Катя тут и говорит:

— Не надо мне твоего мертвого камня! Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать?

Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это Хозяйке-то! А та ничего, стоит спокойненько:

— Еще что скажешь?

— А то и скажу — подавай Данилу! У тебя он...

Хозяйка расхохоталась да и говорит:

— Ты, дура-девка, знаешь ли, с кем говоришь?

— Не слепая,— кричит,— вижу. Только не боюсь тебя, разлучница! Нисколечко не боюсь! Сколь ни хитро у тебя, а ко мне Данило тянется. Сама видала. Что, взяла?

Хозяйка тогда и говорит:

— А вот послушаем, что он сам скажет.

До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные, и пчелки золотые, как искорки, над теми цветами. Ну, такая, слышь-ко, красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя — бежит по этому лесу Данило. Прямо к ней. Катя навстречу кинулась: «Данилушко!»

— Подожди,— говорит Хозяйка и спрашивает:— Ну, Данило-мастер, выбирай — как быть? С ней пойдешь — все мое

забудешь, здесь останешься — ее и людей забыть надо.

— Не могу,— отвечает,— людей забыть, а ее каждую минуту помню.

Тут Хозяйка улыбнулась светленько и говорит:

— Твоя взяла, Катерина! Бери своего мастера. За удалость да твердость твою вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет! — И полянка с диковинными цветами сразу потухла.— Теперь ступайте в ту сторону,— указала Хозяйка да еще упредила: — Ты, Данило, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл.

Поклонилась тут Катя:

— Прости на худом слове!

— Ладно,— отвечает,— что каменной сделается! Для тебя говорю, чтоб остуды у вас не было.

Пошли Катя с Данилой по лесу, а он все темней да темней, а под ногами неровно — бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике — на Гумешках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой. А те, что за Катей побежали, все еще по лесу бродят да перекликаются: «Там не видно?»

Искали-искали — не нашли. Прибежали домой, а Данило у окошка сидит.

Испугались, конечно. Чураются, заклятья разные говорят. Потом видят — трубку Данило набивать стал. Ну и отошли.

«Не станет же,— думают,— мертвяк трубку курить».

Подходить стали один по одному. Глядят — и Катя в избе. У печки толкошится, а сама веселехонька. Давно ее такой не видали. Тут и вовсе осмелели, в избу вошли, спрашивать стали:

— Где это тебя, Данило, давно не видно?

— В Колывань,— отвечает,— ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу, будто лучше его нет по работе. Вот и заохотило поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал — тайком ушел, Кате вон только сказался.

— Пошто,— спрашивают,— чашу свою разбил?

— Ну, мало ли... С вечорки пришел... Может, выпил лишка... Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое, поди, случалось. О чем говорить.

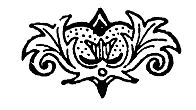
Тут братья-сестры к Кате приступать стали, почему не

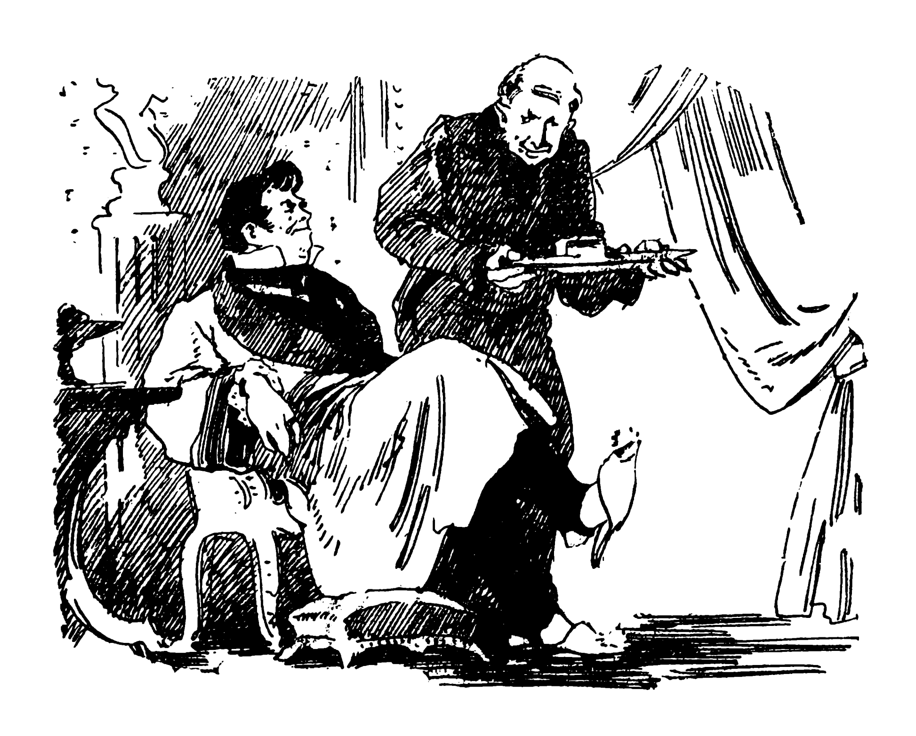
сказала про Колывань-то. Только от Кати тоже немного добились. Сразу отрезала:

— Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что Данило живой. А вы что? Женихов мне подсовывали да с пути сбивали! Садитесь-ка лучше за стол. Испеклась у меня чирла-то *.

На том дело и кончилось. Посидела родня, поговорили о том, другом, разошлась. Вечером пошел Данило к приказчику объявиться. Тот пошумел, конечно. Ну, все-таки уладили дело.

Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласно. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет — и задумается Данило. Катя понимала, конечно,— о чем, да помалкивала.





ХРУПКАЯ ВЕТОЧКА

У Данилы с Катей, — это которая своего жениха у Хозяйки горы вызволила, — ребятишек многонько народилось. Восемь, слышь-ко, человек, и все парнишечки. Мать-то не раз ревливала: хоть бы одна девчонка на поглядку. А отец, знай, похохатывает:

— Такое, видно, наше с тобой положенье.

Ребятки здоровеньки росли. Только одному не посчастливилось. То ли с крылечка, то ли еще откуда свалился и себя повредил: горбик у него расти стал. Баушки правили, понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на белом свете маяться.

Другие ребятишки, — я так замечал, — злые выходят при таком-то случае, а этот ничего — веселенький рос и на вы-

думки мастер. Он третьим в семье-то приходился, а все братья слушались его да спрашивали:

— Ты, Митя, как думаешь? По-твоему, Митя, к чему это?

Отец с матерью и те частенько покрикивали:

— Митюшка! Погляди-ко! Ладно, на твой глаз?

— Митяйко, не приметил, куда я воробы * поставила?

И то Митюньке далось, что отец смолоду ловко на рожке играл. Этот тоже пикульку смастерит, так она у него ровно сама песню выговаривает.

Данило по своему мастерству все-таки зарабатывал ладно. Ну, и Катя без дела не сиживала. Вот, значит, и поднимали семью, за куском в люди не ходили. И об одежонке ребячьей Катя заботилась. Чтоб всем справа была: пимешки там, шубейки и протча. Летом-то, понятно, и босиком ладно: своя кожа, не куплена. А Митюньке, как он всех жальчее, и сапожнешки были. Старшие братья этому не завидовали, а малые сами матери говорили:

— Мамонька, пора, поди, Мите новые сапоги заводить. Гляди — ему на ногу не лезут, а мне бы как раз пришлись.

Свою, видишь, ребячью хитрость имели, как бы поскорее Митины сапожнешки себе пристроить. Так у них все гладенько и катилось. Соседки издивовались прямо:

— Что это у Катерины за робята! Никогда у них и драчишки меж собой не случится.

А это все Митюнька — главная причина. Он в семье-то ровно огонек в лесу: кого развеселит, кого обогреет, кого на думки наведет.

К ремеслу своему Данило не допускал ребятишек до времени.

— Пускай,— говорит,— подрастут сперва. Успеют еще малахитовой-то пыли наглотаться.

Катя тоже с мужем в полном согласье — рано еще за ремесло садить. Да еще придумали поучить ребятишек, чтоб, значит, читать-писать, цифру понимать. Школы по тогдашнему положению не было, и стали старшие-то братья бегать к какой-то мастерице. И Митюнька с ними. Те ребята понятливые, хвалила их мастерица, а этот вовсе на отличку. В те годы по-мудреному учили, а он с лету берет. Не успеет мас-

терица показать — он обмозговал. Братья еще склады толмили *, а он уж читал, знай слова лови. Мастерица не раз говаривала:

— Не бывало у меня такого выученика.

Тут отец с матерью возьми и погордись маленько: завели Митюньке сапожки поформеннее. Вот с этих сапожек у них полный переворот жизни и вышел.

В тот год, слышь-ко, барин на заводе жил. Пропикнул, видно, денежки в Сам-Петербурхе, вот и приехал на завод — не выскребу ли, дескать, еще сколь-нибудь.

При таком-то деле, понятно, как денег не найти, ежели с умом распорядиться. Одни приказные да приказчик сколько воровали. Только барин вовсе в эту сторону и глядеть не умел.

Едет это он по улице и углядел — у одной избы трое ребятишек играют, и все в сапогах. Барин им и маячит рукой-то — идите сюда.

Митюньке хоть не приводилось до той поры барина видать, а признал небось. Лошади, вишь, отменные, кучер по форме, коляска под лаком и седок гора горой, жиром заплыл, еле ворочается, а перед брюхом палку держит с золотым набалдашником.

Митюнька оробел маленько, все-таки ухватил братишек за руки и подвел поближе к коляске, а барин хрипит:

— Чьи такие?

Митюнька, как старший, объясняет спокойненько:

— Камнереза Данилы сыновья. Я вот Митрий, а это мои братики малые.

Барин аж посинел от этого разговору, чуть не задохся, только пристанывает:

— Ох, ох! что делают! что делают! Ох, ох.

Потом, видно, провздыхался и заревел медведем:

— Это что? А? — А сам палкой-то на ноги ребятам показывает. Малые, понятно, испужались, к воротам кинулись, а Митюнька стоит и никак в толк взять не может, о чем его барин спрашивает.

Тот заладил свое, недоладом орет:

— Это что?

Митюнька вовсе оробел да и говорит:

— Земля.

Барина тут как параличом хватило, захрипел вовсе:

— Хр-р, хр-р! До чего дошло! До чего дошло! Хр-р, хр-р.

Тут Данило сам из избы выбежал, только барин не стал с ним разговаривать, ткнул кучера набалдашником в шею — поезжай!

Этот барин не твердого ума был. Смолоду за ним такое замечалось, к старости и вовсе не самостоятельный стал. Напустится на человека, а потом и сам объяснить не умеет, что ему надо. Ну, Данило с Катериной и подумали — может, обойдется дело, забудет про ребятишек, пока домой доедет. Только не тут-то было: не забыл барин ребячьих сапожишек. Первым делом на приказчика насел:

— Ты куда глядишь? У барина башмаков купить не на что, а крепостные своих ребятишек в сапогах водят? Какой ты после этого приказчик?

Тот объясняет:

— Вашей, дескать, барской милостью Данило на оброк отпущен и сколько брать с него — тоже указано, а как платит он исправно, я и думал...

— А ты,— кричит,— не думай, а гляди в оба. Вон у него что завелось! Где это видано? Вчетверо ему оброк назначить.

Потом призвал Данилу и сам объяснил ему новый оброк. Данило видит — вовсе несуразица, и говорит:

— Из воли барской уйти не могу, а только оброк такой тоже платить не в силу. Буду работать, как другие, по вашему барскому приказу.

Барину, видать, это не по губе. Денег и без того нехватка,— не до каменной поделки. В пору и ту продать, коя от старых годов осталась. На другую какую работу камнереза поставить тоже не подходит. Ну, и давай рядиться. Сколько все-таки ни отбивался Данила, оброк ему вдвое барин назначил, а не хошь — в гору. Вот куда загнулось!

Понятное дело, худо Данилу с Катей пришлось. Всех прижало, а ребятам хуже всего: до возрасту за работу сели. Так и доучиться им не довелось. Митюнька — тот виноватее

всех себя считал — сам так и лезет на работу. Помогать, дескать, отцу с матерью буду, а те опять свое думают:

«И так-то он у нас нездоровый, а посади его за малахит — вовсе изведется. Потому — кругом в этом деле худо. Присадочный вар готовить — пыли не продохнешь, щебенку колотить — глаза береги, а олово крепкой водкой на полер разводить — парами задушит». Думали, думали и придумали отдать Митюньку по гранильному делу учиться.

Глаз, дескать, хваткий, пальцы гибкие и силы большой не надо — самая по нему работа.

Гранильщик, конечно, у них в родстве был. К нему и пристроили, а он рад-радехонек, потому знал — парнишечко смышленый и к работе не ленив.

Гранильщик этот так себе, средненький был, второй, а то и третьей цены камешок делал. Все-таки Митюнька перенял от него, что тот умел. Потом этот мастер и говорит Данилу:

— Надо твоего парнишка в город отправить. Пущай там дойдет до настоящей точки. Шибко рука у него ловкая.

Так и сделали. У Данилы в городе мало ли знакомства было по каменному-то делу. Нашел кого надо и пристроил Митюньку. Попал он тут к старому мастеру по каменной ягоде. Мода, видишь, была из камней ягоды делать. Виноград там, смородину, малину и протча. И на все установ имелся. Черну, скажем, смородину из агату делали, белу — из дурмашков, клубнику — из сургучной яшмы, княженику — из мелких шерловых шаричков клеили. Однем словом, всякой ягоде свой камень. Для корешков да листочков тоже свой порядок был: кое из офата, кое из малахита либо из орлеца и там еще из какого-нибудь камня.

Митюнька весь этот установ перенять перенял, а нет-нет и придумает по-своему. Мастер сперва ворчал, потом похваливать стал:

— Пожалуй, так-то живее выходит.

Напоследок прямо объявил:

— Гляжу я, парень, шибко большое твое дарование к этому делу. Впору мне, старику, у тебя учиться. Вовсе ты мастером стал, да еще с выдумкой.

Потом помолчал маленько да и наказывает:

— Только ты, гляди, ходу ей не давай! Выдумке-то! Как бы за нее руки не отбили. Бывали такие случаи.

Митюнька, известно, молодой — безо внимания к этому. Еще посмеивается:

— Была бы выдумка хорошая. Кто за нее руки отбивать станет?

Так вот и стал Митюха мастером, а еще вовсе молодой: только-только ус пробиваться стал. По заказам он не скучал, всегда у него работы полно. Лавочники по каменному делу смекнули живо, что от этого парня большим барышом пахнет,— один перед другим заказы ему дают, успевай только. Митюха тут и придумал:

— Пойду-ко я домой. Коли мою работу надо, так меня и дома найдут. Дорога недалекая, и груз не велик — материал привезти да поделку забрать.

Так и сделал. Семейные обрадовались, понятно: Митя пришел. Он тоже повеселить всех желает, а самому не сладко. Дома-то чуть не цельная малахитовая мастерская стала. Отец и двое старших братьев за станками в малухе сидят, и младшие братья тут же: кто на распиловке, кто на шлифовке. У матери на руках долгожданная девчушка-годовушка трепещется, а радости в семье нет. Данило уж вовсе стариком глядит, старшие братья покашливают, да и на малых смотреть невесело. Бьются, бьются, а все в барский оброк уходит.

Митюха тут и заподумывал: все, дескать, из-за тех сапожнешек вышло.

Давай скорее свое дело налаживать. Оно хоть мелкое, а станков к нему не один, струментишко тоже требуется. Мелочь все, а место и ей надо.

Пристроился в избе против окошка и припал к работе, а про себя думает:

«Как бы добиться, чтоб из здешнего камня ягоды точить? Тогда и младших братишек можно было бы к этому делу пристроить». Думает, думает, а пути не видит. В наших краях известно, хризолит да малахит больше попадаются. Хризолит тоже дешево не добудешь, да и не подходит он, а малахит

только на листочки и то не вовсе водится: оправки либо подклейки требует.

Вот раз сидит за работой. Окошко перед станком по летнему времени открыто. В избе никого больше нет. Мать по своим делам куда-то ушла, малыши разбежались, отец со старшими в малухе сидят. Не слышно их. Известно, над малахитом-то песни не запоешь и на разговор не тянет.

Сидит Митюха, обтачивает свои ягоды из купецкого материала, а сам все о том же думает:

«Из какого бы вовсе дешевого здешнего камня такую же поделку гнать?»

Вдруг просунулась в окошко какая-то не то женская, не то девичья рука,— с кольцом на пальце и в зарукавье,— и ставит прямо на станок Митюньке большую плитку змеевика, а на ней, как на подносе, соковина * дорожная.

Кинулся Митюха к окошку — нет никого, улица пустехонька, ровно никто и не прохаживал.

Что такое? Шутки кто шутит али наважденье какое? Оглядел плитку да соковину и чуть не заскакал от радости, такого материала возами вози, а сделать из него, видать, можно, если со сноровкой выбрать да постараться. Что только?

Стал тут смекать, какая ягода больше подойдет, а сам на то место уставился, где рука-то была. И вот опять она появилась и кладет на станок репейный листок, а на нем три ягодных веточки: черемуховая, вишневая и спелого-спелого крыжовника.

Тут Митюха не удержался, на улицу выбежал дознаться, кто это над ним шутки строит. Оглядел все — никого, как вымерло. Время — самая жарынь. Кому в эту пору на улице быть?

Постоял-постоял, подошел к окошку, взял со станка листок с веточками и разглядывать стал. Ягоды настоящие, живые, только то диво — откуда вишня взялась. С черемухой просто, крыжовнику тоже в господском саду довольно, а эта откуда, коли в наших краях такая ягода не растет, а будто сейчас сорвана?

Полюбовался так на вишни, а все-таки крыжовник ему

милее пришелся и к матерьялу ровно больше подходит. Только подумал — рука-то его по плечу и погладила.

«Молодец, дескать! Понимаешь дело!»

Тут уж слепому ясно, чья это рука. Митюха в Полевой вырос, сколько-нибудь раз слыхал про Хозяйку горы. Вот он и подумал — хоть бы сама показалась. Ну, не вышло. Пожалела, видно, горбатенького парня растревожить своей красотой — не показалась.

Занялся тут Митюха соком да змеевиком. Немало перебрал. Ну, выбрал и сделал со смекалкой. Попотел. Ягодки-то крыжовника сперва половинками обточил, потом внутре-то выемки наладил да еще, где надо, желобочки прошел, где опять узелочки оставил, склеил половинки да тогда их начисто и обточил. Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тонко из змеевки выточил, а на корешок ухитрился колючки тонехонькие пристроить. Однем словом, сортовая работа. В каждой ягодке ровно зернышки видно и листочки живые, даже маленько с изъянами: на одном дырки жучком будто проколоты, на другом опять ржавые пятнышки пришлись. Ну как есть настоящие.

Данило с сыновьями хоть по другому камню работали, а тоже в этом деле понимали. И мать по камню рабатывала. Все налюбоваться не могут на Митюхину работу. И то им диво, что из простого змеевика да дорожного соку такая штука вышла. Мите и самому любо. Ну, как — работа! Тонкость. Ежели кто понимает, конечно.

Из соку да змеевику Митя много потом делал. Семье-то шибко помог. Купцы, видишь, не обегали этой поделки, как за настоящий камень платили, и покупатель в первую голову Митюхину работу выхватывал, потому — на отличку. Митюха, значит, и гнал ягоду. И черемуху делал, и вишню, и спелый крыжовник, а первую веточку не продавал — себе оставил. Посыкался * отдать девчонке одной, да все сумленье брало.

Девчонки, видишь, не отворачивались от Митюхина окошка. Он хоть горбатенький, а парень с разговором да выдумкой, и ремесло у него занятное, и не скупой: шаричков для бусок, бывало, горстью давал. Ну, девчонки нет-нет и

Все налюбоваться не могут на Митюхину работу.

подбегут, а у этой чаще всех заделье находилось перед окошком — зубами поблестеть, косой поиграть. Митюха и хотел отдать ей свою веточку, да все боялся:

— Еще на смех девчонку поднимут, а то и сама за обиду почтет.

А тот барин, из-за которого поворот жизни случился, все еще на земле пыхтел да отдувался. В том году он дочь свою просватал за какого-то там князя ли купца и придано ей собирал. Полевской приказчик и вздумал подслужиться. Митину-то веточку он видал и тоже, видно, понял, какая это штука. Вот и послал своих охлестов с наказом:

— Если отдавать не будет, отберите силой.

Тем что? Дело привычное. Отобрали у Мити веточку, принесли, а приказчик ее в бархатну коробушечку. Как барин приехал в Полевую, приказчик сейчас:

— Получите, сделайте милость, подарочек для невесты. Подходящая штучка.

Барин поглядел, тоже похвалил сперва-то, потом и спрашивает:

— Из каких камней делано и сколько камни стоят?

Приказчик и отвечает:

— То и удивительно, что из самого простого материалу: из змеевику да шлаку.

Тут барин сразу задохся:

— Что? Как? Из шлаку? Моей дочери?

Приказчик видит — неладно выходит, на мастера все поворотил:

— Это он, шельмец, мне подсунул, да еще насказал четвергов с неделю, а то бы я разве посмел.

Барин, знай, хрипит:

— Мастера тащи! Тащи мастера!

Приволокли, понятно, Митюху, и, понимаешь, узнал ведь его барин.

«Это тот... в сапогах-то который...»

— Как ты смел?

С палкой на Митюху кинулся.

Митюха сперва и понять не может, потом раскумекал и прямо говорит:

— Приказчик у меня силом отобрал, пускай он и отвечает.

Только с барином какой разговор, все свое хрипит:

— Я тебе покажу...

Потом схватил со стола веточку, хлоп ее на пол и давайко топтать. В пыль, понятно, раздавил.

Тут уж Митюху за живое взяло, затрясло даже. Оно и то сказать — кому полюбится, коли твою дорогую выдумку диким мясом раздавят.

Митюха схватил баринову палку за тонкий конец да как хряснет набалдашником по лбу, так барин на пол и сел и глаза выкатил.

И вот диво — в комнате приказчик был и прислужников сколько хочешь, а все как окаменели,— Митюха вышел и куда-то девался. Так и найти не могли, а поделку его и потом люди видали. Кто понимающий, те узнавали ее.

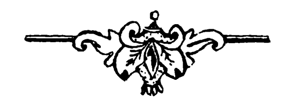
И еще заметочка вышла. Та девчонка, которая зубы-то мыла перед Митюхиным окошком, тоже потерялася, и тоже с концом.

Долго искали эту девчонку. Видно, рассудили по своему-то, что ее найти легче, потому — далеко женщина от своих мест уходить не привычна. На родителей ее наступали:

— Указывай место!

А толку все-таки не добились.

Данилу с сыновьями прижимали, конечно, да, видно, оброку большого пожалели,— отступили. А барин еще сколько-то задыхался, все-таки вскорости его жиром задавило.



ДВЕ ЯЩЕРКИ

Нашу-то Полевую, сказывают, казна * ставила. Никаких еще заводов тогда в здешних местах не было. С боем шли. Ну, казна, известно. Солдат послали. Деревню-то Горный Щит нарочно построили, чтоб дорога без опаски была. На Гумешках, видишь, в ту пору видимое богатство поверху лежало,— к нему и подбирались. Добрались, конечно. Народу нагнали, завод установили, немцев каких-то навезли, а не пошло дело. Не пошло и не пошло. То ли немцы показать не хотели, то ли сами не знали — не могу объяснить, только Гумешки-то у них безо внимания оказались. С другого рудника брали, а он вовсе работы не стоил. Вовсе зряшный рудничишко, тощенький. На таком доброго завода не поставишь. Вот тогда наша Полевая и попала Турчанинову.

До того он — этот Турчанинов — солью промышлял да

торговал на строгановских землях и медным делом тоже маленько занимался. Завод у него был. Так себе заводишко. Мало чем от мужичьих самоделок отошел. В кучах руду-то обжигали, потом варили, переваривали, да еще хозяину барыш был. Турчанинову, видно, этот барыш поглянулся.

Как услышал, что у казны медный завод плохо идет, так и подъехал: нельзя ли такой завод получить? Мы, дескать, к медному делу привышны — у нас пойдет.

Демидовы и другие заводчики, кои побогаче да поименитее, ни один не повязался. «У немцев,— думают,— толку не вышло — на что такой завод? Убыток один». Так Турчанинову наш завод и отдали да еще Сысерть на придачу. Эко-то богатство и вовсе даром!

Приехал Турчанинов в Полевую и мастеров своих привез. Насулил им, конечно, того-другого. Купец, умел с народом обходиться! Кого хочешь обвести мог.

— Постарайтесь,— говорит,— старички, а уж я вам по гроб жизни...

Ну, ласковый язычок,— напел! Смолоду на этом деле — понаторел! Про немцев тоже ввернул словечко:

— Неуж против их не выдюжите? *

Старикам большой охоты переселяться со своих мест не было, а это слово насчет немцев-то задело. Неохота себя ниже немцев показать. Те еще сами нос задрали, свысока на наших мастеров глядят, будто и за людей их не считают. Старикам и вовсе обидно стало. Оглядели они завод. Видят, хорошо устроено против ихнего-то. Ну, казна строила. Потом на Гумешки походили, руду тамошнюю поглядели да и говорят прямо:

— Дураки тут сидели. Из такой-то руды да в этаких печах половина на половину выгнать можно. Только, конечно, соли чтобы безотказно было, как по нашим местам.

Они, слышь-ко, хитрость одну знали — руду с солью варить. На это и надеялись. Турчанинов уверился на своих мастеров и всем немцам отказал:

— Больше ваших нам не требуется.

Немцам что делать, коли хозяин отказал! Стали собираться, кто домой, кто на другие заводы. Только им все-таки

удивительно, как одни мужики управляться с таким делом станут. Немцы и подговорили человек трех из пришлых, кои у немцев при заводе работали.

— Поглядите,— говорят,— нет ли у этих мужиков хитрости какой. На что они надеются,— за такое дело берутся? Коли узнаете, весточку нам подайте, а уж мы вам отплатим.

Один из этих, кого немцы подбивали, добрый парень оказался. Он все нашим мастерам и рассказал. Ну, мастера тогда и говорят Турчанинову:

— Лучше бы ты всех рабочих на медный завод из наших краев набрал, а то видишь, что выходит. Поставишь незнамого человека, а он, может, от немцев подосланный. Тебе же выгода, чтобы нашу хитрость с медью другие не знали.

Турчанинов, конечно, согласился, да у него еще и своя хитрость была. Про нее мастерам не сказал, а сам думает: «К руке мне это».

Тогда, видишь, Демидовы и другие заводчики здешние всяких беглых принимали, башкир тоже, староверов там и протча. Эти, дескать, подешевле и ответу за них нет,— что хошь с ними делай. Ну, а Турчанинов по-другому, видно, считал:

— Наберешь таких-то, с бору да с сосенки, потом не управишься, себе не рад станешь. Беглые народ бывалый,— один другого подучать станут. У башкир опять язык свой и вера другая,— не углядишь за ними. Переманю-ка лучше из дальних мест зазнамо да перевезу их с семьями. Куда тогда он убежит от семьи-то? Спокойно будет, а как зажму в руке, так еще поглядим, у кого выгоды больше закаплет. А беглых да башкир либо еще каких вовсе и к заводам близко подпускать не надо.

Так оно, слышь-ко, и вышло потом. По нашим заводам, известно, все одного закону. У тагильских вон мне случалось бывать, так у их этих вер-то не пересчитать, а у нас слыхом не слыхали, чтоб кто по какой другой вере ходил. Ну, из других народов тоже нет, окромя начальства. Однем словом, подогнанно.

Тогда те речи плавильных мастеров Турчанинову шибко к сличью * пришлись. Он и давай наговаривать:

— Спасибо, старички, что надоумили. Век того не забуду. Все как есть по вашему наученью устрою. Завод в наших местах прикрою и весь народ сюда перевезу. А вы еще подглядите каких людей понадежнее, я их выкуплю, либо на срока заподряжу. Потрудитесь уж, сделайте такую милость, а я вам...

И опять, значит, насулил свыше головы. Не жалко ему! Вином их поит, угощенье поставил, сам за всяко просто пирует с ними, песни поет, пляшет. Ну, обошел стариков.

Те приехали домой и давай расхваливать:

— Места привольные, угодья всякие, медь богатимая, заработки, по всему видать, добрые будут. Хозяин простяга. С нами пил-гулял, не гнушался. С таким жить можно.

А турчаниновски служки тут как тут. На те слова людей ловят. Так и набрали народу не то что для медного заводу, а на все работы хватит. Изоброчили * больше, а кого и вовсе откупили. Крепость, вишь, была. Продавали людей-то, как вот скот какой.

Мешкать не стали, в то же лето перевезли всех с семьями на новые места — в Полевую нашу. Назад дорогу, конечно, начисто отломили. Не говоря о купленных, оброчным и то обратно податься нельзя. Насчитали им за перевозку столько, что до смерти не выплатишь. А бежать от семьи кто согласен? Своя кровь, жалко. Так и посадил этих людей Турчанинов. Всё едино, как цепью приковал.

Из старых рабочих на медном заводе только того парнюгу оставили, который про немецкую хитрость мастерам сказал. Турчанинов и его хотел в гору загнать, да один мастер усовестил:

— Что ты это! Парень полезное нам сделал. Надо его к делу приспособить — смышленый, видать.

Потом и спрашивает у парня:

— Ты что при немцах делал?

— Стенбухарем *,— отвечает,— был.

— Это по-нашему что же будет?

— По-нашему, около пестов ходил, — руду толчи да сеять.

— Это, — говорит мастер, — дело малое — в сетенку бухать. А засыпку немецкую знаешь?

— Нет, — отвечает, — не допущали наших. Свой у них был. Наши только подтаскивали, кому сколько велит. По этой подноске я и примечал маленько. Понять было охота. За карнахарем тоже примечать случалось. Это который у них медь чистил, а к плавке вовсе допуску не было.

Мастер послушал-послушал и сказал твердое слово:

— Возьму тебя подручным. Учить буду по совести, а ты обратное мне говори, что полезное у немцев видел.

Так этого парня — Андрюхой его звали — при печах и оставили. Он живо к делу приобык и скоро сам не хуже того мастера стал, который его учил-то.

Вот прошло годика два. Вовсе не так в Полевой стало, как при немцах. Меди во много раз больше пошло. Загремели наши Гумешки. По всей земле про них слава прошла. Народу, конечно, большое увеличенье сделалось, и всё из тех краев, где у Турчанинова раньше заводишко был. У печей полно, а в горе и того больше. У Турчанинова на это большая охота проявилась — деньги-то огребать. Ему сколь хошь подай — находил место. Навидячу * богател. На что Строгановы, и тех завидки взяли. Жалобу подали, что Гумешки на их землях приходятся и Турчанинову зря попали. Надо, дескать, их отобрать да им — Строгановым — отдать. Только Турчанинов в те годы вовсе в силу вошел. С князьями да сенаторами попросту. Отбился от Строгановых. При деньгах-то долго ли!

Ну, народу, конечно, тяжело приходилось, а мастерам плавильным еще и обидно, что обманул их.

Сперва, как дело направлялось, мяконько похаживал перед этими мастерами:

— Потерпите, старички! Не вдруг Москва строилась. Вот обладим завод по-хорошему, тогда вам большое облегченье выйдет.

А какое облегченье? Чем дальше, тем хуже да хуже. На руднике вовсе людей насмерть забивают, и у печей началь-

ство лютовать стало. Самолучших мастеров по зубам бьют да еще приговаривают:

— На то не надейтесь, что хитрость с медью показали. Теперь лучше плавень знаем. Скажем вот барину, так он покажет!

Турчанинова тогда уже все барином звали. Барин да барин, имени другого не стало. На завод он вовсе и дорожку забыл. Некогда, вишь, ему,— денег много, считать надо.

Вот мастера, которые подбивали народ переселяться в здешние места, и говорят:

— Надо к самому сходить. Он, конечно, барином стал, а все-таки обходительный мужик, понимает дело. Не забыл, поди, как с нами пировал? Обскажем ему начистоту.

Вот и пошли всем народом, а их и не допустили.

— Барин,— говорят,— кофею напился и спать лег. Ступайте-ко на свои места к печам да работайте хорошенько.

Народ зашумел:

— Какой такой сон не к месту пришел! Время о полдни, а он спать! Разбуди! Пущай к народу выходит!

На те слова барин и вылетел. Выспался, видно. С ним оборуженных * сколько хошь. А подручный тот — Андрюха-то, человек молодой, горячий, не испугался, громче всех кричит, корит барина всяко. В конце концов и говорит:

— Ты про соль-то помнишь? Что бы ты без нее был?

— Как,— отвечает барин,— не помнить! Схватить этого, выпороть да посолить хорошенько! Память крепче будет.

Ну, и других тоже хватать стали, на кого барин указывал. Только он, сказывают, страсть хитрый был,— не так распорядился, как казенно начальство. Не зря людей хватал, а со сноровкой: чтоб изъян своему карману не сделать. На завод хоть не ходил, а через наушников до тонкости про всякого знал, кто чем дышит. Тех мастеров, кои побойчее да поразговорчивее, всех отхлестали, а которые потишае,— тех не задел. Погрозил только им:

— Глядите у меня! То же вам будет, коли стараться не станете!

Ну, те испугались, за двоих отвечают, за всяким местом

глядят — порухи бы не вышло. Только все-таки людей недохватка — как урону не быть? Стали один по одному старых мастеров принимать, а этого, который Андрюху учил, вовсе в живых не оказалось. Захлестали старика. Вот Андрюху и взяли на его место. Он сперва ничего — хорошим мастером себя показал. Всех лучше у него дело пошло. Турчаниновски прислужники думают — так и есть, подшучивают еще над парнем, Соленым его прозвали. Он без обиды к этому. Когда сам пошутит:

— Солено-то мяско крепче.

Ну вот, так уверились в него, а он тогда исхитрился, да и посадил козлов * сразу в две печи. Да так, слышь-ко, ловко заморозил, что крепче нельзя. Со сноровкой сделал.

Его, конечно, схватили, да в гору на цепь. Руднишные про Андрюху наслышаны были, всяко старались его вызволить, а не вышло. Стража понаставлена, людей на строгом счету держат... Ну, никак...

Человеку долго ли на цепи здоровье потерять? Хоть кого крепче будь, не выдюжит. Кормежка, вишь, худая, а воды когда принесут, когда и вовсе нет — пей руднишную! А руднишная для сердца шибко вредная.

Помаялся так-то Андрюха с полгода ли, с год — вовсе из сил выбился. Тень тенью стал,— не с кого работу спрашивать.

Руднишный надзиратель и тот говорит:

— Погоди, скоро тебе облегченье выйдет. Тут, в случае, и закопаем, без хлопот.

Хоронить, значит, ладится, да и сам Андрюха видит — плохо дело. А молодой,— умирать неохота.

«Эх,— думает,— зря люди про Хозяйку горы сказывают. Будто помогает она. Коли бы такая была, неуж мне не пособила бы? Видела, поди, как человека в горе замордовали. Какая она Хозяйка! Пустое люди плетут, себя тешат».

Подумал так да и свалился, где стоял. Так в руднишную мокреть и мякнулся, только брызнуло. Холодная она — руднишная-то вода, а ему все равно — не чует. Конец пришел.

Сколько он пролежал тут — и сам не знает, только тепло ему стало. Лежит будто на травке, ветерком его обдувает, а солнышко так и припекает, так и припекает. Как вот в покосную пору.

Лежит Андрюха, и в голове думка:

«Это мне перед смертью солнышко приснилось».

Только ему все жарче да жарче. Он и открыл глаза. Себе не поверил сперва. Не в забое он, а на какой-то лесной горушечке. Сосны высоченные, на горушке трава негустая и камешки мелконькие — плитнячок черный. Справа у самой руки камень большой, как стена ровный, выше сосен.

Андрюха давай-ко себя руками ощупывать — не спит ли. Камень заденет, травку сорвет, ноги принялся скоблить — изъедены ведь грязью-то... Выходит,— не спит, и грязь самая руднишная, а цепей на ногах нет.

«Видно,— думает,— мертвяком меня выволокли, расковали да и положили тут, а я отлежался. Как теперь быть? В бега кинуться али подождать, что будет? Кто хоть меня в это место притащил?»

Огляделся и видит — у камня туесочек стоит, а на нем хлеб, ломтями нарезанный. Ну, Андрюха и повеселел:

«Свои, значит, вытащили и за мертвого не считали. Вишь, хлеба поставили, да еще с питьем! По потемкам, поди, навестить придут. Тогда все и узнаю».

Съел Андрюха хлеб до крошки, из туеска до капельки все выпил и подивился,— не разобрал, что за питье. Не хмелит будто, а так силы и прибавляет. После еды-то вовсе ему хорошо стало. Век бы с этого места не ушел. Только то и думает:

«Как дальше? Хорошо, если свои навестят, а вдруг вперед

начальство набежит? Надо оглядеться хоть, в котором это месте. Тоже вот в баню попасть бы! Одежонку какую добыть!»

Однем словом, пришла забота. Известно, живой о живом и думает. Забрался он на камень, видит — тут они, Гумешки-то, и завод близко, даже людей видно,— как мухи ползают. Андрюхе даже боязно стало — вдруг оттуда его тоже увидят. Слез с камня, сел на старое место, раздумывает, а перед ним ящерки бегают. Много их. Всякого цвету. А две на отличку. Обе зеленые. Одна побольше, другая поменьше.

Вот бегают ящерки. Так и мелькают по траве-то, как ровно играют. Тоже, видно, весело им на солнышке. Загляделся на них Андрюха и не заметил, как облачко набежало. Запокапывало, и ящерки враз попрятались. Только те две зеленые-то не угомонились, всё друг за дружкой бегают и вовсе близко от Андрюхи. Как посильнее дождичек пошел, и они под камешки спрятались. Сунули головенки,— и нет их. Андрюхе это забавно показалось. Сам-то он от дождя прятаться не стал. Теплый да, видать, и ненадолго. Андрюха взял и разделся.

«Хоть,— думает,— которую грязь смоет»,— и ремки свои под этот дождик разостлал.

Прошел дождик, опять ящерки появились. Туда-сюда шныряют, и сухоньки все. Ну, а ему холодно стало. К вечеру пошло,— у солнышка сила не та. Андрюха тут и подумал:

«Вот бы человеку так же. Сунулся под камень — тут тебе и дом».

Сам рукой и уперся в большой камень, с которого на завод и Гумешки глядел. Не то чтобы в силу уперся, а так легохонько толкнул в самый низ. Только вдруг камень качнулся, как повалился на него. Андрюха отскочил, а камень опять на место стал.

«Что,— думает,— за диво? Вон какой камень, а еле держится. Чуть меня не задавил.

Подошел все ж таки поближе, оглядел камень со всех сторон. Никаких щелей нет, глубоко в землю ушел. Уперся руками в одном месте, в другом. Ну, скала и скала. Разве она пошевелится.

«Видно, у меня в голове круженье от нездоровья. Почудилось мне»,— подумал Андрюха и сел опять на старое место.

Те две ящерки тут же бегают. Одна ткнула головенкой в том же месте, какое Андрюха сперва задевал, камень и качнулся. По всей стороне щель прошла. Ящерка туда юркнула, и щели не стало. Другая ящерка пробежала до конца камня да тут и притаилась, сторожит будто, а сама на Андрюху поглядывает:

— Тут, дескать, выйдет. Некуда больше.

Подождал маленько Андрюха,— опять по низу камня чутошная щелка прошла, потом раздаваться стала. В другом-то конце из-под камня ящерка головенку высунула, оглядывается, где та — другая-то, а та прижалась, не шевелится. Выскочила ящерка, другая и скок ей на хребетик — поймала, дескать! — и глазенками блестит, радуется. Потом обе убежали. Только их и видел. Как показали Андрюхе, в котором месте заходить, в котором выходить.

Оглядел еще раз камень. Целехонек он, даже званья нет, чтобы где тут трещинка была.

«Ну-ко,— думает,— попытаю еще раз».

Уперся опять в том же месте в камень, он и повалился на Андрюху. Только Андрюха на это безо внимания — вниз глядит. Там лестница открылась, и хорошо, слышь-ко, улаженная, как вот в новом барском доме. Ступил Андрюха на первую ступеньку, а обе ящерки шмыг вперед, как дорогу показывают. Спустился еще ступеньки на две, а сам все за камень держится, думает:

«Отпущусь — закроет меня. Как тогда в потемках-то?»

Стоит, и обе ящерки остановились, на него смотрят, будто ждут. Тут Андрюха и смекнул:

«Видно, Хозяйка горы смелость мою пытает. Это, говорят, у ней первое дело».

Ну, тут он и решился. Смело пошел, и как голова ниже щели пришлась, отпустился рукой от камня. Закрылся камень, а внизу как солнышко взошло — все до капельки видно стало.

Глядит Андрюха, а перед ним двери створные каменные,

все узорами изукрашенные, а вправо-то однополотная дверочка. Ящерки к ней подошли — в это, дескать, место. Андрюха отворил дверку, а там — баня. Честь честью устроена, только все каменное. Поло́к там, колода, ковшик и протча. Один веничек березовый. И жарко страсть — уши береги. Андрюха обрадовался. Хотел первым делом ремки свои выжарить над каменкой *. Только снял их — они куда-то и пропали, как не было. Оглянулся, а по лавкам рубахи новые разложены и одежи на спицах сколь хошь навешано. Всякая одежа: барская, купецкая, рабочая. Тут Андрюха и думать не стал, залез на поло́к и отвел душеньку — весь веник измочалил. Выпарился лучше нельзя, сел — отдышался. Оделся потом по-рабочему, как ему привычно. Вышел из баньки, а ящерки его у большой двери ждут.

Отворил он — что такое? Палата перед ним, каких он и во сне не видал. Стены-то все каменным узором изукрашены, а посередке стол. Всякой еды и питья на нем наставлено. Ну, Андрюха уж давно проголодался. Раздумывать не стал, за стол сел. Еда обыкновенная, питье не разберешь. На то походит, какое он из туесочка-то пил. Сильное питье, а не хмелит.

Наелся-напился Андрюха, как на самом большом празднике либо на свадьбе, ящеркам поклонился:

— На угощенье, хозяюшки!

А они сидят обе на скамеечке высоконькой, головенками помахивают:

— На здоровье, гостенек! На здоровье!

Потом одна ящерка — поменьше-то — соскочила со скамеечки и побежала. Андрюха за ней пошел. Подбежала она ко кровати, остановилась — ложись, дескать, спать теперь! Кровать до того убранная, что и задеть-то ее боязно. Ну, все-таки Андрюха насмелился. Лег на кровати и сразу уснул. Тут и свет потух.

А на Гумешках тем временем рудничный надзиратель переполошился. Заглянул утром в забой,— жив ли прикованный,— а там одна цепь. Забеспокоился надзиратель, запобегивал:

— Куда девался? Как теперь быть?

Пометался-пометался, никаких знаков нет, и на кого подумать — не знает. Сказать начальству боится — самому отвечать придется. Скажут — плохо глядел. Вот этот руднишный надзиратель и придумал обрушить кровлю над тем местом. Не шибко это просто, а исхитрился все-таки,— кое с боков подгреб, кое сверху наковырял. Тогда и по начальству сказал. Начальство, видно, не крепко в деле понимало, поверило.

— И то,— говорит,— обвал. Вишь, как его задавило, чуть цепь видно.

Надзиратель, конечно, поет:

— Отрывать тут не к чему. Кровля вон какая ненадежная, руды настоящей давно нет, а мертвому не все ли равно, где лежать.

Руднишные видели, конечно,— подстроено тут, а молчали.

«Отмаялся,— думают,— человек. Чем ему поможешь?»

Так начальство и барину сказало:

— Задавило, дескать, того, Соленого-то, который нарочно в печи козлов посадил.

Барин и тут свою выгоду не забыл:

— Это,— говорит,— его сам бог наказал. Надо про эту штуку попам сказать. Пущай народ наставляют, как барину супротивничать.

Попы и зашумели. Весь народ про Андрюху узнал, что его кровлей задавило. Пожалели, конечно:

— Хороший парень был. Немного таких осталось.

А он что? После бани-то спит да спит. Тепло ему, мягко. День проспал, два проспал, на другой бок перевернулся да пуще того. Выспался все-таки и вовсе здоровый стал, будто не хворал и в руднике не бывал. Глядит — стол опять полнехонек, и обе ящерки на скамейке сидят, поглядывают.

Наелся, напился Андрюха, ящеркам поклонился да и говорит:

— Теперь не худо бы барину Турчанинову за соль спасибо сказать. Подарочек сделать, чтоб до слез чихнул.

Одна ящерка — поменьше-то — сейчас соскочила со скамейки и побежала. Андрюха за ней. Привела его ящерка к

другой двери. Отворил, а там тоже лестница, в потолок идет. На потолке скобочка медная, как ручка. Андрюха, понятно, догадался, к чему она. Поднялся по лестнице, повел эту скобочку, выход и открылся. Вышел Андрюха на горушечку, а время, глядит, к вечеру — солнышко на закате.

«Это,— думает,— мне и надо. Схожу по потемкам на рудник. Может, повидаю кого, узнаю, как у них там и в заводе что».

Пошел потихоньку. Сторожится, конечно, как бы его не увидели, кому не надо. Подобрался к руднику, за вересовым кустом притаился. Людей у руды много, а подходящего случаю не выходит. Либо грудками копошатся, либо не те люди. Темненько уж стало. Тут и отбился один, близко подошел. Парень простоватый, а так надежный. Вместе с Андрюхой у печей ходил, да тоже на Гумешки попал. Андрюха и говорит ему негромко:

— Михайло! Иди-ко поближе.

Тот сперва пошел на голос, потом остановился, спрашивает:

— Кому надо?

— Иди, говорю, ближе.

Михайло еще подался, а уж, видать, боится чего-то. Андрюха тогда и выглянул из-за куста, показаться хотел, чтоб он не сомневался. Михайло сойкнул да бежать. Как нарочно в ту пору еще бабеночку одну к тому месту занесло. Она тоже Андрюху-то увидала. Визг подняла — уши затыкай.

— Ой, батюшки, покойник! Ой, покойник!

Михайло тоже кричит:

— Андрюху Соленого видел! Как есть такой показался, как до рудника был! Вон за тем кустом вересовым!

В народе беспокойство пошло. Побежали которые с рудника, а начальство вперед всех. Другие говорят:

— Надо поглядеть, что за штука!

Пошли тулаем *, а так Андрюхе неладно показалось.

«Покажись,— думает,— зря-то, а мало ли кто в народе случится».

Он и отошел подальше в лес. Те побоялись глубоко-то заходить, потолклись около куста, расходиться стали.

Андрюха тут и удумал. Обошел Гумешки лесом да ночью прямо на медный завод. Увидели его там — перепугались. Побросали всё, да кто куда. Надзиратель ночной с перепугу на крышу залез. На другой день уже его сняли — обеспамятел вовсе... Андрюха и походил у печей-то... Опять все наглухо заморозил да к барину.

Тот, конечно, прослышал о покойнике, попов велел нарядить, только их на ту пору найти не могли. Тогда барин накрепко заперся в доме и не велел никому отворять. Андрюха видит — не добудешь, ушел на свое место — в узорчату палату. Сам думает:

«Погоди! Еще я тебе соль припомню!»

На другой день в заводе суматоха. Шутка ли, во всех печах козлы. Барин слезами ревет. На Гумешках тоже толкошатся. Им велел отрыть задавленного и попам отдать,— пущай, дескать, хорошенько захоронят, по всем правилам, чтоб не встал больше.

Разобрали обвал, а там тела-то и нет. Одна цепь осталась и кольца ножные целехоньки, не подпилены даже. Тут рудничного надзирателя потянули. Он еще повертелся, на рабочих хотел свалить, потом уж рассказал, как было дело. Сказали барину — сейчас перемена вышла. Рвет и мечет:

— Поймать, коли живой!

Всех своих стражников-прислужников нарядил лес обыскивать.

Андрюха этого не знал и вечером опять на горушечку вышел. Сколько, видно, ни хорошо в подземной палате, а на горушечке лучше. Сидит у камня и раздумывает, как бы ему со своими друзьями повидаться. Ну, девушка тоже одна на уме была.

«Небось и она поверила, что умер. Поплакала, поди, сколь-нибудь?»

Как на грех, в ту пору женщины по лесу шли. С покосу ворочались али так, ягодницы припозднились... Ну, мало ли по лесу народу летом проходит. От той горушечки близенько шли. Сначала Андрюха слышал, как песни пели, потом и разговор разбирать стал.

Вот одна-то и говорит:

— Заподумывала, поди, Тасютка, как про Андрюху услыхала. Живой ведь, сказывают, он.

Другая отвечает:

— Как не живой, коли все печи заморозил!

— Ну, а Тасютка-то что? Искать, поди, собралась?

— Дура она, Тасютка-то. Вчера сколь ей говорила, а она старухам своим верит. Боится, как бы Андрюха к ней под окошко не пришел, а сама ревет.

— Дура и есть. Не стоит такого парня. Вот бы у меня такой был — мертвого бы не побоялась.

Слышит это Андрюха, и потянуло его поглядеть, кто это Тасютку осудил. Сам думает: «Нельзя ли через них весточку послать?»

Пошел на голоса. Видит — знакомые девчонки, только никак объявиться нельзя. Много, видишь, народу-то идет, да еще ребятишки есть. Ну как объявишься?

Поглядел-поглядел, не показался. Пошел обратно.

Сел на старое место, пригорюнился. А пока он ходил, его, видно, какой-то барский пес и углядел да потихоньку другим весточку подал. Окружили горушечку. Радуются все. Самоглавный закричал:

— Бери его!

Андрюха видит — со всех сторон бегут... Нажал на камень да и туда. Стражники-прислужники подбежали,— никого нет. Куда девался? Давай на тот камень напирать. Пыхтят — стараются. Ну, разве его сдвинешь? Одумались маленько, страх опять на них напал:

— Всамделе, видно, покойник, коли через камень ушел.

Побежали к барину, обсказали ему. Того и запотряхивало с перепугу-то.

— В Сысерть,— говорит,— мне надо. Дело спешное там. Вы тут без меня ловите. В случае не поймаете — строго взыщу с вас.

Погрозил — и на лошадь да в Сысерть и угнал. Прислужники не знают, что им делать. Ну, на то вывели — надо горушку караулить. Андрюха там, под камнем-то, тоже заподумывал: как быть? Сидеть без дела непривычно, а выходить не приходится.

«Ночью, — думает, — попытаю. Не удастся ли по потемкам выбраться, а там видно будет».

Надумал эдак-то, хотел еды маленько на дорогу в узелок навязать, а ящерок нету. Ему как-то без них неловко стало, вроде крадучись возьмет.

«Ладно, — думает, — и без этого обойдусь. Живой буду — хлеба добуду».

Поглядел на узорчату палату, полюбовался, как все устроено, и говорит:

— Спасибо этому дому — пойду к другому.

Тут Хозяйка и показалась ему, как быть должно. Остолбенел парень — красота какая! А Хозяйка говорит:

— Наверх больше ходу нет. Другой дорогой пойдешь. Об еде не беспокойся. Будет тебе, как захочешь, — заслужил.

Выведет тебя дорога, куда надо. Иди вон в те двери, только, чур, не оглядывайся. Не забудешь?

— Не забуду, — отвечает, — спасибо тебе за все доброе.

Поклонился ей и пошел к дверям, а там точь-в-точь такая же девица стоит, только еще ровно краше. Андрюха не вытерпел, оглянулся, — где та-то? А она пальцем грозит:

— Забыл обещанье свое?

— Забыл, — отвечает, — ума в голове не стало.

— Эх, ты, — говорит, — а еще Соленый! По всем статьям парень вышел, а как девок разбирать, так и неустойку показал. Что мне теперь с тобой делать-то?

— Твоя, — говорит, — воля.

— Ну ладно. На первый раз прощается, другой раз не оглянись. Худо тогда будет.

Пошел Андрюха, а та, другая-то, сама ему двери отворила. Там штольня пошла. Светло в ней, и конца не видно.

Оглянулся ли другой раз Андрей и куда его штольня вывела — про то мне старики не сказывали. С той только поры в наших местах этого парня больше не видали, а на памяти держали.

Посолил он Турчанинову-то!

А те — прислужники-то турчаниновски — долго, слышь-ко, камень караулили. Днем и ночью кругом камня стояли. Нарочно народ ходил поглядеть на этих дураков. Потом, видно, им самим надоело. Давай тот камень порохом рвать. Рудничных нагнали. Ну, разломали, конечно, а барин к той поре отутовел *, — отошел от страху да их же ругать.

— Пока, — кричит, — вы пустой камень караулили, мало ли в заводе и на Гумешках урону вышло. Вон у приказчика-то зад сожгли. Куда годится?

ПРИКАЗЧИКОВЫ ПОДОШВЫ

Был в Полевой приказчик Северьян Кондратьич. Ох и лютой, ох и лютой! Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака. Зверь.

В заводском деле он, слышь-ко, вовсе не мараковал, а только мог человека бить. Из бар был, свои деревни имел, да всего решился. А все из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, да еще которых из чужого владенья. Ну, огласка и вышла, прикрыть никак невозможно. Суд да дело — Северьяна и присудили в Сибирь либо на здешние заводы. А Турчаниновым — владельцам — такого убойцу подавай. Сразу назначили Северьяна в Полевую.

— Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели и убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет. Лишь бы народ потише стал, а то он вон что вытворять придумал.

А в Полевой перед этим старого-то приказчика на калену

болванку посадили, да так, что он в одночасье помер. Драли, конечно, за приказчика-то. Только виноватого не нашли.

Никто его не садил. Сам сел. Угорел, может, либо затменье на него нашло. Хватились поднять его с болванки, а уж весь зад до нутра испортило. Такая, видно, воля божья, чтоб ему с заду смерть принять.

По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испужать.

Вот и стал убойца Северьян нашим заводским приказчиком. Он, слышь-ко, смелый был, а все ж таки понимал — завод не деревня, больше опаски требует. Народ, вишь, завсегда кучкой, место тесное, да еще у огня. Всякий с орудией какой-нибудь... Клещами двинуть может, молотком садануть, сгибнем либо полосой брякнуть, а то и плахой ахнуть. Очень даже просто. Могут и в валок либо в печь головой сунуть. Угорел-де, подошел близко, его и затянуло. Поджарили же того приказчика.

Северьян и набрал себе обережных. Откуда только выкопал! Один другого могутнее да отчаяннее. И всё народишко — откать * последняя. Братцы-хватцы из шатальной волости. С этой оравой и ходил по заводу. Впереди сам идет. В руке плетка в два перста толщиной, с подвитым кончиком. В кармане пистолет, на четыре ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За Северьяном шайка идет. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой срядился.

Первым делом уставщика спрашивает:

— Кто худо робит?

Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя, сам под плетку попадешь — потаковщик-де. Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком — понасердке *, а на ком и вовсе зря. Лишь бы от себя плетку отвести. Наговорит так-то на людей, приказчик и примется лютовать. Сам, слышь-ко, бил. Хлебом его не корми, любил над человеком погалиться *. Такой уж характер имел. Убойца, однем словом.

В Медну гору сперва все-таки не спущался. Без привычки-то под землей страшно, хоть кому доведись. Главная причина — потемки, а свету не прибавишь. Хоть сам владелец

спустись, ту же блёндочку * дадут. Разбери, горит она али так только вид дает. Ну, и мокреть тоже. И народ в горе вовсе потерянный. Такому что жить, что умирать — все едино. Безнадежный народ, самый для начальства беспокойный. И про то Северьян слыхал, что у Медной горы своя Хозяйка есть. Не любит будто она, как под землей над человеком измываются. Вот Северьян и побаивался. Потом насмелился. Со всей своей шайкой в гору спустился. С той поры и пошло. Ровно еще злости в Северьяне прибавилось. Раньше руднишных драли завсегда наверху, а теперь нову моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забое народ бьет. Да каждый день в гору повадился, а распорядок у него один — как бы побольше людям худа сделать. Который день много народу изобьет, в тот и веселее. Расправит усы свои да и хрипит руднишному смотрителю:

— Ну-ко, старый хрыч, приготовь к подъему. Пообедать пора, намахался.

С неделю он так-то хозяевал в горе. Потом случай и вышел. Только сказал руднишному смотрителю—готовь к подъему,— вдруг голос, да так звонко, будто где-то совсем близко:

— Гляди, Северьянко, как бы подошвы деткам своим на помин не оставить!

Приказчик схватился:

— Кто сказал? — Повернулся на голос да и повалился, чуть ноги не переломал. Они у него как прибитые стали. Едва от земли оторвал. А голос женский. Сумление тут приказчика и взяло, а все-таки виду не оказывает. Будто ничего не слыхал. Северьянова шайка тоже молчит, а видать — приуныла. Эти сразу сметили — *сама* погрозилась.

Вот ладно. Перестал приказчик в гору лазать. Вздохнули маленько руднишные, только ненадолго. Приказчику, вишь, стыдно: вдруг рабочие тот голос слышали да теперь и посмеиваются про себя — струсил-де Северьян. А это ему хуже ножа, как он завсегда похвалялся — никого не боюсь. Приходит он в прокатную, а там кричат:

— Эй, подошвы береги! — Это у них присловье такое. Упредить, значит, кто зазевался. А приказчик свое думает: «Надо мной смеются».

Шибко его тем словом укололо. Не стал и человека искать, который про подошвы кричал. Даже никого на тот раз не избил, а стал посередке прокатной да и говорит своей-то ораве:

— Что-то мы давненько в горе не были. Надо там за порядком доглядеть.

Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, как еще не бывало. Походя всех лупит. Все ему показать-то охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос:

— Другой раз, Северьянко, тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков. Подошвы им только оставишь!

Приказчик на голос повернулся и повалился, как и тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит, а они чуть не на вершок в породу вдавились, хоть каелкой обивай. Вырвал все ж таки, только сапоги спереди оскалились — подошвы отстали. Притих приказчик, а как наверх поднялись, опять осмелел. Спрашивает своих-то:

— Слыхали что? в шахте?

Те говорят:

— Слыхали.

— Видели — как ноги у меня прилипли?

— Видели,— отвечают.

— Как думаете — что это?

Ну, те мнутся, понятно, потом один выискался и говорит:

— Не иначе, это Медной горы Хозяйка тебе знак подает. Грозится вроде, а чем — непонятно.

— Так вот,— говорит Северьян,— слушайте, что я скажу. Завтра, как свет, в гору приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать да бабенку в горе прятать. Все штольни-забои облазаю, а бабенку ту поймаю и вот этой плеткой с пяти раз дух из нее вышибу. Слышали?

И дома перед женой этак же похваляется. Та, женским делом, в слезы:

— Ох да ах, поберегся бы ты, Северьянушко! Хоть бы попа позвал, чтоб он тебя оградил.

И верно, попа позвали. Тот попел, почитал, образок Северьяну на шею повесил, пистолет водичкой покропил да и говорит:

— Не беспокойся, Северьян Кондратьич, а в случае чего — читай «Да воскреснет бог».

На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнели * все, один приказчик гоголем похаживает. Грудь выставил, плечи поднял, и глядят — сапоги на нем новешенькие, как зеркало блестят. А Северьян плеткой по сапожкам похлопывает и говорит:

— Еще раз оборву подошвы, так покажу руднишному смотрителю, как грязь разводить. Не погляжу, что он двадцать лет в горе служит, спущу и ему шкуру. А вы первым делом старайтесь бабенку эту углядеть. Кто ее поймает, тому пятьдесят рублей награда.

Спустились, значит, в гору и давай везде шнырять. Приказчик, как обыкновенно, впереди, а орава за ним. Ну, в штольнях-то узко, они цепочкой и растянулись, один за другим. Вдруг приказчик видит — впереди кто-то маячит. Так себе легонько идет, блёндочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик заорал «стой!», а она будто и не слыхала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся. Дрожь на их нашла. Потому видят—неладное дело: *сама* это. А назад податься тоже не смеют — Северьян до смерти забьет. Приказчик все вперед бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко, грозится, а она и не оглянется. Народу в той штольне ни души.

Вдруг женщина повернулась, и сразу светло стало. Видит приказчик — перед ним девица красоты неописанной, а брови у ней сошлись и глаза, как уголья.

— Ну,— говорит,— давай разочтемся, убойца! Я тебя упреждала: перестань,— а ты что? Похвалялся меня плеткой с пяти раз забить? Теперь что скажешь?

А Северьян вгорячах кричит:

— Хуже сделаю! Эй, Ванька, Ефимка, хватай девку, волоки отсюда, стерву!

Это он своим-то слугам. Думает, тут они, близко, а сам чует — ноги у него опять к земле прилипли.

Уж не своим голосом закричал:

— Эй, сюда!

А девица ему и говорит:

— Ты глотку-то не надрывай. Твоим слугам тут ходу нет. Их и в живых сейчас многих не будет.

И легонько этак рукой помахала. Как обвал сзади послышался, и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена — ровно никакой штольни и не было.

— Теперь что скажешь? — спрашивает опять Хозяйка.

А приказчик,— он шибко ожесточенный был, да и попом обнадеженный,— выхватил свой пистолет:

— Вот что скажу! — И хлоп из одного ствола... в Хозяйку-то! Та пульку рукой поймала, в коленко приказчику бросила и тихонько молвила:

— До этого места нет его.— Как приказ отдала. И сейчас же приказчик по самое колено зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, завыл:

— Матушка-голубушка, прости, сделай милость. Внукам-правнукам закажу. От места откажусь. Отпусти душу на покаянье!

А сам ревет, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула.

— Эх, ты,— говорит,— погань, пустая порода! И умереть не умеешь. Смотреть на тебя — с души воротит.

Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос. Как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, глыба и свалилась, а Хозяйка как растаяла.

А в горе переполох. Ну, как же — штольня обвалилась, а туда приказчик со всей своей свитой ушел. Не шутка дело. Народ согнали. Откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину в Сысерть нарочного послали. Горное начальство из города на другой день прикатило. Дня через два отрыли приказчиковых-то слуг. И вот диво! Которые хуже-то всех были, те все мертвые, а кои хоть маленько стыд имели, то только изувечены. Всех нашли, только приказчика нету. Потом уже докопались до какого-то неведомого забоя. Глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Стали оглядывать ее и видят — с одного-то конца она шлифована.

«Что,— думают,— за чудо. Кому тут малахит шлифовать?» Стали хорошенько разглядывать, да и увидели — посредине шлифованного места две подошвы сапожные. Новехоньки подошевки-то. Все гвоздики на них видно. В три ряда. Довели

об этом до барина, а тот уже старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу, как есть. Сколько тут битвы было! Подняли все-таки. Старый барин как увидел подошвы, так в слезы ударился:

— Вот какой у меня верный слуга был! — Потом и говорит: — Надо это тело из камня вызволить и с честью похоронить.

Послали сейчас же на Мрамор за самым хорошим камнерезом. А там тогда Костоусов на славе был. Привезли его. Барин и спрашивает:

— Можешь ты тело из камня вызволить и чтоб тела не испортить?

Мастер оглядел глыбу и говорит:

— А кому обой * будет?

— Это,— говорит барин,— уж в твою пользу, и за работу заплачу, не поскуплюсь.

— Что же,— говорит,— постараться можно. Главное дело — материал шибко хороший. Редко такой и увидишь. Одно горе — дело наше мешкотно. Если сразу до тела обивать, дух, я думаю, смрадный пойдет. Сперва, видно, надо оболванить, а это малахиту потеря.

Барин даже огневался на эти слова.

— Не о малахите,— говорит,— думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть.

— Это,— отвечает мастер,— кому как.

Он, вишь, вольный, Костоусов-то, был. Ну, и разговор у него такой. Стал Костоусов мертвяка добывать. Оболванил сперва, малахит домой увез. Потом стал до тела добираться. И ведь что? Где тело либо одежа были, там все пустая порода, а кругом малахит первосортный.

Барин все-таки эту пустую породу велел похоронить как человека. А мастер Костоусов жалел:

— Кабы знатьё,— говорит,— так надо бы глыбу сразу на распил пустить. Сколько добра сгибло из-за приказчика, а от него, вишь, что осталось! Одни подошвы.

ТАЮТКИНО ЗЕРКАЛЬЦЕ

Был еще на руднике такой случай.

В одном забое пошла руда со шлифом. Отобьют кусок, а у него, глядишь, какой-нибудь уголышек гладехонек. Как зеркало блестит, глядись в него — кому любо.

Ну, рудобоям не до забавы. Всяк от стариков слыхал, что это примета вовсе худая.

— Пойдет такое — берегись! Это Хозяйка горы зеркало расколотила. Сердится. Без обвалу дело не пройдет.

Люди, понятно, и сторожатся, кто как может, а начальство в перву голову. Рудничный смотритель как услышал про эту штуку, сразу в ту сторону и ходить перестал, а своему подручному надзирателю наказывает:

— Распорядись подпереть проход двойным перекладом

из лежаков да вели очистить до надежного потолка забой. Тогда сам погляжу.

Надзирателем на ту пору пришелся Ераско Поспешай. Егозливый такой старичонко. На глазах у начальства всегда рысью бегал. Чуть ему скажут, со всех ног кинется и без толку народ полошит, как на пожар.

— Поспешай, ребятушки, поспешай! Руднично дело тихого ходу не любит. Одна нога здесь, другая нога там.

За суматошливость-то его Поспешаем и прозвали.

Только в этом деле и у Поспешая ноги заболели. В глазах свету не стало, норовит чужими поглядеть. Подзывает бергала *-плотника да и говорит:

— Сбегай-ко, Иван, огляди хорошенько да смекни, сколько бревен подтаскивать, и начинайте благословясь. Руднично дело, сам знаешь, мешкоты не любит, а у меня, как на грех, в боку колотье поднялось и поясница отнялась. Еле живой стою. К погоде, видно. Так вы уж без меня постарайтесь! Чтоб завтра к вечеру готово было!

Бергалу податься некуда — пошел, а тоже не торопится. Сколь ведь в руднике ни тошно, а в могилу до своего часу все же никому неохота. Ераско даже пригрозил:

— Поспешай, братец, поспешай! Не оглядывайся! Ленивых-то, сам знаешь, у нас хорошо на пожарной бодрят. Видал, поди?

Он — этот Ераско Поспешай — лисьей повадки человечишко. Говорил сладенько, а на деле самый зловредный был. Никто больше его народу под плети не подводил. Боялись его.

На другой день к вечеру поставили переклады. Крепь надежная, что говорить, только ведь гора! Бревном не удержишь, коли она осадку дает. Жамкнет, так стояки-бревна, как лучинки, хрустнут, и лежакам не вытерпеть: в блин их сдавит. Бывалое дело.

Ераско Поспешай все же осмелел маленько. Хоть пристанывает и на колотье в боку жалуется, а у перекладов ходит и забой оглядел. Видит — дело тут прямо смертное, плетями в тот забой не всякого загонишь. Вот Ераско и перебирает про себя, кого бы на это дело нарядить.

Под рукой у Ераско много народу ходило, только смирнее Гани Зари не было. На диво безответный мужик выдался. То ли его смолоду заколотили, то ли такой уродился,— никогда поперек слова не молвит. А как у него семейная беда приключилась, он и вовсе слова потерял. У Гани, видишь, жена зимним делом на пруду рубахи полоскала да и соскользнула под лед. Вытащить ее вытащили и отводилась, да, видно, застудилась и к весне свечкой стаяла. Оставила Гане сына да дочку. Как говорится, красных деток на черное житье.

Сынишко не зажился на свете, вскорости за матерью в землю ушел, а девчоночка ничего,— востроглазенькая да здоровенькая, Таюткой звали. Годов четырех она от матери осталась, а в своей ровне уже на примете была,— на всякие игры первая выдумщица. Не раз и доставалось ей за это.

Поссорятся девчонки на игре, разревутся да и бегут к матерям жаловаться:

— Это все Тайка Заря придумала!

Матери, известно, своих всегда пожалеют да приголубят, а Таютке грозят:

— Ах, она, вострошарая! * Поймаем вот ее, да вицей! * Еще отцу скажем! Узнает тогда, в котором месте заря с зарей сходится. Узнает!

Таютка, понятно, отца не боялась. Чуяла, поди-ко, что она ему, как порошинка в глазу,— только об ней и думал. Придет с рудника домой, одна ему услада — на забавницу свою полюбоваться да послушать, как она лепечет о том, о другом. А у Таютки повадки не было, чтобы на обиды свои жаловаться, о веселом больше помнила.

Ганя с покойной женой дружно жил, жениться второй раз ему неохота, а надо. Без женщины в доме с малым ребенком, конечно, трудно. Иной раз Ганя и надумает — беспременно женюсь, а как послушает Таютку, так и мысли врозь.

— Вот она у меня какая забавуха растет, а мачеха придет — все веселье погасит.

Так без жены и маялся. Хлеб стряпать соседям отдавал, и варево, какое случалось, в тех же печах ставили. Пойдет на работу, непременно соседским старухам накажет:

— Доглядите вы, сделайте милость, за моей-то.

Те, понятно:

— Ладно, ладно. Не беспокойся!

Уйдет на рудник, а они и не подумают. У всякой ведь дела хоть отбавляй. За своими внучатами доглядеть не успевают, про чужую и подавно не вспомнят.

Хуже всего зимой приходилось. Избушка, видишь, худенькая, теплуху * подтапливать надо. Не малой же девчонке это дело доверить. Старухи вовремя не заглянут. Таютка и мерзнет до вечера, пока отец с рудника не придет да печь не натопит. Вот Ганя и придумал:

— Стану брать Таютку с собой. В шахте у нас тепло. И на глазах будет. Хоть сухой кусок, да вовремя съест.

Так и стал делать. А чтобы от начальства привязки не было, что, дескать, женскому полу в шахту спускаться нельзя, он стал обряжать Таютку парнишком. Наденет на нее братнюю одежонку да и ведет с собой. Рудобои, которые по суседству жили, знали, понятно, что у Гани не парнишко, а девчонка, да им-то что. Видят — по горькой нужде мужик с собой ребенка в рудник таскает, жалеют его и Таютку позабавить стараются. Известно, ребенок! Всякому охота, чтоб ему повеселее было. Берегут ее в шахте, потешают, кто как умеет. То на порожней тачке подвезут, то камешков узорчатых подкинут. Кто опять ухватит на руки, подымет выше головы да и наговаривает:

— Ну-ко, снизу погляжу, сколь Натал Гаврилыч руды себе в нос набил. Не пора ли каелкой выворачивать?

Подшучивали, значит. И прозвище ей дали — Натал Гаврилыч.

Как увидят, сейчас разговор:

— А, Натал Гаврилыч!

— Как житьишком, Натал Гаврилыч?

— Отцу пособлять пришел, Натал Гаврилыч? Дело, друг, дело. Давно пора, а то где же ему одному управиться.

Не каждый, конечно, раз таскал Ганя Таютку с собой, а все-таки частенько. Она и сама к тому привыкла, чуть не всех рудобоев, с которыми отцу приходилось близко стоять, знала.

Вот на этого-то Ганю Ераско и нацелился. С вечера говорит ему ласковенько:

— Ты, Ганя, утре ступай-ко к новым перекладам. Очисти там забой до надежного потолка!

Ганя и тут отговариваться не стал, а как пошел домой, заподумывал, что с Таюткой будет, коли гора его не пощадит.

Пришел домой,— у Таютки нос от реву припух, ручонки расцарапаны, под глазом синяк и платьишко все порвано. Кто-то, видно, пообидел. Про обиду свою Таютка все-таки сказывать не стала, а только сразу запросилась:

— Возьми меня, тятя, завтра на рудник с собой.

У Гани руки задрожали, а сам подумал:

«Верно, не лучше ли ее с собой взять. Какое ее житье, коли живым не выйду!»

Прибрал он свою девчушку, сходил к соседям за похлебкой, поужинали, и Таютка сейчас же свернулась на скамеечке, а сама наказывает:

— Тятя, смотри не забудь меня разбудить! С тобой пойду!

Уснула Таютка, а отцу, конечно, не до этого. До свету просидел, всю свою жизнь в голове перевел, в конце концов решил:

— Возьму! Коли погибнуть доведется, так вместе.

Утром разбудил Таютку, обрядил ее по обычаю парнишком, поели маленько и пошли на рудник.

Только видит Таютка, что-то не так: знакомые дяденьки как незнакомые стали. На кого она поглядит, тот и глаза отведет, будто не видит. И Натал Гаврилычем никто ее не зовет. Как осердились все. Один рудобой заворчал на Ганю:

— Ты бы, Гаврило, этого не выдумывал — ребенка с собой таскать. Не ровен час — какой случай выйдет.

Потом парень-одиночка подошел. Сам сбычился, в землю глядит и говорит тихонько:

— Давай, дядя Гаврило, поменяемся. Ты с Таюткой на мое место ступай, а я на твое.

Тут другие зашумели:

— Чего там! По жеребьевке надо! Давай Поспешая! Пущай жеребьевку делает, коли такое дело!

Только Поспешая нет и нет. Рассылка от него прибежал: велел, дескать, спускаться, его не дожидаючись. Хворь приключилась, с постели подняться не может.

Хотели без Поспешая жеребьевку провести, да один старичок ввязался. Он — этот старичонко — на доброй славе ходил. Бывальцем считали и всегда по отчеству звали, только как он низенького росту был, так маленько с шуткой — Полукарпыч.

Этот Полукарпыч мысли и повернул.

— Постойте-ко,— говорит,— постойте! Что зря горячиться! Может, Ганя умнее нашего придумал. Хозяйка горы наверняка его с дитей-то помилует. Податная на это,— будьте покойны! Гляди, еще девчонку к себе в гости сводит. Помяните мое слово.

Этим разговором Полукарпыч и погасил у людей стыд. Всяк подумал: «На что лучше, коли без меня обойдется», и стали поскорее расходиться по своим местам.

Таютка не поняла, конечно, о чем спор был, а про Хозяйку приметила. И то ей диво, что в шахте все по-другому стало. Раньше, случалось, всегда на людях была, кругом огоньки мелькали, и людей видно. Кто руду бьет, кто нагребает, кто на тачках возит. А на этот раз все куда-то разошлись, а они с отцом по пустому месту вдвоем шагают, да еще Полукарпыч увязался за ними же.

— Мне,— говорит,— в той же стороне работа, провожу до места.

Шли-шли. Таютке тоскливо стало, она и давай спрашивать отца:

— Тятя, мы куда пошли? К Хозяйке в гости?

Гаврило вздохнул и говорит:

— Как придется. Может, и попадем.

Таютка опять:

— Она далеко живет?

Гаврило, конечно, молчит, не знает, что сказать, а Полукарпыч и говорит:

— В горе-то у ней во всяком месте дверки есть, да только нам не видно.

— А она сердитая? — спрашивает опять Таютка, а Полукарпыч и давай тут насказывать про Хозяйку, ровно он ей родня либо свойственник. И такая, и сякая, немазаная-сухая. Платье зеленое, коса черная, в одной руке каелка махонькая, в другой цветок. И горит этот цветок, как хорошая охапка смолья, а дыму нет. Кто Хозяйке поглянется, тому она этот цветок и отдаст, а у самой сейчас же в руке другой появится.

Таютке это любопытно. Она и говорит:

— Вот бы мне такой цветочек!

Старичонко и на это согласен:

— А что ты думаешь? Может, и отдаст, коли пугаться да реветь не будешь. Очень даже просто.

Так и заговорил ребенка. Таютка только о том и думает, как бы поскорее Хозяйку поглядеть да цветочек получить. Говорит старику-то:

— Дедо, я ни за что, ну вот ни за что не испугаюсь и реветь не буду.

Вот пришли к новым перекладам. Верно, крепь надежная поставлена, и смолье тут наготовлено. Ганя со стариком занялись смолье разжигать. Дело, видишь, такое — осветиться хорошенько надо, одних блендочек мало, а огонь развести в таком месте тоже без оглядки нельзя.

Пока они тут место подходящее для огнища устроили да с разжогом возились, Таютка стоит да оглядывает кругом, нет ли тут дверки, чтоб к Хозяйке горы в гости пойти.

Глазенки, известно, молодые, вострые. Таютка и углядела ими — в одном месте, невысоко от земли, вроде ямки кругленькой, а в ямке что-то блестит. Таютка, не того слова, подобралась к тому месту да и поглядела в ямку, а ничего нет. Тогда она давай пальчишком щупать. Чует — гладко, а края отстают, как старая замазка. Таютка и давай то место расколупывать, дескать, пошире ямку сделаю. Живо очистила место с банное окошечко да тут и заревела во всю голову:

— Тятя, дедо! Большой парень из горы царапается!

Гаврило со стариком подбежали, видят — как зеркало в породу вдавлено, шатром глядит и до того человека большим кажет, что и признать нельзя. Сперва-то они и сами испуга-

лись, потом поняли, и старик стал над Таюткой подсмеиваться:

— Наш Натал Гаврилыч себя не признал! Гляди-ко,— я нисколь не боюсь того вон старика, даром что он такой большой. Что хочешь заставлю его сделать. Потяну за нос — он себя потянет, дерну за бороду — он тоже. Гляди: я высунул язык, и он свой ротище раззявил и язык выкатил! Как бревно!

Таютка поглядела из-за дедушкина плеча. Точно — это он и есть, только сильно большой. Забавно ей показалось, как дедушка дразнится. Сама вперед высунулась и тоже давай всяки штуки строить.

Скоро ей охота стала на свои ноги посмотреть, пониже, значит, зеркало спустить. Она и начала с нижнего конца руду отколупывать. Отец с Полукарпычем глядят — руда под Таюткиными ручонками так книзу и поползла, мелкими камешками под ноги сыплется. Испугались: думали — обвал. Ганя подхватил Таютку на руки, отбежал подальше да и говорит:

— Посиди тут. Мы с дедушкой место очистим. Тогда тебя позовем. Без зову смотри не ходи — осержусь!

Таютке горько показалось, что не дали перед зеркалом позабавиться. Накуксилась маленько, губенки надула, а не заревела. Знала, поди-ко, что большим на работе мешать нельзя. Сидит, нахохлилась да от скуки перебирает камешки, какие под руку пришлись. Тут и попался ей один занятный. Величиной с ладошку. Исподка у него руда рудой, а повернешь — там вроде маленькой чашечки либо блюдца. Гладко-гладко выкатано и блестит, а на закрайках как листочки прилипли. А пуще того занятно, что из этой чашечки на Таютку тот же большой парень глядит. Таютка и занялась этой игрушкой.

А тем временем отец со стариком в забое старались. Сперва-то сторожились, а потом на-машок у них работа пошла. Подведут каелки от гладкого места, да и отворачивают породу, а она сыплется мелким куском. Верхушка только потруднее пришлась... Высоко, да и боязно, как бы порода большими кусками не посыпалась. Старик велел Гане у забоя стоять, чтоб Таютка на ту пору не подошла, а сам взмостился на

чурбаках и живой рукой верх очистил. И вышло у них в забое, как большая чаша внаклон поставлена, а кругом порода узором легла и до того крепкая, что каелка ее не берет.

Старик, для верности, и по самой чаше не раз каелкой стукал. Сперва по низу да с оглядкой, а потом начал базгать со всего плеча да еще приговаривает:

— Дай-ко хвачу по носу старика — пусть на меня не замахивается!

Хлестал-хлестал, чаша гудит, как литая медь, а от каелки даже малой чатинки * не остается. Тут оба уверились — крепко. Побежал отец за Таюткой. Она пришла, поглядела и говорит:

— У меня такое есть! — и показывает свой камешок. Большие видят,— верно, на камешке чаша и весь ободок из точки в точку. Ну, все как есть — только маленькое. Старик тут и говорит:

— Это, Таютка, тебе Хозяйка горы, может, на забаву, а может, и на счастье дала.

— Нет, дедо, я сама нашла.

Гаврило тоже посомневался:

— Мало ли какой случай бывает.

На спор у них дело пошло. Стали в том месте, где Таютка сидела, все камешки перебирать. Даже сходства не обозначилось. Тогда старик и говорит:

— Вот видите, какой камешок! Другого такого в жизнь не найти! Береги его, Таютка, и никому не показывай, а то узнает начальство — отберут.

Таютка от таких слов голосом закричала:

— Не отдам! Никому не отдам!

А сама поскорее камешок за пазуху и ручонкой прижала,— дескать, так-то надежнее.

К вечеру по руднику слух прошел:

— Обошлось у Гани по-хорошему. Вдвоем с Полукарпычем они гору руды набили да еще зеркало вырыли. Цельное, без единой чатинки, и ободок узорчатый.

Всякому, конечно, любопытно. Как к подъему объявили, народ и кинулся сперва поглядеть. Прибежали, видят — верно, над забоем зеркало наклонилось, и кругом из породы яв-

ственно рама обозначилась, как руками высечена. Зеркало не доской, а чашей: в середине поглубже, а по краям на нет сошло. Кто поближе подойдет, тот и шарахнется сперва, а потом засмеется. Зеркало-то, видишь, человека вовсе несообразно кажет. Нос с большой угор, волос на усах, как дрова разбросали. Даже глядеть страшно, и смешно тоже. Народу тут и набилось густо. Старики, понятно, оговаривают: не до смеху, дескать, тут дело вовсе сурьезное. А молодых разве угомонишь, коли на них смех напал. Шум подняли, друг над дружкой подшучивают. Таютку кто-то подтащил к самому зеркалу да и кричит:

— Это вот тот большой парень зеркало открыл!

Другие отзываются:

— И впрямь так! Не будь Таютки, не смеяться бы тут. Таюткино зеркало и есть!

А Таютка помалкивает да ручонкой крепче свое маленькое зеркальце прижимает.

Ераско Поспешай, конечно, тоже услышал про этот случай — сразу выздоровел, спустился в шахту и пошел к Ганиному забою. Вперед шел, так еще про хворь помнил, а как оглядел место да увидел, что народ не боится, сразу рысью забегал и закричал своим обычаем:

— Поспешай, ребятушки, к подъему! Не до ночи вас ждать! Рудничное дело мешкоты не любит. Эка невидаль — гладкое место в забое пришлось!

А сам, по собачьему положению, другое смекает:

«Рудничному смотрителю не скажу, а побегу к приказчику. Обскажу ему, как моим распорядком в забое такую диковину открыли. Тогда мне, а не смотрителю награда будет».

Прибежал к приказчику, а смотритель уж там сидит да еще над Ераском насмехается:

— Вот что! Выздоровел, Ерастушко! А я думал, тебе и не поглядеть, какую штуку без тебя на руднике откопали.

Ераско завертелся: дескать, за этим и бежал, чтоб тебе сказать.

А смотритель, знай, подзуживает:

— Худые, гляжу, у тебя ноги стали. За всяким делом самому глядеть доводится.

Ераску с горя не лук же тереть. Он думал-думал и придумал:

«Напишу-ко я грамоту заграничной барыне. Тогда еще поглядим, куда дело повернется».

Ну, и написал. Так, мол, и так, стараньем надзирателя такого-то открыли в руднике диковинное зеркало. Не иначе самой Хозяйки горы. Не желаете ли поглядеть?

Ераско это с хитростью подвел. Он так понял. Приказчик непременно барину о таком случае доведет, только это ни к чему будет. Барин на ту пору из таких случился, что ни до чего ему дела не было, одно требовал — давай денег больше! А жена у этого барина из заграничных земель была.

У бар, известно, заведено было по всяким заграницам таскаться. Сысертский барин это же придумал:

«Чем, дескать, я хуже других заводчиков. Поеду — людей посмотрю, себя покажу».

Ну, поездил у теплых морей, поразбросал рублей, и домой его потянуло.

Только дорога-то шла через немецки земли, а там, видишь, на это дело, чтоб к чужим деньгам подобраться, нашлись больно смекалистые.

Видят — барин ума малого, а деньгами ворочает большими, они и давай его обхаживать. Вызнали, что он холостой, и пристроились на живца ловить. Подставили, значит, ему немку посытее да повиднее,— из таких все ж таки, коих свои немецкие женихи браковали, и вперебой стали ту немку нахваливать:

— Вот невеста так невеста! По всем землям объезди, такой не сыщешь. Домой привезешь, у соседей в глазах зарябит.

Барин всю эту подлость за правду принял, взял да и женился на той немке. И то ему лестно показалось, что невеста перед свадьбой только о том и говорила, как будет ей хорошо на новом месте жить. Ну, а как обзаконились да подписал барин бумажки, какие ему подсунули, так и поворот этому разговору. Молодая жена сразу объявила:

— Неохота мне что-то, мил любезный друг, на край света забираться. Тут привычнее, да и тебе для здоровья полезно.

Барин, понятно, закипятился:

— Как так? Почему до свадьбы другое говорила? Где твоя совесть?

А немка, знай, посмеивается.

— По нашим,— говорит,— обычаям невесте совести не полагается. С совестью-то век в девках просидишь, а это невесело.

Барин горячится, корит жену всякими словами, а ей хоть бы что. Свое твердит:

— Надо было перед свадьбой уговор подписать, а теперь и разговаривать не к чему. Коли тебе надобно, поезжай в свои места один. Сколь хочешь там живи, хоть и вовсе сюда не ворочайся, скучать не стану. Мне бы только деньги по-

сылал вовремя. А не будешь посылать — судом взыщу, потому — законом обязан ты жену содержать, да и подпись твоя на это у меня имеется.

Что делать? Одному домой ехать барин поопасался: на смех, дескать, поднимут, — он и остался в немецкой земле. Долгонько там жил, всю заводскую выручку немцам просаживал. Потом, видно, начетисто показалось али другая какая причина вышла, привез-таки свою жену в Сысерть и говорит:

— Сиди тут.

Ну, ей тоскливо, она и вытворяла, что только удумает. На Азов-горе вон теперь дом с вышкой стоит, а до него там, сказывают, и не разберешь, что было нагорожено: не то монастырь, не то мельница. И называлась эта строянка Раззор. Этот Раззор при той заграничной барыне и поставлен был. Приедут будто туда с целой оравой да и гарцуют недели две. Народу от этой барской гулянки не сладко приходилось. То овечек да телят затравят, то кострами палы по лесу пустят. Им забава, а народу маета. За счастье считали, коли в какое лето барыня в наши края не приедет.

Ераску, понятно, до этого дела нет, ему бы свою выгоду не упустить, он и послал грамотку с нарочным. И не ошибся, подлая душа. На другой же день на семи ли, восьми тройках приехала барыня со своей оравой и первым делом потребовала к себе Ераска.

— Показывай, какое зеркало нашел!

Приказчик, смотритель и другое начальство прибежали. Узнали дело, отговаривают: никак невозможно женщине в шахту. Только сговорить не могут. Заладила свое:

— Пойду и пойду.

Тут еще баринок из заграничных бодрится. При ней был. За брата или там за какую родню выдавала и завсегда с собой возила. Этот с грехом пополам балакает:

— Мы, дескать, с ней в заграничной шахте бывали, а это что!

Делать нечего, стали их спускать. Начальство все в беспокойстве, один Ераско радуется, рысит перед барыней, в две блёндочки ей светит. Довел-таки до места. Оглядела барыня

зеркало. Тоже посмеялась с заграничным баринком, какими оно людей показывает, потом барыня и говорит Ераску:

— Ты мне это зеркало целиком вырежь да в Раззор доставь!

Ераско давай ей втолковывать, что сделать это никак нельзя, а барыня свое:

— Хочу, чтоб это зеркало у меня стояло, потому как я хозяйка этой горы!

Только проговорила, вдруг из зеркала рудой плюнуло. Барыня завизжала и без памяти повалилась.

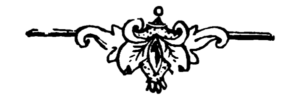
Суматоха поднялась. Начальство подхватило барыню да поскорее к выходу. Один Ераско в забое остался. Его, видишь, тем плевком с ног сбило и до половины мелкой рудой засыпало. Вытащить его вытащили, да только ноги ему по-настоящему отшибло, больше не поспешал и народ зря не полошил.

Заграничная барыня жива осталась, только с той поры все дураков рожала. И не то что недоумков каких, а полных дураков, кои ложку в ухо несут, и никак их ничему не научишь.

Заграничному баринку, который хвалился: мы да мы, самый наконешничок носу сшибло. Как ножом срезало, ноздри на волю глядеть стали — не задавайся, не мыкай до времени!

А зеркала в горе не стало: все осыпалось.

Зато у Таютки зеркальце сохранилось. Большого счастья оно не принесло, а все-таки свою жизнь она не хуже других прожила. Зеркальце-то, сказывают, своей внучке передала. И сейчас будто оно хранится, только неизвестно — у кого.



КОШАЧЬИ УШИ

В те годы Верхнего да Ильинского в помине не было. Только наша Полевая да Сысерть. Ну, в Северной тоже железком побрякивали. Так, самую малость. Сысерть-то светлее всех жила. Она, вишь, на дороге пришлась в казачью сторону. Народ туда-сюда проходил да проезжал. Сами на пристань под Ревду с железом ездили. Мало ли в дороге с кем встретишься, чего наслушаешься. И деревень кругом много.

У нас в Полевой против сысертского-то житья вовсе глухо было. Железа в ту пору мало делали, больше медь плавили. А ее караваном к пристани-то возили. Не так вольготно было народу в дороге с тем, с другим поговорить, спросить. Под караулом-то попробуй! И деревень в нашей стороне — один Косой Брод. Кругом лес, да горы, да болота. Прямо

сказать,— в яме наши старики сидели, ничего не видели. Барину, понятное дело, того и надо. Спокойно тут, а в Сысерти поглядывать приходилось.

Туда он и перебрался. Сысерть главный у него завод стал. Нашим старикам только стражи прибавил да настрого наказал прислужникам:

— Глядите, чтобы народ со стороны не шлялся, и своих покрепче держите.

А какой тут пришлый народ, коли вовсе на устороньe * наш завод стоит. В Сысерть дорогу прорубили, конечно, только она в те годы, сказывают, шибко худая была. По болотам пришлась. Слани * верстами. Заневолю брюхо заболит, коли по жерднику протрясет. Да и мало тогда ездили по этой дороге. Не то, что в нонешнее время — взад да вперед. Только барские прислужники да стража и ездили. Эти верхами больше,— им и горюшка мало, что дорога худая. Сам барин в Полевую только на полозу ездил. Как санная дорога установится, он и давай наверстывать, что летом пропустил. И все норовил нежданно-негаданно налететь. Уедет, примерно, вечером, а к обеду на другой день уж опять в Полевой. Видно, подловить-то ему кого-нибудь охота была. Так все и знали, что зимой барина на каждый час жди. Зато по колесной дороге вовсе не ездил. Не любо ему по сланям-то трястись, а верхом, видно, неспособно. В годах, сказывают, был. Какой уж верховой! Народу до зимы-то и полегче было. Сколь ведь приказчик ни лютует, а барин приедет — еще вину выищет.

Только вот приехал барин по самой осенней распутице. Приехал не к заводу либо к руднику, как ему привычно было, а к приказчику. Из конторы сейчас же туда всех приказных потребовал и попов тоже. До вечера приказные пробыли, а на другой день барин уехал в Северну. Оттуда в тот же день в город поволокся. По самой-то грязи приспичило ему. И обережных с ним что-то вовсе много. В народе и пошел разговор: «Что за штука? Как бы дознаться?»

По теперешним временам это просто — взял да сбегал либо съездил в Сысерть, а при крепости как? Заделье надо

найти, да и то не отпустят. И тайком тоже не уйдешь,— все люди на счету, в руке зажаты. Ну, все ж таки выискался один парень.

— Я,— говорит,— вечером в субботу, как из горы поднимут, в Сысерть убегу, а в воскресенье вечером прибегу. Знакомцы там у меня. Живо все разузнаю.

Ушел да и не воротился. Мало погодя приказчику сказали, а он и ухом не повел искать парня-то. Тут и вовсе любопытно стало,— что творится? Еще двое ушли и тоже с концом. В заводе только то и нового, что по три раза на дню стала стража по домам ходить, мужиков считать,— все ли дома. В лес кому понадобится за дровами либо за сеном на покос,— тоже спросись. Отпускать стали грудками и со стражей.

— Нельзя,— говорит приказчик,— поодиночке-то. Вон уж трое сбежали.

И семейным в лес ходу не стало. На дорогах заставы приказчик поставил. А стража у него на подбор — ни от одного толку не добьешься. Тут уж, как в рот положено стало, что в Сысертской стороне что-то деется, и шибко им — барским-то приставникам — не по ноздре. Зашептались люди в заводе и на руднике.

— Что хочешь, а узнать надо.

Одна девчонка из руднишных и говорит:

— Давайте, дяденька, я схожу. Баб-то ведь не считают по домам. К нам вон с бабушкой вовсе не заходят. Знают, что в нашей избе мужика нет. Может, и в Сысерти эдак же. Способнее мне узнать-то.

Девчонка бойконькая... Ну, руднишная, бывалая... Все-таки мужикам это не в обычае.

— Как ты,— говорят,— птаха Дуняха, одна по лесу сорок верст пройдешь? Осень ведь — волков полно. Костей не оставят.

— В воскресенье днем,— говорит,— убегу. Днем-то, поди, не посмеют волки на дорогу выбежать. Ну, и топор на случай возьму.

— В Сысерти-то,— спрашивают,— знаешь кого?

— Баб-то,— отвечает,— мало ли. Через них и узнаю, что надо.

Иные из мужиков сомневаются:

— Что баба знает?

— То,— отвечает,— и знает, что мужику ведомо, а когда и больше.

Поспорили маленько мужики, потом и говорят:

— Верно, птаха Дуняха, тебе сподручнее идти, да только стыд нам одну девку на экое дело послать. Загрызут тебя волки.

Тут парень и подбежал. Узнал, о чем разговор, да и говорит:

— Я с ней пойду.

Дуняха скраснела маленько, а отпираться не стала.

— Вдвоем-то, конечно, веселее, да только как бы тебя в Сысерти не поймали.

— Не поймают,— отвечает.

Вот и ушла Дуняха с тем парнем. Из завода не по дороге, конечно, выбрались, а задворками, потом тоже лесом шли, чтобы их с дороги не видно было. Дошли так спокойно до Косого Броду. Глядят — на мосту трое стоят. По всему видать — караул. Чусовая еще не замерзла, и вплавь ее где-нибудь повыше либо пониже тоже не возьмешь — холодно. Поглядела из лесочка Дуняха и говорит:

— Нет, видно, мил дружок Матюша, не приводится тебе со мной идти. Зря тут себя загубишь и меня подведешь. Ступай-ка скорее домой, пока тебя начальство не хватилось, а я одна попытаюсь на женскую хитрость пройти.

Матюха, конечно, ее уговаривать стал, а она на своем уперлась. Поспорили да на том и решили. Будет он из лесочка глядеть. Коли не остановят ее на мосту — домой пойдет, а остановят — выбежит, отбивать станет. Подобралась тут Дуняха поближе, спрятала покрепче топор да и выбежала из лесу. Прямо на мужиков бежит, а сама визжит-кричит:

— Ой, дяденьки, волк! Ой, волк!

Мужики видят — женщина испугалась,— смеются. Один-то ногу еще ей подставил, только, видать, Дуняха в оба глядела, пролетела мимо, а сама все кричит:

— Ой, волк! Ой, волк!

Мужики ей вдогонку:

— За подол схватил! За подол схватил! Беги — не стой!

Поглядел Матюха и говорит:

— Пролетела птаха! Вот девка! Сама не пропадет и дружка не подведет! Дальше-то влеготку * пройдет сторонкой. Как бы только не припозднилась, волков не дождалась.

Воротился Матвей домой до обхода. Все у него и обошлось гладко — не заметили. На другой день руднишным рассказал. Тогда и поняли, что тех — первых-то — в Косом Броду захватили.

— Там, поди, сидят запертые да еще в цепях. То приказчик их и не ищет — знает, видно, где они. Как бы туда же наша птаха не попалась, как обратно пойдет!

Поговорили так, разошлись. А Дуняха что? Спокойно сторонкой по лесу до Сысерти дошла. Раз только и видела на дороге полевских стражников. Домой из Сысерти ехали. Прихоронилась она, а как разминовались, опять пошла. Притомилась, конечно, а на свету еще успела до Сысерти добраться. На дороге тоже стража оказалась, да только обойти-то ее тут вовсе просто было. Свернула в лес и вышла на огороды, а там близко колодец оказался. Тут женщины были, Дуняху и незаметно на людях стало. Одна старушка спросила ее:

— Ты чья же, девушка, будешь? Ровно не из нашего конца?

Дуняха и доверилась этой старушке.

— Полевская,— говорит.

Старушка дивится:

— Как ты это прошла? Стража ведь везде наставлена. Мужики не могут к вашим-то попасть. Который уйдет — того и потеряют.

Дуняха ей сказала.

Тогда старушка и говорит:

— Пойдем-ко, девонька, ко мне. Одна живу. Ко мне и с обыском не ходят. А прийдут — так скажешься моей зареченской внучкой. Походит она на тебя. Только ты будто покорпуснее * будешь. Зовут-то как?

— Дуняхой,— говорит.

— Вот и ладно. Мою-то тоже Дуней звать.

У этой старушки Дуняха и узнала все. Барин, оказывается, куда-то вовсе далеко убежал, а нарочные от него и к нему каждую неделю ездят.

Все какие-то наставления барин посылает, и приказчик Ванька Шварев те наставления народу вычитывает. Железный завод вовсе прикрыт, а мужики на Щелкунской дороге канавы глубоченные копают да валы насыпают. Ждут с той стороны прихода. Говорят — башкирцы бунтуются, а на деле вовсе не то. По дальним заводам, по деревням и в казаках народ поднялся, и башкиры с ними же. Заводчиков да бар за горло берут, и главный начальник у народа Омельян Иваныч прозывается. Кто говорит — он царь, кто — из простых людей, только народу от него воля, а заводчикам да барам — смерть! То наш-то хитряга и убежал подальше. Испугался!

Узнала, что в Сысерти тоже обход по домам и работам мужиков проверяет по три раза в день. Только у них еще ровно строже. Чуть кого не случится, сейчас всех семейных в цепи да и в каталажку. Человек прибежит:

— Тут я,— по работе опоздал маленько!

А ему отвечают:

— Вперед не опаздывай! — да и держит семейных-то дня два либо три.

Вовсе замордовали народ, а приказчик хуже цепной собаки.

Все ж таки, как вечерний обход прошел, сбежались к той старушке мужики. Давай Дуняху расспрашивать, что да как у них. Рассказала Дуняха.

— А мы,— говорят,— сколько человек к вашим отправляли — ни один не воротился.

— То же,— отвечает,— и у нас. Кто ушел — того и потеряли! Видно, на Чусовой их всех перехватывают.

Поговорили-поговорили, потом стали о том думать, как Дуняхе в Полевую воротиться. Наверняка ее в Косом Броду поджидают, а как мимо пройдешь?

Один тут и говорит:

— Через Терсутско болото бы да на Гальян. Ладно бы вышло, да мест этих она не знает, а проводить некому...

— Неуж у нас смелых девок не найдется? — говорит тут хозяйка.— Тоже, поди-ко, их не пересчитывают по домам, и на Терсутском за клюквой многие бывали. Проводят! Ты только дальше-то расскажи ей дорогу, чтоб не заблудилась да не опоздала. А то волкам на добычу угодит.

Ну, тот и рассказал про дорогу. Сначала, дескать, по Терсутскому болоту, потом по речке Мочаловке на болото Гальян, а оно к самой Чусовой подходит. Место тут узкое. Переберется как-нибудь, а дальше полевские рудники пойдут.

— Если,— говорит,— случится опоздниться, тут опаски меньше. По тем местам от Гальяна до самой Думной горы земляная кошка * похаживает. Нашему брату она не вредная, а волки ее побаиваются, если уши покажет. Не шибко к тем местам льнут. Только на это тоже не надейся, побойче беги, чтобы засветло к заводу добраться. Может, про кошку-то — разговор пустой. Кто ее видал?

Нашлись, конечно, смелые девки. Взялись проводить до Мочаловки. Утром еще потемну за завод прокрались мимо охраны.

— Не сожрут нас волки кучей-то. Побоятся, поди. Пораньше домой воротимся, и ей — гостье-то нашей — так лучше будет.

Идет эта девичья команда, разговаривает так-то. Мало погодя и песенки запели. Дорога бывалая, хаживали на Терсутско за клюквой — что им не петь-то?

Дошли до Мочаловки, прощаться с Дуняхой стали. Время еще не позднее. День солнечный выдался. Вовсе ладно. Тот мужик-от говорил, что от Мочаловки через Гальян не больше пятнадцати верст до Полевой. Дойдет засветло, и волков никаких нет. Зря боялись.

Простились. Пошла Дуняха одна. Сразу хуже стало. Места незнакомые, лес страшенный. Хоть не боязливая, а запооглядывалась. Ну, и сбилась маленько.

Пока путалась да направлялась,— глядишь,— и к потемкам дело подошло. Во всех сторонах заповывали. Много ведь в те годы волков-то по нашим местам было. Теперь вон по осеням под самым заводом воют, а тогда их было — сила! Видит Дуняха — плохо дело. Столько узнала, и даже весточки не донесет! И жизнь свою молодую тоже жалко. Про парня того — про Матвея-то — вспомнила. А волки вовсе близко. Что делать? Бежать — сразу налетят, в клочья разорвут. На сосну залезть — все едино дождутся, пока не свалишься.

По уклону, видит, к Чусовой болото спускаться стало. Так мужик-то объяснил. Вот и думает: «Хоть бы до Чусовой добраться!»

Идет потихоньку, а волки по пятам. Да и много их. Топор, конечно, в руке, да что в нем!

Только вдруг два синеньких огня вспыхнуло. Ни дать ни взять — кошачьи уши. Снизу пошире, кверху на нет сошли. Впереди от Дуняхи шагов, поди, до полсотни.

Дуняха раздумывать не стала, откуда огни,— сразу к ним кинулась. Знала, что волки огня боятся.

Подбежала — точно, два огня горят, а между ними горка маленькая, вроде кошачьей головы. Дуняха тут и остановилась, меж тех огней. Видит — волки поотстали, а огни все больше да больше и горка будто выше. Дивится Дуняха, как они горят, коли дров никаких не видно. Насмелилась, протянула руку, а жару не чует. Дуняха еще поближе руку подвела. Огонь метнулся в сторону, как кошка ухом тряхнула, и опять ровно горит.

Дуняхе маленько боязно стало, только не на волков же бежать. Стоит меж огнями, а они еще кверху подались. Вовсе

большие стали. Подняла Дуняха камешок с земли. Серой он пахнет. Тут она и вспомнила про земляную кошку, про которую мужик сысертский сказывал. Дуняха и раньше слышала, что по пескам, где медь с золотыми крапинками, живет кошка с огненными ушами. Уши люди много раз видали, а кошку никому не доводилось. Под землей она ходит.

Стоит Дуняха промеж тех кошачьих ушей и думает: «Как дальше-то? Волки отбежали, да на долго ли? Только отойди от огней — опять набегут. Тут стоять холодно, до утра не выдюжить».

Только подумала,— огни и пропали. Осталась Дуняха в потемках. Оглянулась — нет ли опять волков? Нет, не видно. Только куда идти в потемках-то? А тут опять впереди огоньки вспыхнули. Дуняха на них и побежала. Бежит, бежит, а догнать не может. Так и добежала до Чусовой-реки, а уши уж на том берегу горят.

Ледок, конечно, тоненький, ненадежный, да разбирать не станешь. Свалила две жердинки легоньких, с ними и стала перебираться. Переползла с грехом пополам, ни разу не провалилась, хоть шибко потрескивало. Жердинки-то ей пособили.

Стоять не стала. Побежала за кошачьими ушами. Пригляделась все-таки к месту,— узнала. Песошное это. Рудник был. Случалось ей тут на работе бывать. Дорогу одна бы ночью нашла, а все за ушами бежит. Сама думает: «Уж если они меня из такой беды вызволили, так неуж неладно заведут?»

Подумала, а огни и выметнуло. Ярко загорели. Так и переливаются. Будто знак подают: «Так, девушка, так! Хорошо рассудила!»

Вывели кошачьи уши Дуняху на Поваренский рудник, а он у самой Думной горы. Вон в том месте был. Прямо сказать, в заводе.

Время ночное. Пошла Дуняха к своей избушке, с опаской, конечно, пробирается. Чуть где люди,— прихоронится: то за воротный столб притаится, а то и через огород махнет. Подобралась так к избушке и слышит — разговаривают.

Послушала она, поняла — караулят кого-то. А ее и ка-

раулили. Старуху баушку приказчик велел в ее избушке за постоянным караулом держать. «Сюда,— думает,— Дуняха явится, коли ей обратно прокрасться посчастливит». Сам этот караул проверял, чтобы ни днем, ни ночью не отходили.

Дуняха этого не поняла. Только слышит — чужой кто-то у баушки сидит. Побоялась показаться. А сама замерзла, невтерпеж прямо. Вот она и прокралась проулком к тому парню-то, Матвею, с которым до Косого Броду шла. Стукнула тихонько в окошко, а сама притаилась. Тот выбежал за ворота:

— Кто?

Ну, она и сказалась. Обрадовался парень.

— Иди,— говорит,— скорее в баню. Топлена она. Там тебя и прихороню, а завтра понадежнее место найдем.

Запер Дуняху в теплой бане, сам побежал надежным людям сказать:

— Воротилась Дуняха, прилетела птаха.

Живо сбежались, расспрашивать стали. Дуняха все им рассказала. В конце и про кошачьи уши помянула:

— Кабы не они, сожрали бы меня волки.

Мужики это мимо пропустили. Притомилась, думают, наша птаха, вот и помстилось * ей.

— Давай-ко,— говорят,— поешь да ложись спать! Мы покараулим тебя до утра и то обмозгуем, куда лучше запрятать.

Дуне того и надо. В тепле-то ее разморило, еле сидит.

Поела маленько да и уснула. Матюха да еще человек пять парней на карауле остались. Только время ночное, тихое, а Дуняха вон какие вести принесла. Парни, видно, и запоговаривали громко. Ну, и другие люди, которые слушать приходили, тоже не утерпели: тому-другому сказать, посоветовать, что делать. Однем словом, беспокойство пошло. Обходчики и заметили. Сразу проверку давай делать. Того нет, другого нет, а у Матвея пятеро чужих оказалось.

— Зачем пришли?

Те отговариваются, конечно, кому что на ум пришло. Не поверили обходчики, обыскивать кинулись. Парням делать

нечего — за колья взялись. Обходчики, конечно, оборуженные, только в потемках колом-то способнее. Парни и ухайдакали их. Только на место тех обходчиков другие набежали. Втрое либо вчетверо больше. Парням, значит, поворот вышел. Одного застрелили обходчики, а другие отбиваются все ж таки.

Дуняха давно соскочила. Выбежала из бани, глядит — над Думной горой два страшенных синих огня поднялись, ровно кошка за горой притаилась, уши выставила. Вот-вот на завод кинется. Дуняха и кричит:

— Наши огни-то! Руднишные! На их, ребята, правьтесь!

И сама туда побежала. В заводе сполох поднялся. На колокольне в набат ударили. Народ повыскакивал. Думают — за горой пожар. Побежали туда. Кто поближе подбежит, тот и остановится. Боятся этих огней. Одна Дуняха прямо на них летит. Добежала, остановилась меж огнями и кричит:

— Хватай барских-то! Прошло их время! По другим заводам давно таких-то кончили!

Тут обходчикам и всяким стражникам туго пришлось. Известно, народ грудкой собрался. Стража побежала — кто куда. Только далеко ли от народа уйдешь? Многих похватали, а приказчик угнал-таки по городской дороге. Упустили — оплошка вышла. Кто в цепях сидел, тех высвободили, конечно. Тут огни и погасли.

На другой день весь народ на Думной горе собрался. Дуняха и обсказала, что в Сысерти слышала. Тут иные, из стариков больше, сумлеваться стали:

— Кто его знает, что еще выйдет! Зря ты нас вечор обнадежила.

Другие опять за Дуняху горой:

— Правильная девка! Так и надо! Чего еще ждать-то? Надо самим к людям податься, у коих этот Омельян Иванович объявился.

Которые опять кричат:

— В Косой Брод сбегать надо. Там, поди, наши-то сидят. Забыли их?

Ватажка парней сейчас и побежала. Сбили там стражу, вызволили своих да еще человек пять сысертских. Ну, и народ в Косом Броду весь подняли. Рассказали им, что у людей делается.

Прибежали парни домой, а на Думной горе всё еще спорят. Старики без молодых-то вовсе силу забрали, запугали народ. Только и твердят:

— Ладно ли мы вечор наделали, стражников насмерть побили?

Молодые кричат:

— Так им и надо!

Сидельцы тюремные из Косого-то Броду на этой же стороне, конечно. Говорят старикам:

— Коли вы испугались, так тут и оставайтесь, а мы пойдем свою правильную долю добывать.

На этом и разошлись. Старики, на свою беду, остались, да и других под кнут подвели. Вскорости приказчик с солдатами из города пришел, из Сысерти тоже стражи нагнали. Живо зажали народ. Хуже старого приказчик лютовать стал, да скоро осекся. Видно, прослышал что неладное для себя. Стал стариков тех, кои с пути народ сбили, задабривать всяко. Только у тех спины-то не зажили, помнят, что оплошку сделали. Приказчик видит, косо поглядывают,— сбежал ведь! Так его с той поры в наших заводах и не видали. Крепко, видно, запрятался, а может, и попал в руки добрым людям — свернули башку.

А молодые тогда с Думной-то горы в леса ушли. Матвей у них вожаком стал.

И птаха Дуняха с ним улетела.

Про эту пташку удалую много еще сказывали, да я не помню...

Одно в памяти засело — про Дуняхину плетку.

Дуняха, сказывают, в наших местах жила и после того, как Омельяна Иваныча бары сбили и казнить увезли. Заводское начальство сильно охотилось поймать Дуняху, да все не выходило это дело. А она нет-нет и объявится в открытую где-нибудь на дороге либо на руднике каком. И всегда, понимаешь, на соловеньком * коньке, а конек такой, что его не догонишь. Налетит этак нежданно-негаданно, отвозит кого ей надо башкирской камчой — и нет ее. Начальство переполошится, опять примутся искать Дуняху, а она, глядишь, в другом месте объявится и там какого-нибудь рудничного начальника плеткой уму-разуму учит, как, значит, с народом обходиться. Иного до того огладит, что долго встать не может.

Камчой с лошади, известно, не то что человека свалить, волка насмерть забить можно, если кто умеет, конечно. Дуняха, видать, понавыкла камчой орудовать, надолго свои памятки оставила. И все, сказывают, по делу. А пуще всего тем рудничным доставалось, кои молоденьких девчонок утесняли. Этих вовсе не щадила.

На рудниках таким, случалось, грозили:

— Гляди, как бы тебя Дуняха камчой не погладила.

Стреляли, конечно, в Дуняху не один раз, да она, видно, на это счастливая уродилась, а в народе еще сказывали, будто перед стрелком кошачьи уши огнями замелькают и Дуняхи не видно станет.

Сколько в тех словах правды, про то никто не скажет, потому — сам не видал, а стрелку как поверить?

Всякому, поди-ко, не мило, коли он пульку в белый свет выпустит. Всегда какую-нибудь отговорку на этот случай придумает. Против, дескать, солнышка пришлось, мошка в глаз попала, потемнение в глазах случилось, комар в нос забился и в причинную жилку как раз на ту пору уколол. Ну, мало ли как еще говорят. Может, какой стрелок и приплел огненные уши, чтоб свою неустойку прикрыть. Все-таки не столь стыдно. С этих слов, видно, разговор и пошел.

А то, может, и впрямь Дуняха счастливая на пулю была. Тоже ведь недаром старики говорят:

— Смелому случится на горке стоять, пули мимо летят, боязливый в кустах захоронится, а пуля его найдет.

Так и не могло заводское начальство от Дуняхиной плетки свою спину наверняка отгородить. Сам барин, сказывают, боялся, как бы Дуняха где его не огрела. Только она тоже не без смекалки орудовала.

Зачем она с одной плеткой кинется, коли при барине завсегда обережных сила и каждый оборужен.

ПРО ВЕЛИКОГО ПОЛОЗА

Жил в заводе мужик один. Левонтьем его звали. Старательный такой мужичок, безответный. Смолоду его в горé держали, на Гумешках то есть. Медь добывал. Так под землей все молодые годы и провел. Как червяк в земле копался. Свету не видел, позеленел весь. Ну, дело известное, — гора. Сырость, потемки, дух тяжелый. Ослаб человек. Приказчик видит — мало от его толку, и удобрился перевести Левонтия на другую работу — на Поскакуху отправил, на казенный прииск золотой. Стал, значит, Левонтий на прииске робить. Только это мало делу помогло. Шибко уж он нездоровый стал. Приказчик поглядел-поглядел да и говорит:

— Вот что, Левонтий, старательный ты мужик, говорил я о тебе барину, а он и придумал наградить тебя. Пускай,

говорит, на себя старается. Отпустить его на вольные работы, без оброку.

Это в ту пору так делывали. Изробится человек, никуда его не надо, ну, и отпустят на вольную работу.

Вот и остался Левонтий на вольных работах. Ну, пить-есть надо, да и семья того требует, чтобы где-нибудь кусок добыть. А чем добудешь, коли у тебя ни хозяйства, ничего такого нет. Подумал-подумал, пошел стараться, золото добывать. Привычное дело с землей-то, струмент тоже не ахти какой надо. Расстарался, добыл и говорит ребятишкам:

— Ну, ребятушки, пойдем, видно, со мной золото добывать. Может, на ваше ребячье счастье и расстараемся, проживем без милостины.

А ребятишки у него вовсе еще маленькие были. Чуть побольше десятка годов им.

Вот и пошли наши вольные старатели. Отец еле ноги передвигает, а ребятишки — мал мала меньше — за ним поспешают.

Тогда, слышь-ко, по Рябиновке верховое золото сильно попадать стало. Вот туда и Левонтий заявку сделал. В конторе тогда на этот счет просто было. Только скажи да золото сдавай. Ну конечно, и мошенство было. Как без этого. Замечали конторски, куда народ бросается, и за сдачей следили. Увидят — ладно пошло, сейчас то место под свою лапу. Сами, говорят, тут добывать будем, а вы ступайте куда в другое место. Заместо разведки старатели-то у них были. Те, конечно, опять свою выгоду соблюдали. Старались золото не оказывать. В контору сдавали только, чтобы сдачу отметить, а сами все больше тайным купцам * стуряли *. Много их было, этих купцов-то. До того, слышь-ко, исхитрились, что никакая стража их уличить не могла. Так, значит, и катался обман-от шариком. Контора старателей обвести хотела, а те опять ее. Вот какие порядки были. Про золото стороной дознаться только можно было.

Левонтию, однако, не потаили — сказали честь честью. Видят, какой уж он добытчик. Пускай хоть перед смертью потешится.

Пришел это Левонтий на Рябиновку, облюбовал место и начал работать. Только силы у него мало. Живо намахался, еле жив сидит, отдышаться не может. Ну, а ребятишки, какие они работники? Все ж таки стараются. Поробили так-то с неделю либо больше, видит Левонтий — пустяк дело, на хлеб не сходится. Как быть? А самому все хуже да хуже. Исчах совсем, но неохота по миру идти и на ребятишек сумки надевать *. Пошел в субботу сдать в контору золотишко, какое намыл, а ребятам сказал:

— Вы тут побудьте, струмент покараульте, а то таскать-то взад-вперед ни к чему нам.

Остались, значит, ребята караульщиками у шалашика. Сбегал один на Чусову-реку. Близко она тут. Порыбачил маленько. Надергал пескозобишков *, окунишков, и давай они ушку себе гоношить *. Костер запалили, а дело к вечеру. Боязно ребятам стало.

Только видят — идет старик, заводской же. Семенычем его звали, а как по фамилии — не упомню. Старик этот из солдат был. Раньше-то, сказывают, самолучшим кричным * мастером значился, да согрубил что-то приказчику, тот его и велел в пожарную отправить — пороть, значит. А этот Семеныч не стал даваться, рожи которым покорябал, как он сильно проворный был. Известно, кричный мастер. Ну, все ж таки обломали. Пожарники-то тогда здоровущие подбирались. Выпороли, значит, Семеныча и за буйство в солдаты сдали. Через двадцать пять годов он и пришел в завод-от вовсе стариком, а домашние у него за это время все примерли, избушка заколочена стояла. Хотели уж ее разбирать. Шибко некорыстна была. Тут он и объявился. Подправил свою избушку и живет потихоньку, один-одинешенек. Только стали соседи замечать — неспроста дело. Книжки какие-то у него. И каждый вечер он над ними сидит. Думали,— может, умеет людей лечить. Стали с этим подбегать. Отказал. «Не знаю,— говорит,— этого дела. И какое тут может леченье быть, коли такая ваша работа». Думали,— может, веры какой особой. Также не видно. В церкву ходит о пасхе да о рождестве, как обыкновенно мужики, а приверженности не оказывает. И тому опять дивятся — работы нет, а чем-то

живет. Огородишко, конечно, у него был. Ружьишко немудрящее имел, рыболовную снасть тоже. Только разве этим проживешь? А деньжонки, промежду прочим, у него были. Бывало, кое-кому и давал. И чудно этак. Иной просит-просит, заклад дает, набавку, какую хошь, обещает, а не даст. К другому сам придет:

— Возьми-ка, Иван или там Михайло, на корову. Ребятишки у тебя маленькие, а подняться, видать, не можешь.— Однем словом, чудной старик. Чертознаем его считали. Это больше за книжки-то.

Вот подошел этот Семеныч, поздоровался. Ребята радехоньки, зовут его к себе:

— Садись, дедушко, похлебай ушки с нами.

Он не посупорствовал, сел. Попробовал ушки и давай похваливать — до чего навариста да скусна. Сам из сумы хлебушка мяконького достал, ломоточками порушал и перед ребятами грудкой положил. Те видят — старику ушка поглянулась, давай уплетать хлебушко-от, а Семеныч одно свое — ушку нахваливает, давно, дескать, так-то не едал. Ребята под этот разговор и наелись как следует. Чуть не весь стариков хлеб съели. А тот, знай, похмыкивает:

— Давно так-то не едал.

Ну, наелись ребята, старик и стал их спрашивать про их дела. Ребята обсказали ему все по порядку, как отцу от заводской работы отказали и на волю перевели, как они тут работали. Семеныч только головой покачивает да повздыхивает: охо-хо да охо-хо. Под конец спросил:

— Сколь намыли?

Ребята говорят:

— Золотник, а может, поболе,— так тятенька сказывал.

Старик встал и говорит:

— Ну ладно, ребята, надо вам помогчи. Только вы уж помалкивайте. Чтоб ни-ни. Ни одной душе живой, а то...— И Семеныч так на ребят поглядел, что им страшно стало. Ровно вовсе не Семеныч это. Потом опять усмехнулся и говорит:

— Вот что, ребята, вы тут сидите у костерка и меня дожидайтесь, а я схожу — покучусь* кому надо. Может, он

вам поможет. Только, чур, не бояться, а то все дело пропадет. Помните это хорошенько.

И ушел старик в лес, а ребята остались. Друг на друга поглядывают и ничего не говорят. Потом старший насмелился и говорит тихонько:

— Смотри, братко, не забудь, чтобы не бояться,— а у самого губы побелели и зубы чакают.

Младший на это отвечает:

— Я, братко, не боюсь,— а сам помучнел весь.

Вот сидят так-то, дожидаются, а ночь уж совсем, и тихо в лесу стало. Слышно, как вода в Рябиновке шумит. Прошло довольно дивно времечка, а никого нет, у ребят испуг отбежал. Навалили они в костер хвои, еще веселее стало. Вдруг слышат — в лесу разговаривают. Ну, думают, какие-то идут. Откуда в экое время? Опять страшно стало.

И вот подходят к огню двое. Один-то Семеныч, а другой с ним незнакомый какой-то и одет не по-нашенски. Кафтан это на ём, штаны — все желтое, из золотой, слышь-ко, поповской парчи, а поверх кафтана широкий пояс с узорами и кистями, также из парчи, только с зеленью. Шапка желтая, а справа и слева красные зазорины, и сапожки тоже красные. Лицо желтое, в окладистой бороде, а борода вся в тугие кольца завилась. Так и видно, не разогнешь их. Только глаза зеленые и светят, как у кошки. А смотрят по-хорошему, ласково. Мужик такого же росту, как Семеныч, и не толстый, а видать, грузный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась. Ребятам все это занятно, они и бояться забыли, смотрят на того человека, а он и говорит Семенычу шуткой так:

— Это вольны-то старатели? Что найдут, все заберут? Никому не оставят?

Потом прихмурился и говорит Семенычу, как советует с им:

— А не испортим мы с тобой этих ребятишек?

Семеныч стал сказывать, что ребята не балованные, хорошие, а тот опять свое:

— Все люди на одну колодку. Пока в нужде да в бедности, ровно бы и ничего, а как за мое охвостье поймаются, так откуда только на их всякой погани налипнет.

Постоял, помолчал и говорит:

— Ну ладно, попытаем. Малолетки, может, лучше окажутся. А так ребятки ладненьки, жалко будет, ежели испортим. Меньшенький-то вон тонкогубик. Как бы жадный не оказался. Ты уж понастуй * сам, Семеныч. Отец-то у них не жилец. Знаю я его. На ладан дышит, а тоже старается сам кусок заработать. Самостоятельный мужик. А вот дай ему богатство — тоже испортится.

Разговаривает так-то с Семенычем, будто ребят тут и нет. Потом посмотрел на них и говорит:

— Теперь, ребятушки, смотрите хорошенько. Замечайте, куда след пойдет. По этому следу сверху и копайте. Глубоко не лезьте, ни к чему это.

И вот видят ребята — человека того уж нет. Которое место до пояса — все это голова стала, а от пояса шея. Голова точь-в-точь такая, как была, только большая, глаза ровно по гусиному яйцу стали, а шея змеиная. И вот из-под земли стало выкатываться тулово * преогромного змея. Голова поднялась выше леса. Потом тулово выгнулось прямо на костер, вытянулось по земле, и поползло это чудо к Рябиновке, а из земли всё кольца выходят да выходят. Ровно им и конца нет. И то диво, костер-то потух, а на полянке светло стало. Только свет не такой, как от солнышка, а какой-то другой, и холодом потянуло. Дошел змей до Рябиновки и полез в воду, а вода сразу и замерзла по ту и по другую сторону. Змей перешел на другой берег, дотянулся до старой березы, которая тут стояла, и кричит:

— Заметили? Тут вот и копайте! Хватит вам по сиротскому делу. Чур, не жадничайте!

Сказал так-то и ровно растаял. Вода в Рябиновке опять

зашумела, и костерок оттаял и загорелся, только трава будто все еще озябла, как иней ее прихватил. Семеныч и объясняет ребятам:

— Это есть Великий Полоз. Все золото в его власти. Где он пройдет — туда оно и подбежит. А ходить он может и по земле и под землей, как ему надо, и места может окружить, сколько хочет. Оттого вот и бывает — найдут, например, люди хорошую жилку, и случится у них какой обман, либо драка, а то и смертоубийство, и жилка потеряется. Это, значит, Полоз побывал тут и отвел золото. А то вот еще... Найдут старатели хорошее, россыпное золото, ну, и питаются. А контора вдруг объявит — уходите, мол, за казну это место берем, сами добывать будем. Навезут это машин, народу нагонят, а золота-то и нету. И вглубь бьют и во все стороны лезут — нету, будто вовсе не бывало. Это Полоз окружил все то место да пролежал так-то ночку, золото и стянулось все по его-то кольцу. Попробуй найди, где он лежал.

Не любит, вишь, он, чтобы около золота обман да мошенство были, а пуще того, чтобы один человек другого утеснял. Ну, а если для себя стараются, тем ничего, поможет еще когда, вот как вам. Только вы смотрите, молчок про эти дела, а то все испортите. И о том старайтесь, чтобы золото не рвать. Не на то он вам его указал, чтобы жадничали. Слышали, что говорил-то? Это не забывайте первым делом. Ну, а теперь спать ступайте, а я посижу тут у костерка.

Ребята послушались, ушли в шалашик, и сразу на их сон навалился. Проснулись поздно. Другие старатели уж давно работают. Посмотрели ребята один на другого и спрашивают:

— Ты, братко, видел вчера что-нибудь?

Другой ему:

— А ты видел?

Договорились все ж таки. Заклялись, забожились, чтобы никому про то дело не сказывать и не жадничать, и стали место выбирать, где дудку * бить. Тут у них маленько спор вышел. Старший парнишечко говорит:

— Надо за Рябиновкой у березы начинать. На том самом месте, с коего Полоз последнее слово сказал.

Младший уговаривает:

— Не годится так-то, братко. Тайность живо наружу выскочит, потому — другие старатели сразу набегут полюбопытствовать, какой, дескать, песок пошел за Рябиновкой. Тут все и откроется.

Поспорили так-то, пожалели, что Семеныча нет, посоветовать не с кем, да угляделн — как раз по середке вчерашнего огневища воткнут березовый колышек. «Не иначе, это Семеныч нам знак оставил», — подумали ребята и стали на том месте копать.

И сразу, слышь-ко, две золотые жужелки * залетели, да и песок пошел не такой, как раньше. Совсем хорошо у них дело сперва направилось. Ну, потом свихнулось, конечно. Только это уж другой сказ будет.

ОГНЕВУШКА-ПОСКАКУШКА

Сидели раз старатели круг огонька в лесу. Четверо больших, а пятый парнишечко. Лет так восьми, не больше, Федюнькой его звали.

Давно всем спать пора, да разговор занятный пришелся. В артелке, видишь, один старик был. Дедко Ефим. С молодых годов он из земли золотую крупку выбирал. Мало ли каких случаев у него бывало. Он и рассказывал, а старатели слушали.

Отец уж сколько раз говорил Федюньке:

— Ложился бы ты, Тюньша, спать!

Парнишечку охота послушать.

— Погоди, тятенька! Я маленечко еще посижу.

Ну, вот.... Кончил дедко Ефим рассказ. На месте костерка одни угольки остались, а старатели всё сидят да на эти угольки глядят.

Вдруг из самой серединки вынырнула девчоночка махонька. Вроде кукленки, а живая. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек, тоже сголуба *.

Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. И так у ней легко да ловко выходит, что и сказать нельзя. У старателей дух захватило. Глядят — не наглядятся, а сами молчат, будто задумались.

Девчонка сперва по уголькам круги давала, потом,— видно, ей тесно стало,— пошире пошла. Старатели отодвигаются, дорогу дают, а девчонка как круг пройдет, так и подрастет маленько. Старатели дальше отодвинутся. Она еще круг даст и опять подрастет. Когда вовсе далеко отодвинулись, девчонка по промежуткам в охват людей пошла,— с петлями у ней круги стали. Потом и вовсе за людей вышла и опять ровненько закружилась, а сама уже ростом с Федюньку. У большой сосны остановилась, топнула ножкой, зубенками блеснула, платочком махнула, как свистнула:

— Фи-т-ть! й-ю-ю-у...

Тут филин заухал, захохотал, и никакой девчонки не стало.

Кабы одни большие сидели, так, может, ничего бы дальше и не случилось. Каждый, видишь, подумал:

«Вот до чего на огонь загляделся! В глазах зарябило... Неведомо что померещится с устатку-то!»

Один Федюнька этого не подумал и спрашивает у отца:

— Тятя, это кто?

Отец отвечает:

— Филин. Кому больше-то? Неуж не слыхал, как он ухает?

— Да не про филина я! Его-то, поди-ка, знаю и ни капельки не боюсь. Ты мне про девчонку скажи.

— Про какую девчонку?

— А вот которая на углях плясала. Еще ты и все отодвигались, как она широким кругом пошла.

Тут отец и другие старатели давай доспрашивать Федюньку, что он видел. Парнишечко рассказал. Один старатель еще спросил:

— Ну-ко, скажи, какого она росту была?

— Сперва-то не больше моей ладошки, а под конец чуть не с меня стала.

Старатель тогда и говорит:

— А ведь я, Тюньша, точь-в-точь такое же диво видел.

Федюнькин отец и еще один старатель это же сказали. Один дед Ефим трубочку сосет и помалкивает. Старатели приступать к нему стали:

— Ты, дедко Ефим, что скажешь?

— А то и скажу, что это же видел, да думал — померещилось мне, а выходит — и впрямь Огневушка-Поскакушка приходила.

— Какая Поскакушка?

Дедко Ефим тогда и объяснил:

— Слыхал, дескать, от стариков, что есть такой знак на золото — вроде маленькой девчонки, которая пляшет. Где такая Поскакушка покажется, там и золото. Не сильное золото, зато грудное, и не пластом лежит, а вроде редьки посажено. Сверху, значит, пошире круг, а дальше все меньше да меньше и на нет сойдет. Выроешь эту редьку золотого песку — и больше на том месте делать нечего. Только вот забыл, в котором месте ту редьку искать: то ли где Поскакушка вынырнет, то ли где она в землю уйдет.

Старатели и говорят:

— Это дело в наших руках. Завтра пробьем дудку сперва на месте костерка, а потом под сосной испробуем. Тогда и увидим, пустяшный твой разговор или всамделе что на пользу есть.

С этим и спать легли. Федюнька тоже калачиком свернулся, а сам думает:

«Над чем это филин хохотал?»

Хотел у дедка Ефима спросить, да он уже похрапывать принялся.

Проснулся Федюнька на другой день поздненько и видит — на вчерашнем огневище большая дудка вырыта, а старатели стоят у четырех больших сосен и все говорят одно:

— На этом самом месте в землю ушла.

Федюнька закричал:

— Что вы! Что вы, дяденьки! Забыли, видно! Вовсе Поскакушка под этой вот сосной остановилась... Тут и ножкой притопнула.

На старателей тут сомненье пришло.

Пятый пробудился — пятое место говорит. Был бы десятый — десятое бы указал. Пустое, видать, дело. Бросить надо.

Все ж таки на всех местах испытали, а удачи не вышло. Дедко Ефим и говорит Федюньке:

— Обманное, видно, твое счастье.

Федюньке это нелюбо показалось. Он и говорит:

— Это, дедо, филин помешал. Он наше счастье обухал да обхохотал.

Дед Ефим свое говорит:

— Филин тут — не причина.

— А вот и причина!

— Нет, не причина!

— А вот и причина!

Спорят так-то вовсе без толку, а другие старатели над ними да и над собой смеются:

— Старый да малый оба не знают, а мы, дураки, их слушаем да дни теряем.

С той вот поры старика и прозвали Ефим Золотая Редька, а Федюньку — Тюнькой Поскакушкой.

Ребятишки заводские узнали, проходу не дают. Как увидят на улице, так и заведут:

— Тюнька Поскакушка! Тюнька Поскакушка! Про девчонку скажи! Скажи про девчонку!

Старику от прозвища какая беда? Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну, а Федюньке по малолетству обидно показалось. Он и дрался, и ругался, и ревел не раз, а ребятишки пуще того дразнят. Хоть домой с прииска не ходи. Тут еще перемена жизни у Федюньки вышла. Отец-то у него на второй женился. Мачеха попалась, прямо сказать, медведица. Федюньку и вовсе от дома отшибло.

Дедко Ефим тоже не часто домой с прииска бегал. Намается за неделю, ему и неохота идти, старые ноги колотить. Да и не к кому было. Один жил.

Вот у них и повелось. Как суббота, старатели домой, а дедко Ефим с Федюнькой на прииске останутся.

Что делать-то? Разговаривают о том, о другом. Дедко Ефим рассказывал побывальщины разные, учил Федюньку, по каким логам золото искать и протча тако. Случалось, и про Поскакушку вспомнят. И все у них гладко да дружно. В одном сговориться не могут. Федюнька говорит, что филин всей неудаче причина, а дедко Ефим говорит — вовсе не причина.

Раз так-то заспорили. Дело еще на свету было, при солнышке. У балагана все-таки огонек был — от комаров курево. Огонь чуть видно, а дыму много. Глядят — в дыму-то появилась махонькая девчонка. Точь-в-точь такая же, как тот раз, только сарафанчик потемнее и платок тоже. Поглядела веселыми глазками, зубенками блеснула, платочком махнула, ножкой притопнула и давай плясать.

Сперва круги маленькие давала, потом больше да больше, и сама подрастать стала. Балаган на пути пришелся, только это ей не помеха. Идет, будто балагана и нет. Кружилась-кружилась, а как ростом с Федюньку стала, так и остановилась у большой сосны. Усмехнулась, ножкой притопнула, платочком махнула, как свистнула:

— Фи-т-ть! й-ю-ю-у...

И сейчас же филин заухал, захохотал. Дедко Ефим подивился:

— Откуда филину быть, коли солнышко еще не закатилось?

— Видишь вот! Опять филин наше счастье спугнул. Поскакушка-то, может, от этого филина и убежала.

— А ты разве видел Поскакушку?

— А ты разве не видел?

Начали они тут друг дружку расспрашивать, кто что видел. Все сошлось, только место, где девчонка в землю ушла, у разных сосен указывают.

Как до этого договорились, так дедко Ефим и вздохнул:

— О-хо-хо! Видно, нет ничего. Одна это наша думка.

Только сказал, а из-под дерна по балагану дым повалил.

Кинулись, а там жердник под деревом затлел. По счастью, вода близко была. Живо залили. Все в сохранности осталось. Одне дедовы рукавицы обгорели. Схватил Федюнька рукавицы и видит — дырки на них, как следочки от маленьких ног. Показал это чудо дедке Ефиму и спрашивает:

— Это, по-твоему, тоже думка?

Ну, Ефиму податься некуда, сознался:

— Правда твоя, Тюньша. Знак верный — Поскакушка была. Придется, видно, завтра опять ямы бить — счастье пытать.

В воскресенье и занялись этим с утра. Три ямы вырыли — ничего не нашли. Дедко Ефим жаловаться стал:

— Наше-то счастье — людям смех.

Федюнька опять вину на филина кладет:

— Это он, пучеглазик, наше счастье обухал да обхохотал. Вот бы его палкой!

В понедельник старатели прибежали из заводу. Видят — свежие ямы у самого балагана. Сразу догадались, в чем дело. Смеются над стариком-то:

— Редька редьку искал...

Потом увидели, что в балагане пожар начинался, давай их ругать обоих. Федюнькин отец зверем на парнишку накинулся, чуть не поколотил, да дедко Ефим застоял:

— Постыдился бы мальчонку строжить! Без того он у тебя боится домой ходить. Задразнили да загрызли парнишка. Да и какая его вина? Я, поди-ко, оставался — с меня и спрашивай, коли у тебя урон какой случился. Золу, видно, из трубки высыпал с огоньком — вот и загорелось. Моя оплошка — мой и ответ.

Отчитал так-то Федюнькиного отца, потом и говорит парнишку, как никого из больших близко не было.

— Эх, Тюньша, Тюньша! Смеется над нами Поскакушка. Другой раз случится увидеть, так ей в глаза надо плюнуть. Пускай людей с пути не сбивает да на смех не ставит!

Федюнька свое заладил:

— Дедо, она не со зла. Филин ей вредит.

— Твое дело,— говорит Ефим,— а только я больше ямы

бить не стану. Побаловался — и хватит. Немолодые мои годы — за Поскакушкой скакать.

Ну, разворчался старик, а Федюньке все Поскакушки жаль.

— Ты, дедо, не сердись на нее! Вон она какая веселая да хорошая. Счастье бы нам открыла, кабы не филин.

Про филина дедко Ефим промолчал, а на Поскакушку все ворчит:

— То-то она счастье тебе открыла! Хоть домой не ходи!

Сколько ни ворчит дедко Ефим, а Федюнька свое:

— А как она, дедо, ловко пляшет!

— Пляшет-то ловко, да нам от этого ни жарко ни холодно, и глядеть неохота.

— А я бы хоть сейчас поглядел! — вздохнул Федюнька. Потом и спрашивает: — А ты, дедо, отворотишься? И поглядеть тебе не любо?

— Как — не любо? — проговорился дедко, да спохватился и давай опять строжить Федюньку: — Ох и упорный ты парнишко! Ох и упорный! Что в головенку попало, то и засело! Будешь вот, что мое же дело, — всю жизнь мыкаться, за счастьем гоняться, а его, может, вовсе и нету.

— Как нету, коли я своими глазами видел.

— Ну, как знаешь, а я тебе не попутчик! Набегался. Ноги заболели.

Поспорили, а дружбу вести не перестали. Дедко Ефим по работе сноровлял Федюньке, показывал, а в свободный час о всяких случаях рассказывал. Учил, значит, как жить-то надо. И самые веселые у них те дни были, как они вдвоем на прииске оставались.

Зима загнала старателей по домам. Рассовал их приказчик до весны по работам куда пришлось, а Федюнька по малолетству дома остался. Только ему дома-то несладко. Тут еще новая беда пришла: отца на заводе покалечило. В больничную казарму его унесли. Ни жив ни мертв лежит. Мачеха и вовсе медведицей стала, — загрызла Федюньку. Терпел он, терпел да и говорит:

— Пойду, нето, я к дедку Ефиму жить.

А мачехе что?

— Провались ты,— кричит,— хоть к Поскакушке своей!

Надел тут Федюня пимишки, шубейку-ветродуйку покромкой покрепче затянул. Хотел отцовскую шапку надеть, да мачеха не дала. Натянул тогда свою, из которой давно вырос, и пошел.

На улице первым делом парнишки налетели, дразниться стали:

— Тюнька Поскакушка! Тюнька Поскакушка! Скажи про девчонку!

Федюня, знай, идет своей дорогой. Только и сказал:

— Эх, вы! Несмышленыши!

Ребятам что-то стыдно стало. Они уж вовсе по-доброму спрашивают:

— Ты куда это?

— К дедку Ефиму.

— К Золотой Редьке?

— Кому Редька — мне дедко.

— Далеко ведь! Еще заблудишься.

— Знаю, поди-ко, дорогу.

— Ну, замерзнешь. Вишь стужа какая, а у тебя и рукавиц нет.

— Рукавиц нет, да руки есть, и рукава не отпали. Засуну руки в рукава — только и дела. Не догадались!

Ребятам занятно показалось, как Федюнька разговаривает, они и стали спрашивать по-хорошему:

— Тюньша! Ты правда Поскакушку в огне видел?

— И в огне видел, и в дыму видел. Может, еще где увижу, да рассказывать недосуг,— сказал Федюнька да и зашагал дальше.

Дедко Ефим то ли в Косом Броду, то ли в Северной жил. На самом выезде, сказывают, избушка стояла. Еще перед окошком сосна бортевая * росла. Далеконько все ж таки, а время холодное — самая середина зимы. Подзамерз наш Федюнюшка. Ну, дошагал все ж таки. Только ему за дверную скобку взяться, вдруг слышит:

— Фи-т-ть! й-ю-ю-у...

Оглянулся — на дороге снежок крутится, а в нем чуть метлесит клубочек, и похож тот клубочек на Поскакушку.

Побежал Федюня поближе разглядеть, а клубочек уж далеко. Федюня за ним, он того дальше. Бежал-бежал за клубочком да и забрался в незнакомое место. Глядит — пустоплесье* какое-то, а кругом лес густой. Посередине пустоплесья береза старая, будто и вовсе не живая. Снегу около нее намело гора горой. Клубочек подкатился к этой березе да вокруг нее и кружится.

Федюнька в азарте-то не поглядел, что тут и тропочки нет, полез по цельному снегу.

«Сколько,— думает,— бежал, неуж спятиться!»

Добрался-таки до березы, а клубочек и рассыпался. Снеговой пылью Федюньке в глаза брызнул.

Чуть не заревел от обиды Федюнька. Вдруг у самой его ноги снег воронкой до земли протаял. Видит Федюнька — на дне-то воронки Поскакушка. Веселенько поглядела, усмехнулась ласково, платочком махнула и пошла плясать, а снег-то от нее бегом побежал. Где ей ножку поставить, там трава зеленая да цветы лесные.

Обошла круг — тепло Федюньке стало, а Поскакушка шире да шире круг берет, сама подрастает, и полянка в снегу все больше да больше. На березе уж листочки зашумели. Поскакушка того больше старается, припевать стала:

У меня тепло!
У меня светло!
Красно летичко!

А сама волчком да волчком — сарафанчик пузырем.

Когда ростом с Федюнькой выровнялась, полянка в снегу вовсе большая стала, а на березе птички запели. Жарынь, как в самый горячий день летом. У Федюньки с носу пот каплет. Шапчонку свою Федюнька давно снял, хотел и шубенку сбросить, Поскакушка и говорит:

— Ты, парень, побереги тепло-то! Лучше о том подумай, как назад выберешься!

Федюнька на это и отвечает:

— Сама завела — сама выведешь!

Девчонка смеется:

— Ловкий какой! А если мне недосуг?

Поскакушка шире да шире круг берет, сама подрастает, и полянка в снегу все больше да больше.

— Найдешь время! Я подожду!

Девчонка тогда и говорит:

— Возьми-ко лучше лопатку. Она тебя в снегу согреет и домой выведет.

Поглядел Федюнька — у березы лопатка старая валяется. Изоржавела вся, и черенок расколотый.

Взял Федюнька лопатку, а Поскакушка наказывает:

— Гляди из рук не выпусти! Крепче держи! Да дорогу-то примечай! Назад тебя лопата не поведет. А ведь придешь весной-то?

— А как же? Непременно прибежим с дедком Ефимом. Как весна — так мы и тут. Ты тоже приходи поплясать.

— Не время мне. Сам уж пляши, а дедко Ефим пусть притопывает!

— Какая у тебя работа?

— Не видишь? Зимой лето делаю да таких, как ты, работничков забавляю. Думаешь — легко?

Сама засмеялась, вертнулась волчком и платочком махнула, как свистнула:

— Фи-т-ть! й-ю-ю-у...

И девчонки нет, и полянки нет, и береза стоит голым-голешенька, как неживая. На вершине филин сидит. Кричать — не кричит, а башкой ворочает. Вокруг березы снегу намело гора горой. В снегу чуть не по горло провалился Федюнька и лопаткой на филина машет. От Поскакушкина лета только то и осталось, что черенок у Федюньки в руках вовсе теплый, даже горячий. А рукам тепло — и всему телу весело.

Потянула тут лопата Федюньку и сразу из снега выволокла. Сперва Федюнька чуть не выпустил лопату из рук, потом наловчился, и дело гладко пошло. Где пешком за лопатой идет, где волоком тащится. Забавно это Федюньке, а приметки ставить не забывает. Это ему тоже легонько далось. Чуть подумает засечку сделать, лопатка сейчас тюк-тюк — две ровнешеньких зарубочки готовы.

Привела лопатка Федюню к деду Ефиму затемно. Старик уж на печь полез. Обрадовался, конечно, стал спраши-

вать, как да что. Рассказал Федюнька деду про случай, а старик не верит. Тогда Федюнька и говорит:

— Посмотри вон лопатку-то! В сенках она поставлена.

Принес дедко Ефим лопатку да и углядел — по ржавчине-то золотые таракашки * посажены. Целых шесть штук.

Тут дедко поверил маленько и спрашивает:

— А место найдешь?

— Как,— отвечает,— не найти, коли дорога замечена.

На другой день дедко Ефим раздобыл лыжи у знакомого охотника.

Сходили честь честью. По зарубкам-то ловко до места добрались. Вовсе повеселел дедко Ефим. Сдал он золотых таракашков тайному купцу, и прожили ту зиму безбедно.

Как весна пришла, побежали к старой березе. Ну, и что? С первой лопатки такой песок пошел, что хоть не промывай, а прямо руками золотины выбирай. Дедко Ефим даже поплясал на радостях.

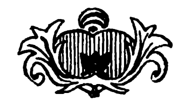
Прихранить богатство не сумели, конечно. Федюнька — малолеток, а Ефим хоть старик, а тоже простота.

Народ со всех сторон кинулся. Потом, понятно, всех согнали начисто, и барин за себя это место перевел. Недаром, видно, филин башкой-то ворочал.

Все-таки дедко Ефим с Федюнькой хлебнули маленько из первого ковшичка. Годов с пяток в достатке пожили. Вспоминали Поскакушку.

— Еще бы показалась разок!

Ну, не случилось больше. А прииск тот и посейчас зовется Поскакушкинский.



ГОЛУБАЯ ЗМЕЙКА

Росли в нашем заводе два парнишечка, по близкому соседству: Ланко Пужанко да Лейко Шапочка.

Кто и за что им такие прозвания придумал, это сказать не умею. Меж собой эти ребята дружно жили. Под стать подобрались. Умишком вровень, силенкой вровень, ростом и годами тоже. И в житье большой различки не было. У Ланка отец рудобоем был, у Лейка на золотых песках горевал, а матери, известно, по хозяйству мытарились. Ребятам и нечем было друг перед дружкой погордиться.

Одно у них не сходилось. Ланко свое прозвище за обиду считал, а Лейку лестно казалось, что его этак ласково зовут — Шапочка. Не раз у матери припрашивал:

— Ты бы, мамонька, сшила мне новую шапку! Слышишь,— люди меня Шапочкой зовут, а у меня тятин малахай, да и тот старый.

Дружбе ребячьей это не мешало. Лейко первый в драку лез, коли кто обзовет Ланка Пужанком.

— Какой он тебе Пужанко? Кого испугался?

Так вот и росли парнишечки рядком да ладком. Рассорки, понятно, случались, да ненадолго. Промигаться не успеют, опять вместе.

И то у ребят вровень пришлось, что оба последними в семьях росли. Повольготнее таким-то. С малыми не водиться. От снегу до снегу домой только поесть да поспать прибегут.

Мало ли в ту пору у ребят всякого дела: в бабки поиграть, в городки, шариком, порыбачить тоже, покупаться, за ягодами, за грибами сбегать, все горочки облазить, пенечки на одной ноге обскакать. Утянутся из дома с утра — ищи их! Только этих ребят не больно искали. Как вечером прибегут домой, так на них поварчивали:

— Пришел наше шатало! Корми-ко его!

Зимой по-другому приходилось. Зима, известно, всякому зверю хвост подожмет и людей не обойдет. Ланка с Лейком зима по избам загоняла. Одежонка, видишь, слабая, обувка жиденькая,— недалеко в них ускочишь. Только и хватало тепла из избы в избу перебежать.

Чтоб большим под руку не подвертываться, забьются оба на полати да там и посиживают. Двоим-то все-таки веселее. Когда и поиграют, когда про лето вспоминают, когда просто слушают, о чем большие говорят.

Вот раз сидят этак-то, а к Лейковой сестре Марьюшке подружки набежали. Время к Новому году подвигалось, а по девичьему обряду в ту пору про женихов ворожат. Девчонки и затеяли такую ворожбу. Ребятам любопытно поглядеть, да разве подступишься. Близко не пускают, а Марьюшка посвойски еще подзатыльников надавала.

— Уходи на свое место!

Она, видишь, эта Марьюшка, из сердитеньких была. Который год в невестах, а женихов не было. Девушка будто и вовсе хорошая, да маленько косоротенька. Изъян вроде и невелик, а парни все же браковали ее из-за этого. Ну, она и сердилась.

Забились ребята на полати, пыхтят да помалкивают, а девчонкам весело. Золу сеют, муку по столешнице* раскатывают, угли перекидывают, в воде брызгаются. Перемазались все, с визгом хохочут одна над другой, только Марьюшке не весело. Она, видно, изверилась во всякой ворожбе, говорит:

— Пустяк это. Одна забава.

Одна подружка на это и скажи:

— По-доброму-то ворожить боязно.

— А как? — спрашивает Марьюшка.

Подружка и рассказала:

— От бабушки слыхала, — самое правильное гадание будет такое. Надо вечером, как все уснут, свой гребешок на ниточке повесить на поветях*, а на другой день, когда еще никто не пробудился, снять этот гребешок, — тут все и увидишь.

Все любопытствуют — как? А девчонка объясняет:

— Коли в гребешке волос окажется — в тот год замуж выйдешь. Не окажется волоса — нет твоей судьбы. И про то догадаться можно, какой волосом муж будет.

Ланко с Лейком приметили этот разговор и то смекнули, что Марьюшка непременно так ворожить станет. А оба в обиде на нее за подзатыльники-то. Ребята и сговорились:

— Подожди! Мы тебе припомним!

Ланко в тот вечер домой ночевать не пошел, у Лейка на полатях остался. Лежат, будто похрапывают, а сами друг дружку кулачонками в бока подтыкают: гляди, не усни!

Как большие все уснули, ребята слышат — Марьюшка в сенки вышла. Ребята за ней и углядели, как она на повети залезала и в котором месте там возилась. Углядели и поскорее в избу. За ними следом Марьюшка прибежала. Дрожит, зубами чакает. То ли ей холодно, то ли боязно. Потом легла, поежилась маленько и, слышно стало, — уснула. Ребятам того и надо. Слезли с полатей, оделись, как пришлось, и тихонько вышли из избы. Что делать, об этом они уж сговорились.

У Лейка, видишь, мерин был, не то чалый, не то бурый, звали его Голубко. Ребята и придумали этого мерина Марьюшкиным гребешком вычесать. На поветях-то ночью боязно, только ребята один перед другим храбрятся. Нашли на поветях гребешок, начесали с Голубка шерсти и гребешок на место повесили. После этого в избу пробрались и крепко-накрепко заснули. Пробудились позднехонько. Из больших в избе одна Лейкова мать была — у печки топталась.

Пока ребята спали, тут вот что случилось. Марьюшка утром поднялась раньше всех и достала свой гребешок. Видит — волосу много. Обрадовалась — жених кудрявый будет. Побежала к подружкам похвастаться. Те глядят — что-то не вовсе ладно. Дивятся, какой волос чудной. Ни у одного знакомого парня такого не видывали. Потом одна разглядела в гребешке силышко * от конского хвоста. Подружки и давай хохотать над Марьюшкой.

— У тебя,— говорят,— женихом-то Голубко оказался.

Марьюшке это за большую обиду, она разругалась с подружками, а те, знай, хохочут. Кличку ей объявили: Голубкова невеста.

Прибежала Марьюшка домой, жалуется матери — вот какое горе приключилось, а ребята помнят вчерашние подзатыльники и с полатей поддразнивают:

— Голубкова невеста, Голубкова невеста!

Марьюшка тут вовсе разревелась, а мать смекнула, чьих это рук дело, закричала на ребят:

— Что вы, бесстыдники, наделали! Без того у нас девку женихи обходят, а вы ее на смех поставили.

Ребята поняли — вовсе не ладно вышло, давай перекоряться:

— Это ты придумал!

— Нет, ты!

Марьюшка из этих перекоров тоже поняла, что ребята ей такую штуку подстроили, кричит им:

— Чтоб вам самим голубая змейка привиделась!

Тут опять на Марьюшку мать напустилась:

— Замолчи, дура! Разве можно такое говорить? На весь дом беду накличешь!

Марьюшка в ответ на это свое говорит:

— Мне что до этого! Не глядела бы на белый свет!

Хлопнула дверью, выбежала в ограду и давай там снеговой лопатой Голубка гонять, будто он в чем провинился. Мать вышла, сперва пристрожила девку, потом в избу увела, уговаривать стала. Ребята видят — не до них тут, утянулись к Ланку. Забились там на полати и посиживают смирнехонько. Жалко им Марьюшку, а чем теперь поможешь? И голубая змейка в головенках застряла. Шепотом спрашивают один у другого:

— Лейко, ты не слыхал про голубую змейку?

— Нет, а ты?

— Тоже не слыхивал.

Шептали, шептали, решили у больших спросить, когда дело маленько призамнется. Так и сделали. Как Марьюшкина обида позабылась, ребята и давай разузнавать про голубую змейку. Кого ни спросят, те отмахиваются — не знаю, да еще грозятся:

— Возьму вот прут да отвожу обоих! Забудете о таком спрашивать!

Ребятам от этого еще любопытнее стало: что за змейка такая, про которую и спрашивать нельзя?

Нашли-таки случай. По праздничному делу у Ланка отец пришел домой порядком выпивши и сел у избушки на завалинке. А ребята знали, что он в такое время поговорить больно охоч. Ланко и подкатился:

— Тятя, ты видал голубую змейку?

Отец, хотя сильно выпивши был, даже отшатнулся, потрезвел и заклятье сделал:

— Чур, чур, чур! Не слушай, наша избушка-хороминка! Не тут слово сказано!

Пристрожил ребят, чтоб напредки такого не говорили, а сам все-таки выпивши, поговорить-то ему охота. Посидел так, помолчал, потом и говорит:

— Пойдемте на бережок. Там свободнее про всякое сказывать.

Пришли на бережок, закурил Ланков отец трубку, оглянулся на все стороны и говорит:

— Так и быть, скажу вам, а то еще беды наделаете своими разговорами. Вот слушайте!

Есть в наших краях маленькая голубенькая змейка. Ростом не больше четверти, и до того легонькая, будто в ней вовсе никакого весу нет. По траве идет, так ни одна былинка не погнется. Змейка эта не ползает, как другие, а свернется колечком, головенку выставит, а хвостиком упирается и подскакивает, да так бойко, что не догонишь ее. Когда она этак-то бежит, вправо от нее золотая струя сыплется, а влево черная-пречерная.

Одному увидеть голубую змейку прямое счастье: наверняка верховое золото окажется, где золотая струя прошла. И много его. Поверху большими кусками лежит. Только оно тоже с подводом. Если лишку захватишь да хоть капельку сбросишь, все в простой камень повернется. Второй раз тоже не придешь, потому место сразу забудешь.

Ну, а когда змейка двоим-троим либо целой артелке покажется, тогда вовсе черная беда. Все перессорятся и такими ненавистниками друг дружке станут, что до смертоубийства дело дойдет. У меня отец на каторгу ушел из-за этой голубой змейки. Сидели как-то артелью и разговаривали, а она и покажись. Тут у них и пошла неразбериха. Двоих насмерть в драке убили, остальных пятерых на каторгу угнали. И золота никакого не оказалось. Потому вот про голубую змейку и не говорят: боятся, как бы она не показалась при двоих либо троих. А показаться она везде может: в лесу и в поле, в избе и на улице. Да еще сказывают, будто голубая змейка иной раз человеком прикидывается, только узнать ее все-таки можно. Как идет, так даже на самом мелком песке следов не оставляет. Трава и та под ней не гнется. Это первая примета, а вторая такая: из правого рукава золотая струя бежит, из левого — черная пыль сыплется.

Наговорил этак-то Ланков отец и наказывает ребятам:

— Смотрите, никому об этом не говорите и вдвоем про голубую змейку вовсе даже не поминайте. Когда в одиночку

случится быть и кругом людей не видно, тогда хоть криком кричи.

— А как ее звать? — спрашивают ребята.

— Этого, — отвечает, — не знаю. А если бы знал, тоже бы не сказал, потому опасное это дело.

На том разговор и кончился. Ланков отец еще раз настрого наказал ребятам помалкивать и вдвоем про голубую змейку даже не поминать.

Ребята сперва сторожились, один другому напоминал:

— Ты гляди, про эту штуку не говори и не думай, как со мной вместе. В одиночку надо.

Только как быть, когда Лейко с Ланком всегда вместе и голубая змейка ни у того, ни у другого с ума не идет? Время к теплу подвинулось. Ручейки побежали. Первая весенняя забава около живой воды повозиться: лодочки пускать, запруды строить, меленки водой крутить. Улица, по которой ребята жили, крутиком к пруду спускалась. Весенние ручейки тут скоро сбежали, а ребята в эту игру не наигрались. Что делать? Они взяли по лопатке да и побежали за завод. Там, дескать, из лесу еще долго ручейки бежать будут, на любом поиграть можно. Так оно и было. Выбрали ребята подходящее место и давай запруду делать, да поспорили, кто лучше умеет. Решили на деле проверить: каждому в одиночку плотинку сделать. Вот и разошлись по ручью-то. Лейко пониже, Ланко повыше шагов, поди, на полсотни. Сперва перекликались:

— У меня, смотри-ко!

— А у меня! Хоть завод строй!

Ну, все-таки работа. Оба крепко занялись, помалкивают, стараются, как лучше сделать. У Лейка привычка была что-нибудь припевать за работой. Он и подбирает разные слова, чтобы всклад вышло:

Эй-ка, эй-ка,
Голубая змейка!
Объявись, покажись!
Колеском покрутись!

Только пропел, видит — на него с горки голубенькое колеско катится. До того легонькое, что сухие былинки и те

под ним не сгибаются. Как ближе подкатилось, Лейко разглядел: это змейка колечком свернулась, головенку вперед уставила да на хвостике и подскакивает. От змейки в одну сторону золотые искры летят, в другую черные струйки брызжут. Глядит на это Лейко, а Ланко ему кричит:

— Лейко, гляди-ко, вон она — голубая змейка!

Оказалось, что Ланко это же самое видел, только змейка к нему из-под горки поднималась. Как Ланко закричал, так голубая змейка и потерялась куда-то. Сбежались ребята, рассказывают друг другу, хвалятся:

— Я и глазки разглядел!

— А я хвостик видел. Она им упрется и подскочит.

— Думаешь, я не видел? Из колечка-то чуть высунулся.

Лейко, как он все-таки поживее был, побежал к своему прудику за лопаткой.

— Сейчас, — кричит, — золота добудем!

Прибежал с лопаткой и только хотел ковырнуть землю с той стороны, где золотая струя прошла, Ланко на него налетел:

— Что ты делаешь! Загубишь себя! Тут, поди-ко, черная беда рассыпана!

Подбежал к Лейку и давай его отталкивать. Тот свое кричит, упирается. Ну, и раздрались ребята. Ланку с горки сподручнее, он и оттолкал Лейка подальше, а сам кричит:

— Не допущу в том месте рыться! Себя загубишь. Надо с другой стороны.

Тут опять Лейко набросился:

— Никогда этого не будет! Загинешь там. Сам видел, как в ту сторону черная пыль сыпалась.

Так вот и дрались. Один другого остерегает, а сами тумаки дают. До реву дрались. Потом разбираться стали, да и поняли, в чем штука: видели змейку с разных сторон, потому правая с левой и не сходятся. Подивились ребята.

— Как она нам головы закружила! Обоим навстречу по-

казалась. Насмеялась над нами, до драки довела, а к месту и не подступишься. В другой раз, не прогневайся, не позовем. Умеем, а не позовем!

Решили так, а сами только о том и думают, чтобы еще раз поглядеть на голубую змейку. У каждого на уме и то было: не попытать ли в одиночку. Ну, боязно, да и перед дружком как-то нескладно. Недели две, а то и больше все-таки о голубой змейке не разговаривали. Лейко начал:

— А что, если нам еще раз голубую змейку позвать? Только чтоб с одной стороны глядеть.

Ланко добавил:

— И чтоб не драться, а сперва разобрать, нет ли тут обмана какого!

Сговорились так, захватили из дома по кусочку хлеба да по лопатке и пошли на старое место. Весна в том году дружная стояла. Прошлогоднюю ветошь всю зеленой травой закрыло. Весенние ручейки давно пересохли. Цветов много появилось. Пришли ребята к старым своим запрудам, остановились у Лейкиной и начали припевать:

Эй-ка, эй-ка,
Голубая змейка!
Объявись, покажись!
Колеском покрутись!

Стоят, конечно, плечо в плечо, как уговорились. Оба босиком по теплому времени. Не успели кончить припевку, от Ланковой запруды показалась голубая змейка. По молодой-то траве скоренько поскакивает. Направо от нее густое облачко золотой искры, налево — такое же густое — черной пыли. Катит змейка прямо на ребят. Они уже разбегаться хотели, да Лейко смекнул, ухватил Ланка за пояс, поставил перед собой и шепчет:

— Негоже на черной стороне оставаться!

Змейка все же их перехитрила,— меж ног у ребят прокатила. У каждого одна штанина золоченой оказалась, другая как дегтем вымазана. Ребята этого не заметили, смотрят, что дальше будет. Голубая змейка докатила до большого пня и тут куда-то подевалась. Подбежали, видят: пень с одной

стороны золотой стал, а с другой черным-чернехонек и тоже твердый, как камень. Около пня дорожка из камней: направо желтые, налево черные.

Ребята, конечно, не знали вескости золотых камней. Ланко сгоряча ухватил один и чует — ой, тяжело, не донести такой, а бросить боится. Помнит, что отец говорил: сбросишь хоть капельку, все в простой камень перекинется. Он и кричит Лейку:

— Поменьше выбирай, поменьше! Этот тяжелый!

Лейко послушался, взял поменьше, а он тоже тяжелым показался. Тут он понял, что у Ланка камень вовсе не под силу, и говорит:

— Брось, а то надорвешься!

Ланко отвечает:

— Если брошу, все в простой камень обернется.

— Брось, говорю! — кричит Лейко, а Ланко упирается: нельзя.

Ну, опять дракой кончилось. Подрались, наревелись, подошли еще раз посмотреть на пенек да на каменную дорожку, а ничего не оказалось. Пень как пень, а никаких камней, ни золотых, ни простых, вовсе нет. Ребята и судят:

— Обман один эта змейка. Никогда больше думать о ней не будем.

Пришли домой, там им за штаны попало. Матери отмутузили того и другого, а сами дивятся:

— Как-то им пособит и вымазаться на один лад! Одна штанина в глине, другая — в дегтю! Ухитриться тоже надо!

Ребята после этого вовсе на голубую змейку сердились:

— Не будем о ней говорить!

И слово свое твердо держали! Ни разу с той поры у них и разговору о голубой змейке не было. Даже в то место, где ее видели, ходить перестали.

Раз ребята ходили за ягодами. Набрали по полной корзиночке, вышли на покосное место и сели тут отдохнуть. Сидят в густой траве, разговаривают, у кого больше набрано да у кого ягода крупнее. Ни тот, ни другой о голубой змей-

ке и не подумал. Только видят — прямо к ним через покосную лужайку идет женщина. Ребята сперва этого в примету не взяли. Мало ли женщин в лесу в эту пору: кто за ягодами, кто по покосным делам. Одно показалось им непривычным: идет, как плывет, совсем легко. Поближе подходить стала, ребята разглядели — ни один цветок, ни одна травинка под ней не согнутся. И то углядели, что с правой стороны от нее золотое облачко колышется, а с левой — черное. Ребята и уговорились:

— Отвернемся. Не будем смотреть! А то опять до драки доведет.

Так и сделали. Повернулись спинами к женщине, сидят и глаза зажмурили. Вдруг их подняло. Открыли глаза, видят — сидят на том же месте, только примятая трава поднялась, а кругом два широких обруча, один золотой, другой чернокаменный. Видно, женщина обошла их кругом да из рукавов и насыпала. Ребята кинулись бежать, да золотой обруч не пускает: как перешагивать — он поднимется, и поднырнуть тоже не дает. Женщина смеется:

— Из моих кругов никто не выйдет, если сама не уберу.

Тут Лейко с Ланком взмолились:

— Тетенька, мы тебя не звали.

— А я, — отвечает, — сама пришла поглядеть на охотников добыть золото без работы.

Ребята просят:

— Отпусти, тетенька, мы больше не будем. И без того два раза подрались из-за тебя!

— Не всякая, — гово-

рит,— драка человеку в покор, за иную и наградить можно. Вы по-хорошему дрались. Не из-за корысти либо жадности, а друг дружку охраняли. Недаром золотым обручем от черной беды вас отгородила. Хочу еще испытать.

Насыпала из правого рукава золотого песку, из левого черной пыли, смешала на ладони, и стала у нее плитка черно-золотого камня. Женщина эту плитку прочертила ногтем, и она распалась на две ровнешенькие половинки. Женщина подала половинки ребятам и говорит:

— Коли который хорошее другому задумает, у того плиточка золотой станет, коли — пустяк, выйдет бросовый камешок.

У ребят давно на совести лежало, что они Марьюшку сильно обидели. Она хоть с той поры ничего им не говаривала, а ребята видели: стала она вовсе невеселая. Теперь ребята про это и вспомнили, и каждый пожелал:

— Хоть бы поскорее прозвище Голубкова невеста забылось и вышла бы Марьюшка замуж!

Пожелали так, и плиточки у обоих стали золотые. Женщина улыбнулась:

— Хорошо подумали. Вот вам за это награда.

И подает им по маленькому кожаному кошельку с ременной завязкой.

— Тут,— говорит,— золотой песок. Если большие станут спрашивать, где взяли, скажите прямо: «Голубая змейка да-

ла, да больше ходить за этим не велела». Не посмеют дальше разузнавать.

Поставила женщина обручи на ребро, облокотилась на золотой правой рукой, на черный — левой и покатила по покосной лужайке. Ребята глядят — не женщина это, а голубая змейка, и обручи в пыль перешли. Правый — в золотую, левый — в черную.

Постояли ребята, запрятали свои золотые плиточки да кошелечки по карманам и пошли домой. Только Ланко промолвил:

— Не жирно все-таки отвалила нам золотого песку.

Лейко на это и говорит:

— Столько, видно, заслужили.

Дорогой Лейко чует — сильно потяжелело у него в кармане. Еле вытащил свой кошелек,— до того он вырос. Спрашивает у Ланка:

— У тебя тоже кошелек вырос?

— Нет,— отвечает,— такой же, как был.

Лейку неловко показалось перед дружком, что песку у них не поровну, он и говорит:

— Давай отсыплю тебе.

— Ну что ж,— отвечает,— отсыпь, если не жалко.

Сели ребята близ дороги, развязали свои кошельки, хотели выровнять, да не вышло. Возьмет Лейко из своего кошелька горсточку золотого песка, а он в черную пыль перекинется. Ланко тогда и говорит:

— Может, все-то опять обман.

Взял щепотку из своего кошелечка. Песок как песок, настоящий золотой. Высыпал щепотку Лейку в кошелек — перемены не вышло. Тогда Ланко и понял: обделила его голубая змейка за то, что пожадничал на даровщину. Сказал об этом Лейку, и кошелек на глазах стал прибывать. Домой пришли оба с полнехонькими кошельками, отдали свой песок и золотые плиточки семейным и рассказали, как голубая змейка велела.

Все, понятно, радуются, а у Лейка в доме еще новость: к Марьюшке приехали сваты из другого села. Марьюшка веселехонька бегает, и рот у нее в полной исправе. От радо-

сти, что ли? Жених верно какой-то чубарый волосом, а парень веселый, к ребятам ласковый. Скоренько с ним сдружились.

Голубую змейку с той поры ребята никогда не вызывали. Поняли, что она сама наградой прикатит, если заслужишь, и оба удачливы в своих делах были. Видно, помнила их змейка и черный свой обруч от них золотым отделяла.

СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ

Жил в нашем заводе парень Илья. Вовсе бобылем остался — всю родню схоронил. И от всех ему наследство досталось.

От отца — руки да плечи, от матери — зубы да речи, от деда Игната — кайла да лопата, от бабки Лукерьи — особый поминок. Об этом и разговор сперва.

Она, видишь, эта бабка, хитрая была — по улицам перья собирала, подушку внучку готовила, да не успела. Как пришло время умирать, позвала бабка Лукерья внука и говорит:

— Гляди-ка, друг Илюшенька, сколь твоя бабка пера накопила! Чуть не полное решето! Да и перышки какие! Одно к одному — мелконькие да пестренькие, глядеть любо! Прими в поминок — пригодится!

Как женишься да принесет жена подушку, тебе и не зазорно будет: не в диковинку-де мне — свои перышки есть, еще от бабки остались.

Только ты за этим не гонись, за подушкой-то! Принесет — ладно, не принесет — не тужи. Ходи веселенько, работай крутенько, и на соломке не худо поспишь, сладкий сон увидишь. Как худых думок в голове держать не станешь, так и все у тебя ладно пойдет, гладко покатится. И белый день взвеселит, и темна ноченька приголубит, и красное солнышко обрадует. Ну, а худые думки заведешь, тут хоть в пень головой — все немило станет.

— Про какие,— спрашивает Илья,— ты, бабушка, худые думки сказываешь?

— А это,— отвечает,— про деньги да про богатство. Хуже их нету. Человеку от таких думок одно расстройство да маета напрасная. Чисто да по совести и пера на подушке не наскрести, не то что богатство получить.

— Как же тогда,— спрашивает Илья,— про земельное богатство понимать? Неуж ни за что считаешь? Бывает ведь...

— Бывать-то бывает, только ненадежно дело: комочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит. Про это и не думай, себя не беспокой! Из земельного богатства, сказывают, одно чисто да крепко. Это когда бабка Синюшка* красной девкой обернется да сама своими рученьками человеку подаст. А дает Синюшка богатство гораздому да удалому, да простой душе. Больше никому. Вот ты и попомни, друг Илюшенька, этот мой последний наказ.

Поклонился тут Илья бабке:

— Спасибо тебе, бабка Лукерья, за перья, а пуще всего за наставленье. Век его не забуду.

Вскорости умерла бабка... Остался Илюха один-одинешенек, сам большой, сам маленький. Тут, конечно, похоронные старушонки набежали, покойницу обмыть, обрядить, на погост проводить. Они — эти старушонки — тоже не от сладкого житья по покойникам бегают. Одно выпрашивают, другое выглядывают. Живо все бабкино обзаведенье по рукам расхватали. Воротился Илья с могильника, а в избе у него голым-голехонько. Только то и есть, что сам сейчас на спицу

повесил: зипун да шапка. Кто-то и бабкиным пером покорыстовался: начисто выгреб из решета. Только три перышка в решете зацепились. Одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое.

Пожалел Илья, что не уберег бабкин поминок.

«Надо,— думает,— хоть эти перышки к месту прибрать, а то нехорошо как-то. Бабка от всей души старалась, а мне будто и дела нет».

Подобрал с полу каку-то синюю ниточку, перевязал эти перышки натуго да и пристроил себе на шапку.

«Тут,— думает,— самое им место. Как надевать либо снимать шапку, так и вспомнишь бабкин наказ. А он, видать, для жизни полезный. Всегда его в памяти держать надо».

Надел потом шапку да зипун и пошел на прииск. Избушку свою и запирать не стал, потому в ней — ничем-ничего. Одно пустое решето, да и то с дороги никто не подберет.

Илья возрастной парень был, давно в женихах считался. На прииске-то он годов шесть либо семь робил. Тогда ведь, при крепости-то, с малолетства людей на работу загоняли. До женитьбы иной, глядишь, больше десятка годов уж на барина отхлещет. И этот Илья, прямо сказать, вырос на прииске.

Места тут он знал вдоль и поперек. Дорога на прииск не близкая. На Гремихе, сказывают, тогда добывали чуть не у Белого камня. Вот Илюха и придумал:

«Пойду-ко я через Зюзельско болотце. Вишь, жарынь какая стоит. Подсохло, поди, оно,— пустит перебраться. Глядишь, и выгадаю версты три, а то и все четыре...»

Сказано — сделано. Пошел Илья лесом напрямую, как по осеням с прииска и на прииск бегали. Сперва ходко шел, потом намаялся и с пути сбился. По кочкам-то ведь не по прямой дороге. Тебе надо туда, а кочки ведут вовсе не в ту сторону. Скакал-скакал, до поту наскакался. Ну, выбрался в какой-то ложок. Посредине место пониже. Тут трава растет — горчик да метлика. А с боков взгорочки, а на них сосна жаровая *. Вовсе, значит, сухое место пошло. Одно

плохо — не знает Илья, куда дальше идти. Сколько раз по этим местам бывал, а такого ложочка не видывал.

Вот Илья и пошел серединой, меж взгорочков-то. Шел-шел, видит — на полянке окошко круглое, а в нем вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой подернулась и посредине паучок сидит, тоже синий.

Илюха обрадовался воде, отпахнул рукой тенетку и хотел напиться. Тут у него голову и обнесло,— чуть в воду не сунулся и сразу спать захотел.

«Вишь,— думает,— как притомило меня болото. Отдохнуть, видно, надо часок».

Хотел на ноги подняться, а не может. Отполз все ж таки сажени две ко взгорочку, шапку под голову да и растянулся. Глядит,— а из того водяного окошка старушонка вышла. Ростом не больше трех четвертей. Платьишко на ней синее, платок на голове синий и сама вся синехонька, да такая тощая, что вот подует ветерок — и разнесет старушонку. Однако глаза у ней молодые, синие, да такие большие, будто им тут вовсе и не место.

Уставилась старушонка на парня и руки к нему протянула, а руки всё растут да растут. Того и гляди, до головы парню дотянутся. Руки ровно жиденькие, как туман синий, силы в них не видно, и когтей нет, а страшно. Хотел Илья подальше отползти, да силы вовсе не стало.

«Дай,— думает,— отвернусь,— все не так страшно».

Отвернулся да носом-то как раз в перышки и ткнулся. Тут на Илью почихота нашла. Чихал-чихал, кровь носом пошла, а все конца-краю нет. Только чует — голове-то много легче стало. Подхватил тут Илья шапку и на ноги поднялся. Видит — стоит старушонка на том же месте, от злости трясется. Руки у нее до ног Илье дотянулись, а выше-то от земли поднять их не может. Смекнул Илья, что у старухи оплошка вышла — сила не берет, прочихался, высморкался да и говорит с усмешкой:

— Что, взяла, старая? Не по тебе, видно, кусок!

Плюнул ей на руки-то да и пошел дальше. Старушонка тут и заговорила, да звонко так, вовсе по-молодому:

— Погоди, не радуйся! Другой раз придешь — головы не унесешь!

— А я и не приду,— отвечает Илья.

— Ага! Испугался, испугался! — зарадовалась старушонка.

Илюхе это за обиду показалось. Остановился он да и говорит:

— Коли на то пошло, так нарочно приду — воды из твоего колодца вычерпнуть.

Старушонка засмеялась и давай подзадоривать парня:

— Хвастун ты, хвастун! Говорил бы спасибо своей бабке Лукерье, что ноги унес, а он еще похваляется! Да не родился еще такой человек, чтоб из здешнего колодца воду добыть.

— А вот поглядим, родился ли, не родился,— отвечает Илья.

Старушонка, знай, свое твердит:

— Пустомеля ты, пустомеля! Тебе ли воду добыть, коли подойти боишься. Пустые твои слова! Разве других людей приведешь. Посмелее себя!

— Этого,— кричит Илья,— от меня не дождешься, чтоб я стал других людей тебе подводить. Слыхал, поди-ка, какая ты вредная и чем людей обманываешь.

Старушонка одно заладила:

— Не придешь, не придешь! Где тебе! Такому-то!

Тогда Илья и говорит:

— Ладно, нето. Как в воскресный день ветер хороший случится, так и жди в гости.

— Ветер тебе на что? — спрашивает старушонка.

— Там видно будет,— отвечает Илья.— Ты только плевок-от с руки смой. Не забудь, смотри!

— Тебе,— кричит старушонка,— не все равно, какой рукой тебя на дно потяну? Хоть ты, вижу, и гораздый, а все едино мой будешь. На ветер да бабкины перья не надейся! Не помогут!

Ну, поругались так-то. Пошел Илья дальше, сам дорогу примечает и про себя думает:

«Вот она какая, бабка Синюшка. Ровно еле живая, а глаза

Глядит, — а из того водяного окошка старушонка вышла.

девичьи, погибельные, и голос, как у молоденькой,— так и звенит. Поглядел бы, как она красной девкой оборачивается».

Про Синюшку Илья много слыхал. На прииске не раз об этом говаривали. Вот, дескать, по глухим болотным местам, а то и по старым шахтам набегали люди на Синюшку. Где она сидит, тут и богатство положено. Сживи Синюшку с места — и откроется полный колодец золота да дорогих каменьев. Тогда и греби, сколь рука взяла. Многие будто ходили искать, да либо ни с чем воротились, либо с концом загинули.

К вечеру выбрался Илюха на прииск. Смотритель приисковский напустился, конечно, на Илюху:

— Что долго?

Илья объяснил — так и так, бабку Лукерью хоронил. Смотрителю маленько стыдно стало, а все нашел придирку:

— Что это у тебя за перья на шапке? С какой радости нацепил?

— Это,— отвечает Илья,— бабкино наследство. Для памяти его тут пристроил.

Смотритель да и другие, кто близко случился, давай смеяться над таким наследством, а Илья говорит:

— Да, может, я эти перья на весь господский прииск не променяю. Потому — не простые они, а наговоренные. Белое вот — на веселый день, черное — на спокойную ночь, а рыженькое — на красное солнышко.

Шутит, конечно. Только тут парень был — Кузька Двоерылко. Он Илюхе-то ровесником приходился, в одном месяце именинниками были, а по всем статьям на Илюху не походил. Он, этот Двоерылко, вовсе со справного двора. По-доброму, такому парню и мимо прииска ходить не надо — полегче бы работа дома нашлась. Ну, Кузька давно около золота околачивался, свое смышлял,— не попадет ли штучка хорошая, а унести ее сумею. И верно, насчет того, чтобы чужое в свой карман прибрать, Двоерылко мастак был. Чуть кто недоглядел,— Двоерылко уже унес, и найти не могут. Однем словом, ворина. По этому ремеслу у него и заметка была. Его, вишь, один старатель лопаткой черканул.

Скользом пришлось, а все же зарубка на память осталась — нос да губы пополам развалило. По этой приметке Кузьку и величали Двоерылком.

Этот Кузька крепко завидовал Илюхе. Тот, видишь, парень ядреный да могутный, крутой да веселый,— работа у него и шла податно. Кончил работу — поел да песню запел, а то и в пляс пошел. На артелке ведь и это бывает. Против такого парня где же равняться Двоерылому, коли у него ни силы, ни охоты, да и на уме вовсе другое. Только Кузька по-своему об этом понимал:

«Не иначе, знает Илюшка какую-то словинку,— то он и удачливый, и по работе ему устатка нет».

Как про перышки-то Илья сказал, Кузька и смекнул про себя: «Вот она — Илюшкина словинка».

Ну, известно, в ту же ночь и украл эти перышки.

На другой день хватился Илья — где перышки? Думает, обронил. Давай искать по прииску-то. Над Ильей подсмеиваться стали:

— Ты в уме ли, парень! Столько ног тут топчется, а ты какие-то махонькие перышки ищешь! В пыль, поди, их стоптали. Да и на что они тебе?

— Как,— отвечает,— на что, коли это бабкина памятка?

— Памятку,— говорят,— надо в крепком месте либо в голове держать, а не на шапке таскать.

Илья и думает — правду говорят,— и перестал те перышки искать. Того ему и на мысли не пало, что они худыми руками взяты.

У Кузьки своя забота — за Илюхой доглядывать, как у него теперь дело пойдет, без бабкиных перышек. Вот и узрил, что Илья ковш старательский взял да к лесу пошел. Двоерылко за Ильей — думает, не смывку ли где наладил. Ну, никакой смывки не оказалось, а стал Илья тот ковш на жердинку насаживать. Сажени четыре жердинка. Вовсе для смывки несподручно. К чему бы это? Еще пуще Кузька насторожился.

Дело-то к осени пошло, крепко подувать стало. В субботу, как рабочих с прииска домой отпускали, Илья тоже домой запросился. Смотритель сперва покочевряжился — ты,

дескать, недавно ходил, да и незачем тебе — семейства нет, а хозяйство свое — перышки-то — на прииске потерял. Ну, отпустил. А Кузька разве такой случай пропустит? Он спозаранку к тому месту пробрался, где ковш на жердинке припрятан был. Долго Кузьке ждать-то пришлось, да ведь воровская сноровка известна. Не нами сказано — вор собаку переждет, не то что хозяина. На утре подошел Илья, достал ковш да и говорит:

— Эх, перышек-то нету! А ветер добрый. С утра так свистит,— к полдню вовсе разгуляется.

Впрямь, ветер такой, что в лесу стон стоит. Пошел Илья по своим приметкам, а Двоерылко за ним крадется да радуется:

«Вот они, перышки-то! К богатству, знать-то, дорожку кажут!»

Долгонько пришлось Илье по приметам-то пробираться, а ветер все тише да тише. Как на ложок выйти, так и вовсе тихо стало,— ни одна веточка не пошевельнется. Глядит Илья — старушонка у колодца стоит, дожидается и звонко так кричит:

— Вояка пришел! Бабкины перья потерял и на ветре прогадал. Что теперь делать-то станешь? Беги-ко домой да ветра жди! Может, и дождешься!

Сама в сторонке стоит, к Илье рук не тянет, а над колодцем туман, как шапка синяя, густым-густехонько. Илья разбежался да со взгорочка ковшом-то на жердинке прямо в ту синюю шапку и сунул да еще кричит:

— Ну-ко, ты, убогая, поберегись! Не зашибить бы ненароком.

Зачерпнул из колодца и чует — тяжело. Еле выволок. Старушонка смеется, молодые зубы кажет.

— Погляжу я, погляжу, как ты ковш до себя дотянешь. Много ли моей водицы испить доведется!

Задорит, значит, парня. Илья видит — верно, тяжело,— вовсе озлился.

— Пей,— кричит,— сама!

Усилился, поднял маленько ковшик да и норовит опрокинуть на старушонку. Та отодвинулась. Илья за ней. Она

дальше. Тут жердинка и переломилась и вода разлилась. Старушонка опять смеется:

— Ты бы ковшик-то на бревно насадил... Надежнее бы!

Илья в ответ грозится:

— Погоди, убогая! Искупаю еще!

Тут старушонка и говорит:

— Ну ладно. Побаловали — и хватит. Вижу, что ты парень гораздый да удалый. Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь. Всяких богатств тебе покажу. Бери, сколько унесешь. Если меня сверху не случится, скажись: «Без ковша пришел»,— и все тебе будет.

— Мне,— отвечает Илья,— и на то охота поглядеть, как ты красной девкой оборачиваешься.

— По делу видно будет,— усмехнулась старушонка, опять молодые зубы показала.

Двоерылко все это до капельки видел и до слова слышал.

«Надо,— думает,— поскорее на прииск бежать да кошели наготовлять. Как бы только Илюшка меня не опередил!»

Убежал Двоерылко. А Илья взгорочком к дому пошел. Перебрался по кочкам через болотце, домой пришел, а там одна новость — бабкиного решета не стало.

Подивился Илья — кому такое понадобилось? Сходил к своим заводским дружкам, поговорил с тем, с другим и обратно на прииск пошел, только не через болото, а дорогой, как все ходили.

Прошло так дней пяток, а случай тот у Илюхи из головы не выходит — на работе помнится и сну мешать стал. Нет-нет и увидит он те синие глаза, а то и голос звонкий услышит:

«Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь».

Вот Илюха и порешил:

«Схожу. Погляжу хоть, какое богатство бывает. Может, и сама она мне красной девкой покажется».

В ту пору как раз молодой месяц народился, ночи посветлее стали. Вдруг на прииске разговор — Двоерылко потерялся. Сбегали на завод — нету. Смотритель велел по лесу искать — тоже не оказалось. И то сказать, искали — не над-

сажались. Всяк про себя думал: «От того убытку нет, коли вор потерялся». На том и кончилось.

Как месяц на полный кружок обозначился, Илюха и пошел. Добрался до места. Глядит — никого нет. Илья все же со взгорочка не спустился и тихонько молвил:

— Без ковша пришел.

Только сказал, сейчас старушонка объявилась и ласково говорит:

— Милости просим, гостенек дорогой! Давно поджидаю. Подходи да бери, сколько унесешь.

Сама руками-то как крышку над колодцем подняла, а там и открылось богатства всякого. Доверху набито. Илье любопытно на такое богатство поглядеть, а со взгорочка не спускается. Старушонка поторапливать стала:

— Ну, чего стоишь? Бери, говорю, сколько в кошель уйдет.

— Кошеля-то,— отвечает,— у меня нету, да и от бабки Лукерьи я другое слыхал. Будто только то богатство чисто да крепко, какое ты сама человеку подашь.

— Вишь ты, привередник какой! Ему еще подноси! Ну, будь по-твоему!

Как сказала это старушонка, так из колодца синий столб выметнуло. И выходит из этого столба девица-красавица, как царица снаряжена, а ростом до половины доброй сосны. В руках у этой девицы золотой поднос, а на нем груда всякого богатства. Песок золотой, каменья дорогие, самородки чуть не по ковриге. Подходит эта девица к Илюхе и с поклоном подает ему поднос:

— Прими-ко, молодец!

Илья на прииске вырос, в золотовеске тоже бывал, знал, как его — золото-то — весят. Посмотрел на поднос и говорит старушонке:

— Для смеху это придумано. Ни одному человеку не в силу столько поднять.

— Не возьмешь? — спрашивает старушонка.

— И не подумаю,— отвечает Илья.

— Ну, будь по-твоему! Другой подарок дам,— говорит старушонка.

И сейчас же той девицы — с золотым-то подносом — не стало. Из колодца опять синий столб выметнуло. Вышла другая девица. Ростом поменьше. Тоже красавица и наряжена по-купецки. В руках у этой девицы серебряный поднос, на нем груда богатства. Илья и от этого подноса отказался, говорит старушонке:

— Не в силу человеку столько поднять, да и не своими руками ты подаешь.

Тут старушонка вовсе по девичьи рассмеялась.

— Ладно, будь по-твоему! Тебя и себя потешу. Потом, чур, не жалеть. Ну, жди.

Сказала, и сразу не стало ни той девицы с серебряным подносом, ни самой старушонки. Стоял-стоял Илюха — никого нет. Надоело уж ему ждать-то, тут сбоку и зашуршала трава. Поворотился Илюха в ту сторону. Видит — девчонка подходит. Простая девчонка, в обыкновенный человечий рост. Годов так восемнадцати. Платьишко на ней синее, платок на голове синий, и на ногах бареточки синие. А пригожая эта девчонка — и сказать нельзя. Глаза — звездой, брови — дугой, губы — малина, и руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в косе лента синяя.

Подошла девчонка к Илюхе и говорит:

— Прими-ка, мил друг Илюшенька, подарочек от чистого сердца.

И подает ему своими белыми рученьками старое бабки Лукерьи решето с ягодами. Тут тебе и земляника, тут тебе и княженика, и желтая морошка, и черная смородина с голубикой. Ну, всяких сортов ягода. Полнехонько решето. А сверх три перышка. Одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое, натуго синей ниточкой перевязаны.

Принял Илюха решето, а сам как дурак стоит, никак домекнуть не может, откуда эта девчонка появилась, где она осенью всяких ягод набрала. Вот и спрашивает:

— Ты чья, красна девица? Скажись, как тебя звать-величать?

Девчонка усмехнулась и говорит:

— Бабкой Синюшкой люди зовут, а гораздому да удалому, да простой душе и такой кажусь, какой видишь. Редко только так-то бывает.

Тогда уж Илюха понял, с кем разговор, и спрашивает:

— Перышки-то у тебя откуда?

— Да вот,— отвечает,— Двоерылко за богатством приходил. Сам в колодец угодил и кошели свои утопил, а твои-то перышки выплыли. Простой, видно, ты души парень.

Дальше Илья и не знает, о чем говорить. И она стоит, молчит, ленту в косе перебирает. Потом промолвила:

— Так-то, мил друг Илюшенька! Синюшка я. Всегда старая, всегда молодая. К здешним богатствам навеки приставлена.

Тут помолчала маленько да спрашивает:

— Ну, нагляделся? Хватит, поди, а то как бы во сне не привиделась.

И сама вздохнула, как ножом по сердцу парня полыснула. Все бы отдал, лишь бы она настоящая живая девчонка стала, а ее и вовсе нет.

Долго еще стоял Илья. Синий туман из колодца по всему ложочку пополз, тогда только стал к дому пробираться. На свету уж пришел. Только заходит в избу, а решето с ягодами и потяжелело, дно оборвалось, и на пол самородки да дорогие каменья посыпались.

С таким-то богатством Илья сразу от барина откупился, на волю вышел, дом себе хороший справил, лошадь завел, а вот жениться никак не может. Все та девчонка из памяти не выходит. Сна-покою из-за этого решился. И бабки Лукерьи перышки не помогают. Не один раз говаривал:

— Эх, бабка Лукерья, бабка Лукерья! Научила ты, как Синюшкино богатство добыть, а как тоску избыть — не сказала. Видно, сама не знала.

Маялся-маялся так-то и надумал:

«Лучше в тот колодец нырнуть, чем такую муку переносить».

Пошел к Зюзельскому болотцу, а бабкины перышки все же с собой захватил. Тогда ягодная пора пришлась. Землянику таскать стали.

Только подошел Илья к лесу, навстречу ему девичья артелка. Человек с десяток, с полными корзинками. Одна девчонка на отшибе идет, годов так восемнадцати. Платьишко на ней синее, платок на голове синий. И пригожая — сказать нельзя. Брови — дугой, глаза — звездой, губы — малина, руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в ней лента синяя. Ну, вылитая та. Одна приметочка разнится: на той баретки синие были, а эта вовсе босиком.

Остолбенел Илья. Глядит на девчонку, и она синими-то глазами зырк да зырк и усмехается — зубы кажет.

Прочухался маленько Илюха и говорит:

— Как это я тебя никогда не видал?

— Вот,— отвечает,— и погляди, коли охота. На это я проста — копейки не возьму.

— Где,— спрашивает,— ты живешь?

— Ступай,— говорит, — прямо, повороти направо. Тут будет пень большой. Ты разбегись да треснись башкой. Как искры из глаз посыплются — тут меня и увидишь...

Ну, зубоскальничает, конечно, как по девичьему обряду ведется. Потом сказалась — чья такая, по которой улице живет и как зовут.

Все честь честью. А сама глазами так и тянет, так и тянет.

С этой девчонкой Илюха и свою долю нашел. Только ненадолго. Она, вишь, из мраморских была. То ее Илюха и не видал раньше-то. Ну, а про мраморских дело известное. Краше тамошних девок по нашему краю нет, а женись на такой — овдовеешь. С малых лет около камню бьются — чахотка у них.

Илюха и сам долго не зажился. Наглотался, может, от этой да и от той нездоровья-то. А по Зюзельке вскорости большой прииск открыли.

Илюха, видишь, не потаил, где богатство взял. Ну, рыться по тем местам стали да и натакались по Зюзельке на богатое золото.

На моих еще памятях тут хорошо добывали. А колодца того так и не нашли. Туман синий, — тот и посейчас на тех местах держится, богатство кажет.

Мы ведь что! Сверху поковыряли маленько, копни-ко поглубже... Глубокий, сказывают, тот Синюшкин колодец. Страсть глубокий. Еще добытчиков ждет.

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя. Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей,— не знают ли кого, а соседи и говорят:

— Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми ее.

— Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечко бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы растить стал. А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану?

Потом подумал-подумал и говорит:

— Знавал я Григория да и жену его тоже. Оба веселые да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдет,

не тоскливо с ней в избе будет. Возьму ее. Только пойдет ли?

Соседи объясняют:

— Плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастет. А у того своя семья больше десятка. Сами не досыта едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдет от такого житья! Да и уговоришь, поди-ка.

— И то правда,— отвечает Кокованя,— уговорю как-нибудь.

В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит — полна изба народу, больших и маленьких. На голбчике *, у печки, девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно.

Поглядел Кокованя на девчоночку и спрашивает:

— Это у вас Григорьева-то подаренка?

Хозяйка отвечает:

— Она самая. Мало одной-то, так еще кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала, да еще корми ее!

— Неласковые, видно, твои ребята. У ней вон мурлычет.

Потом и спрашивает у сиротки:

— Ну, как, подаренушка, пойдешь ко мне жить?

Девчоночка удивилась:

— Ты, дедо, как узнал, что меня Даренкой зовут?

— Да так,— отвечает,— само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал.

— Ты хоть кто? — спрашивает девчоночка.

— Я,— говорит,— вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю, да все увидеть не могу.

— Застрелишь его?

— Нет,— отвечает Кокованя.— Простых козлов стреляю,

а этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет.

— Тебе на что это?

— А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу,— ответил Кокованя.

Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит — старик веселый да ласковый. Она и говорит:

— Пойду. Только ты эту кошку Муренку тоже возьми. Гляди, какая хорошая.

— Про это,— отвечает Кокованя,— что и говорить. Такую звонкую кошку не взять — дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет.

Хозяйка слышит их разговор. Рада-радехонька, что Кокованя сиротку к себе зовет. Стала скорей Даренкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал.

Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трется у ногто да мурлычет:

— Пр-равильно придумал. Пр-равильно.

Вот и повел Кокованя сиротку к себе жить.

Сам большой да бородатый, а она махонькая и носишко пуговкой. Идут по улице, а кошчонка ободранная за ними попрыгивает.

Так и стали жить вместе дед Кокованя, сиротка Даренка да кошка Муренка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, и у всякого дело было.

Кокованя с утра на работу уходил, Даренка в избе прибирала, похлебку да кашу варила, а кошка Муренка на охоту уходила — мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело им.

Старик был мастер сказки сказывать, Даренка любила те сказки слушать, а кошка Муренка лежит да мурлычет:

— Пр-равильно говорит. Пр-равильно.

Только после всякой сказки Даренка напомнит:

— Дедо, про козла-то скажи. Какой он?

Кокованя отговаривался сперва, потом и рассказал:

— Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем —

там и появится дорогой камень. Раз топнет — один камень, два топнет — два камня, а где ножкой бить станет — там груда дорогих камней.

Сказал это да и не рад стал. С той поры у Даренки только и разговору, что об этом козле.

— Дедо, а он большой?

Рассказал ей Кокованя, что ростом козел не выше стола, ножки тоненькие, головка легонькая.

А Даренка опять спрашивает:

— Дедо, а рожки у него есть?

— Рожки-то,— отвечает,— у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток.

— Дедо, а он кого ест?

— Никого,— отвечает,— не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стожках подъедает.

— Дедо, а шерстка у него какая?

— Летом,— отвечает,— буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой серенькая.

— Дедо, а он душной?

Кокованя даже рассердился:

— Какой же душной! Это домашние козлы такие бывают, а лесной козел, он лесом и пахнет.

Стал осенью Кокованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасется. Даренка и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу.

Кокованя и объясняет ей:

— Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберешь, сколько на них веток. Зимой вот — дело другое. Простые козлы безрогие ходят, а этот, Серебряное копытце, всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно.

Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Кокованя в лес ушел.

Дней через пять воротился Кокованя домой, рассказывает Даренке:

— Ныне в Полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду зимой.

— А как же,— спрашивает Даренка,— зимой-то в лесу ночевать станешь?

— Там,— отвечает,— у меня зимний балаган у покосных ложков поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там.

Даренка опять спрашивает:

— Серебряное копытце в той же стороне пасется?

— Кто его знает. Может, и он там.

Даренка тут и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, Серебряное копытце близко подойдет,— я и погляжу.

Старик сперва руками замахал:

— Что ты! Что ты! Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить! На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замерзнешь еще!

Только Даренка никак не отстает:

— Возьми, дедо! На лыжах-то я маленько умею.

Кокованя отговаривал-отговаривал, потом и подумал про себя:

«Сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится».

Вот он и говорит:

— Ладно, возьму. Только, чур, в лесу не реветь и домой до времени не проситься.

Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться.

Уложил Кокованя на ручные санки сухарей два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Даренка тоже узелок себе навязала. Лоскуточков взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку да еще веревку.

«Нельзя ли,— думает,— этой веревкой Серебряное копытце поймать?»

Жаль Даренке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощанье, разговаривает с ней:

— Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди,

мышей лови. Как увидим Серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу.

Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет:

— Пр-равильно придумала. Пр-равильно.

Пошли Кокованя с Даренкой. Все соседи дивуются:

— Из ума выжился старик! Такую маленькую девчонку в лес зимой повел!

Как стали Кокованя с Даренкой из заводу выходить, слышат — собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись,— а это Муренка серединой улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той поре поправилась. Большая да здоровая стала. Собачонки к ней и подступиться не смеют.

Хотела Даренка кошку поймать да домой унести, только где тебе! Добежала Муренка до лесу да и на сосну. Пойди поймай!

Покричала Даренка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят — Муренка стороной бежит. Так и до балагана добралась.

Вот и стало их в балагане трое. Даренка хвалится:

— Веселее так-то.

Кокованя поддакивает:

— Известно, веселее.

А кошка Муренка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Кокованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили — на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить, да как Даренку с кошкой в лесу оставить! А Даренка попривыкла в лесу-то. Сама говорит старику:

— Дедо, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой перевезти.

Кокованя даже удивился:

— Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна! Как большая рассудила. Только забоишься, поди, одна-то.

— Чего,— отвечает,— бояться. Балаган у нас крепкий, волкам не добиться. И Муренка со мной. Не забоюсь. А ты поскорее ворочайся все-таки!

Ушел Кокованя. Осталась Даренка с Муренкой. Днем-то привычно было без Кокованн сидеть, пока он козлов выслеживал... Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит — Муренка лежит спокойнехонько. Даренка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит — по лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела — это козел бежит. Ножки тоненькие, головка легонькая, а на рожках по пяти веточек.

Выбежала Даренка поглядеть, а никого нет. Воротилась да и говорит:

— Видно, задремала я. Мне и показалось.

Муренка мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Легла Даренка рядом с кошкой да и уснула до утра.

Другой день прошел. Не воротился Кокованя. Скучненько стало Даренке, а не плачет. Гладит Муренку да приговаривает:

— Не скучай, Муренушка! Завтра дедо непременно придет.

Муренка свою песенку поет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Посидела опять Даренушка у окошка, полюбовалась на звезды. Хотела спать ложиться, вдруг по стенке топоток прошел. Испугалась Даренка, а топоток по другой стене, потом по той, где окошечко, потом — где дверка, а там и сверху запостукивало. Не громко, будто кто легонький да быстрый ходит. Даренка и думает:

«Не козел ли тот вчерашний прибежал?»

И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит. Отворила дверку, глядит, а козел — тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял — вот топнет, а на ней серебряное копытце блестит, и рожки у козла о пяти ветках. Даренка не знает, что ей делать, да и манит его как домашнего:

— Ме-ка! Ме-ка!

Козел на это как рассмеялся. Повернулся и побежал.

Пришла Даренушка в балаган, рассказывает Муренке:

— Поглядела я на Серебряное копытце. И рожки видела, и копытце видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет.

Муренка, знай, свою песенку поет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Третий день прошел, а все Коковани нет. Вовсе затуманилась Даренка. Слезки запокапывали. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нету. Тут вовсе испугалась Даренушка, из балагана выбежала кошку искать.

Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка — кошка близко на покосном ложке сидит, а перед ней козел. Стоит, ножку поднял, а на ней серебряное копытце блестит.

Муренка головой покачивает, и козел тоже. Будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит-бежит козел, остановится и давай копытцем бить. Муренка подбежит, козел дальше отскочит и опять копытцем бьет. Долго они так-то по покосным ложкам бегали. Не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились.

Тут вспрыгнул козел на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, зеленые, бирюзовые — всякие.

К этой поре как раз Кокованя и вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит-переливается разными огнями. Наверху козел стоит — и все бьет да бьет серебряным копытцем, а камни сыплются да сыплются. Вдруг Муренка скок туда же. Встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни Муренки, ни Серебряного копытца не стало.

Кокованя сразу полшапки камней нагреб, да Даренка запросила:

— Не тронь, дедо! Завтра днем еще на это поглядим.

Кокованя и послушался. Только к утру-то снег большой

Тут вспрыгнул козел на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить.

выпал. Все камни и засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько Кокованя в шапку нагреб.

Все бы хорошо, да Муренки жалко. Больше ее так и не видали, да и Серебряное копытце тоже не показался. Потешил раз,— и будет.

А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие больше. Хризолитами называются. Видали?

ЗОЛОТОЙ ВОЛОС

Было это в давних годах. Наших русских в здешних местах тогда и в помине не было. Башкиры тоже не близко жили. Им, вишь, для скота приволье требуется, где еланки * да степочки. На Нязях * там, по Ураиму *, а тут где же? Теперь лес — в небо дыра, а в ту пору и вовсе ни пройти, ни проехать. В лес только те и ходили, кто зверя промышлял.

И был, сказывают, в башкирах охотник один, Айлыпом прозывался. Удалее его не было. Медведя с одной стрелы бил, сохатого * за рога схватит да через себя бросит — тут зверю и конец. Про волков и протча говорить не осталось. Ни один не уйдет — лишь бы Айлып его увидал.

Вот раз едет этот Айлып на своем коне по открытому месту и видит — лисичка бежит. Для такого охотника лиса—

добыча малая. Ну, все же таки думает: «Дай позабавлюсь, плеткой пришибу». Пустил Айлып коня, а лисичку догнать не может. Приловчился стрелу пустить, а лисички быть бывало. Ну что? Ушла так ушла — ее счастье. Только подумал, а лисичка вон она, за пенечком стоит, да еще потявкивает, будто смеется: «Где тебе!»

Приловчился Айлып стрелу пустить — опять не стало лисички. Опустил стрелу — лисичка на глазах да потявкивает: «Где тебе!»

Вошел в задор Айлып: «Погоди, рыжая!»

Еланки кончились, пошел густой-прегустой лес. Только это Айлыпа не остановило. Слез он с коня да за лисичкой пешком, а удачи все нет. Тут она, близко, а стрелу пустить не может. Отступиться тоже неохота. Ну, как — этакий охотник, а лису забить не сумел! Так-то и зашел Айлып вовсе в неведомое место. И лисички не стало. Искал, искал — нет.

«Дай, — думает, — огляжусь, где хоть я».

Выбрал листвянку * повыше да и залез на самый шатер. Глядит, недалечко от той листвянки речка с горы бежит. Небольшая речка, веселая, с камешками разговаривает и в одном месте так блестит, что глаза не терпят. «Что, — думает, — такое?» Глядит, а за кустом на белом камешке девица сидит красоты невиданной, неслыханной, косу через плечо перекинула и по воде конец пустила. А коса-то у ней золотая и длиной десять сажен. Речка от этой косы так горит, что глаза не терпят.

Загляделся Айлып на девицу, а она подняла голову да и говорит:

— Здравствуй, Айлып! Давно я от своей нянюшки-лисички про тебя наслышана. Будто ты всех больше да краше, всех сильнее да удачливее. Не возьмешь ли меня замуж?

— А какой, — спрашивает, — за тебя калым * платить?

— Какой, — отвечает, — калым, коли мой тятенька всему золоту хозяин! Да и не отдаст он меня добром. Убегом надо, коли смелости да ума хватит.

Айлып рад-радехонек. Соскочил с листвянки, подбежал к тому месту, где девица сидела, да и говорит:

— Коли твое желание такое, так про меня и слов нет. На руках унесу, никому отбить не дам.

В это время лисичка у самого камня тявкнула, ткнулась носом в землю, поднялась старушонкой сухонькой да и говорит:

— Эй, Айлып, Айлып, пустые слова говоришь! Силой да удачей похваляешься, а не мог вот в меня стрелу пустить!

— Правда твоя,— отвечает.— В первый раз со мной такая оплошка случилась.

— То-то и есть. А тут дело похитрее будет. Эта девица — Полозова дочь, прозывается Золотой Волос. Волосы у нее из чистого золота. Ими она к месту и прикована. Сидит да косу полощет, а весу не убывает. Попытай вот, подыми ее ко́синьку — узнаешь, впору ли тебе ее снести.

Айлып — ну, он из людей на отличку — вытащил косу и давай ее на себя наматывать. Намотал сколько-то рядов да и говорит той девице:

— Теперь, милая моя невестушка Золотой Волос, мы накрепко твоей косой связаны. Никому нас не разлучить!

С этими словами подхватил девицу на руки да и пошел.

Старушонка ему ножницы в руки сует:

— Возьми-ко ты, скороумный, хоть это.

— На что мне? Разве у меня ножа нет?

Так бы и не взял Айлып, да невеста его Золотой Волос говорит:

— Возьми — пригодятся: не тебе, так мне.

Вот пошел Айлып лесом. С листвянки-то он понял маленько, куда правиться *. Сперва бойко шел, только и ему тяжело, даром что сила была — с людьми не сравнишь. Невеста видит — Айлып притомился, и говорит:

— Давай я сама пойду, а ты косу понесешь. Легче все ж таки будет, дальше уйдем. А то хватится меня тятенька — живо притянет.

— Как,— спрашивает,— притянет?

— Сила,— отвечает,— ему такая дана: золото, какое он пожелает, к себе в землю притягивать. Пожелает вот взять мои волосы, и уж тут никому против не устоять.

— Это еще поглядим! — отвечает Айлып, а невеста его Золотой Волос только усмехнулась.

Разговаривают так-то, а сами идут да идут. Золотой Волос еще и поторапливает:

— Подальше бы нам выбраться! Может, тогда тятенькиной силы не хватит.

Шли, шли — невмоготу стало.

— Отдохнем маленько,— говорит Айлып.

И только они сели на траву, как их в землю и потянуло. Золотой Волос успела-таки, ухватила ножницы да и перестригла волосы, какие Айлып на себя намотал. Тем только он и ухранился. Волосы в землю ушли, а он поверх остался.

Вдавило все ж таки его, а невесты не стало. Не стало и не стало, будто вовсе не было.

Выбился Айлып из ямины и думает: «Это что же? Невесту из рук отняли и неведомо кто! Ведь это стыд моей голове. Никогда тому не бывать! Живой не буду, а найду ее».

И давай он в том месте, где девица та сидела, землю копать. День копает, два копает, а толку мало. Силы, вишь, у Айлыпа много, а струменту — нож да шапка. Много ли им сделаешь!

«Надо,— думает,— заметку положить, да домой сходить, лопату притащить».

Только подумал, а лисичка, которая его в те места завела, тут как тут. Сунулась носом в землю, старушонкой сухонькой поднялась да и говорит:

— Эх ты, скороум, скороум! Ты золото добывать собрался али что?

— Нет,— отвечает,— невесту свою отыскать хочу.

— Невеста твоя,— говорит,— давным-давно на старом месте сидит, слезы точит да косу в речке мочит. А коса у нее стала двадцать сажен. Теперь и тебе не в силу будет ту косу поднять.

— Как же быть, тетушка? — спросил Айлып.

— Давно бы,— говорит,— так. Сперва спроси да узнай, потом за дело берись. А дело твое будет такое. Ступай ты домой да и живи так, как до этого жил. Если в три года невесту свою Золотой Волос не забудешь, опять за тобой

приду. Один побежишь искать — тогда вовсе ее больше не увидишь.

Не привык Айлып так-то ждать, ему бы схвату да сразу, а ничего не поделаешь — надо. Пригорюнился и пошел домой.

Ох, только и потянулись эти три годочка! Весна придет, и той не рад — скорей бы она проходила. Люди примечать стали: что-то подеялось с нашим Айлыпом, на себя не походит. Родня, та прямо приступает:

— Ты здоров ли?

Айлып ухватит человек пять подюжее на одну руку, поднимет кверху, покрутит да и скажет:

— Еще про здоровье спроси — вон за ту горку всех побросаю!

Свою невесту Золотой Волос из головы не выпускает. Так и сидит она у него перед глазами. Охота хоть сдалека поглядеть на нее, да наказ той старушонки помнит, не смеет.

Только вот когда третий год пошел, увидел Айлып девчонку одну. Молоденькая девчоночка, из себя чернявенькая и веселая, вот как птичка-синичка. Все бы ей подскакивать да хвостиком помахивать. Эта девчоночка мысли у Айлыпа и перешибла. Заподумывал он: «Все, дескать, люди в моих-то годах давным-давно семьями обзавелись, а я нашел невесту да и ту из рук упустил. Хорошо, что никто об этом не знает: засмеяли бы! Не жениться ли мне на этой чернявенькой? Там-то еще выйдет либо нет, а тут калым заплатил — и бери жену. Отец с матерью рады будут ее отдать, да и она, по всему видать, плакать не станет».

Подумает так, потом опять свою невесту Золотой Волос вспомнит, только уж не по-старому. Не столь ее жалко, сколь обидно — из рук вырвали. Нельзя тому попускаться! *

Как кончился третий год, увидел Айлып ту лисичку. Стрелу про нее не готовил, а пошел, куда та лисичка повела, только дорогу примечать стал: где лесину затешет, где на камне свою тамгу * выбьет, где еще какой знак поставит. Пришли к той же речке. Сидит тут девица, а коса у нее вдвое больше стала. Подошел Айлып, поклонился:

— Здравствуй, невеста моя любезная Золотой Волос!

— Здравствуй,— отвечает,— Айлып! Не кручинься, что коса у меня больше стала. Она много полегчала. Видно, крепко обо мне помнил. Каждый день чуяла — легче да легче стаёт. Напоследок только заминка вышла. Не забывать ли стал? А то, может, кто другой помешал?

Спрашивает, а сама усмехается, вроде как знает. Айлыпу стыдно сперва сказать-то было, потом решился, начистоту все выложил — на девчонку-де чернявенькую заглядываться стал, жениться подумывал.

Золотой Волос на это и говорит:

— Это хорошо, что ты по совести все сказал. Верю тебе. Пойдем поскорее. Может, удастся нам на этот раз туда убежать, где тятенькина сила не возьмет.

Вытащил Айлып косу из речки, намотал на себя, взял у няни-лисички ножницы, и пошли они лесом домой. Дорожка-то у Айлыпа меченая: ходко идут. До ночи шли. Как вовсе темно стало, Айлып и говорит:

— Давай полезем на дерево. Может, твоего отца сила не достанет нас с дерева-то.

— И то правда,— отвечает Золотой Волос.

Ну, а как двоим на дерево залезать, коли они косой-то, как веревкой, связаны. Золотой Волос и говорит:

— Отстригнуть надо. Зря эку тягость на себе таскаем. Хватит, если до пят хоть оставить.

Ну, Айлыпу жалко.

— Нет,— говорит,— лучше так сохранить. Волосы-то вишь какие мягкие да тонкие! Рукой погладить любо.

Вот размотал с себя Айлып косу. Полезла сперва на дерево Золотой Волос. Ну, женщина — непривычно дело: не может. Айлып ей так, сяк подсобляет — взлепилась-таки до сучков. Айлып за ней живехонько и косу ее всю с земли поднял.

— Тут и переждем до свету,— говорит Айлып, а сам давай свою невесту косой-то к сучкам припутывать — не свалилась бы, коли задремать случится. Привязал хорошо, да еще похвалился: — Ай-ай, крепко! Теперь сосни маленько, а я покараулю. Как свет, так и разбужу.

Золотой Волос, и верно, скорехонько уснула, да и сам Айлып заподремывал. Такой, слышь-ко, сон навалился, никак отогнать не может. Глаза протрет, головой повертит, так, сяк поворочается — нет, не может тот сон одолеть. Так вот голову-то и клонит. Птица филин у самого дерева вьется, беспокойно кричит — фубу! фубу! — ровно упреждает: берегись, дескать.

Только Айлыпу хоть бы что — спит себе похрапывает и сон видит, будто подъезжает он к своему кошу *, а из коша его жена Золотой Волос навстречу выходит. И всех-то она краше да милее, а коса у ней так золотой змеей и бежит, будто живая.

В самую полночь вдруг сучья затрещали — загорелись. Айлыпа обожгло и на землю сбросило. Видел только, что из земли большое огненное кольцо засверкало и невеста его Золотой Волос стала как облачко из мелких-мелких золотых искорок. Подлетели искорки к тому кольцу и потухли. Подбежал Айлып — ничем-ничего, и потемки опять, хоть глаз выколи. Шарит руками по земле... Ну, трава, да камешки, да сор лесной. В одном месте нашарил-таки конец косы. Сажени две, а то и больше. Повеселел маленько Айлып: «Памятку оставила и знак подала. Можно, видно, добиться, что не возьмет отцова сила ее косу».

Подумал так, а лисичка уж под ногами потявкивает.

Сунулась носом в землю, поднялась старушонкой сухонькой да и говорит:

— Эх ты, Айлып скороумный! Тебе что надо: косу или невесту?

— Мне,— отвечает,— невесту мою надо с золотой косой на двадцать сажен.

— Опоздал,— говорит,— коса-то теперь стала тридцать сажен.

— Это,— отвечает Айлып,— дело второе. Мне бы невесту мою любезную достать.

— Так бы и говорил! Вот тебе мой последний сказ. Ступай домой и жди три года. За тобой больше не приду, сам дорогу ищи. Приходи смотри час в час, не раньше и не позже. Покланяйся еще дедку Филину, не прибавит ли тебе ума.

Сказала — и нет ее. Как светло стало, пошел Айлып домой, а сам думает: «Про какого это она филина сказывала? Мало ли их в лесу! Которому кланяться?»

Думал, думал да и вспомнил. Как на дереве сидел, так вился один у самого носу и все кричал — фубу! фубу! — будто упреждал: берегись, дескать.

«Беспременно про этого говорила», — решил Айлып и воротился к тому месту. Просидел до вечера и давай кричать:

— Дедко Филин! Научи уму-разуму! Укажи дорогу.

Кричал-кричал, никто не отозвался. Только Айлып терпеливый стал. Еще день переждал — и опять кричит. И на этот раз никто не отозвался. Айлып третий день переждал. Вечером только крикнул:

— Дедко Филин!

А с дерева-то сейчас:

— Фубу! Тут я. Кому надо?

Рассказал Айлып про свою незадачу, просит пособить, коли можно, а Филин и говорит:

— Фубу! Трудно, сынок, трудно!

— Это, — отвечает Айлып, — не горе, что трудно. Сколь силы да терпенья хватит, все положу, только бы мне невесту мою добыть.

— Фубу! Дорогу скажу. Слушай...

И тут Филин рассказал по порядку:

— Полозу в здешних местах большая сила дана. Он тут всему золоту полный хозяин: у кого хочешь отберет. И может Полоз все место, где золото родится, в свое кольцо взять. Три дня на коне скачи, и то из этого кольца не уйдешь. Только есть все ж таки в наших краях одно место, где Полозова сила не берет. Ежели со сноровкой, так можно и с золотом от Полоза уйти. Ну, недешево это стоит, — обратного ходу не будет.

Айлып и давай просить:

— Сделай милость, покажи это место.

— Показать-то, — отвечает, — не смогу, потому глазами с тобой разошлись: днем я не вижу, а ночью тебе не углядеть, куда полечу.

— Как же, — спрашивает, — быть?

Дедко Филин тогда и говорит:

— Приметку надежную скажу. Побегай, погляди по озерам и увидишь — в одном посередке камень тычком стоит вроде горки. С одной стороны сосны есть, а с трех голым-голо, как стены выложены. Вот это место и есть. Кто с золотом доберется до этого камня, тому ход откроется вниз, под озеро. Тут уж Полозу не взять.

Айлып перевел все это в голове и смекнул — на озеро Иткуль приходится. Обрадовался, кричит:

— Знаю это место!

Филин свое толмит:

— А ты побегай все-таки, погляди, чтоб оплошки не случилось.

— Ладно,— говорит,— погляжу.

А Филин напоследок еще добавил:

— Фубу! Про то не забудь: от Полоза уйдешь, обратного ходу не будет.

Поблагодарил Айлып дедку Филина и пошел домой. Вскорости нашел он то озеро с камнем в середине и сразу смекнул: «В день до этого места не добежать, беспременно надо конскую дорогу наладить».

Вот и принялся Айлып дорогу прорубать. Легкое ли дело — одному-то, да по густому лесу на сотню верст с лишком! Когда и вовсе из сил выбьется. Вытащит тогда косу — конец-то ему достался,— посмотрит, полюбуется, рукой погладит и ровно силы наберет, да опять за работу. Так у него три-то года незаметно и промелькнули, только-только успел все сготовить.

Час в час пришел Айлып за своей невестой. Вытащил ее косу из речки, намотал на себя, и побежали они бегом по лесу. Добежали до прорубленной дорожки, а там шесть лошадей приготовлено. Сел Айлып на коня, невесту свою посадил на другого, четверку на повода взял, да и припустили, сколько конской силы хватило. Притомится пара — на другую пересядут да опять гнать. А лисичка впереди. Так и стелет, так и стелет, коней задорит — не догнать-де. К вечеру успели-таки до озера добраться. Айлып сразу на челночок да и перевез невесту свою с лисичкой к озерному камню. Только

подплыли — в камне ход открылся; они туда, а в это время как раз и солнышко закатилось.

Ох, что только тут, сказывают, было! Что только было!

Как солнышко село, Полоз все то озеро в три ряда огненными кольцами опоясал. По воде-то во все стороны золотые искры так и побежали. Дочь свою все ж таки вытащить не мог. Филин Полозу вредил. Сел на озерный камень да и заладил одно:

— Фубу! фубу! фубу!

Прокричит этак три раза, огненные кольца и потускнеют маленько, вроде остывать станут. А как разгорятся снова да золотые искры шибко по воде побегут, Филин опять закричит.

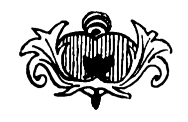
Не одну ночь Полоз тут старался. Ну, не мог. Сила не взяла.

С той поры на заплесках озера золото и появилось. И все, слышь-ко, чешуйкой да ниточкой, а жужелкой либо крупным самородком вовсе нет. Откуда ему тут, золоту, быть? Вот и сказывают, что из золотой косы Полозовой дочки натянуло. И много ведь золота. Потом, уж на моих памятях, сколько за эти заплески ссоры было у башкир с каслинскими заводчиками!

А тот Айлып со своей женой Золотой Волос так под озером и остался. Луга у них там, табуны конские, овечьи. Однем словом, приволье.

Выходит, сказывают, Золотой Волос на камень. Видали люди. На заре будто выйдет и сидит, а коса у ней золотой змеей по камню вьется. Красота будто! Ох, и красота!

Ну, я не видал. Не случилось. Лгать не стану.



ИВАНКО-КРЫЛАТКО

Про наших златоустовских сдавна сплетка пущена, будто они мастерству у немцев учились. Привезли, дескать, в завод сколько-то немцев. От них здешние заводские и переняли, как булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как позолоту наводить. И в книжках будто бы так записано.

Только этот разговор в половинку уха слушать надо, а в другую половинку то лови, что наши старики сказывают. Вот тогда и поймешь, как дело было,— кто у кого учился.

То правда, что наш завод под немецким правленьем бывал. Года два ли, три вовсе за немцем-хозяином числился. И потом, как обратно в казну отошел, немцы долго тут толкошились. Не дом, не два, а полных две улицы набилось.

Так и звались: Большая Немецкая — эта которая меж горой Бутыловкой да Богданкой, и Малая Немецкая. Церковь у немцев своя была, школа тоже, и даже судились немцы своим судом.

Только и то надо сказать, что других жителей в заводе довольно было. Демидовкой не зря один конец назывался. Там демидовские мастера жили, а они, известно, булат с давних годов варить умели.

Про башкир тоже забывать не след. Эти и вовсе задолго до наших в здешних местах поселились.

Народ, конечно, небогатый, а конь да булат у них такие случались, что век не забудешь. Иной раз такой узор старинного мастерства на ноже либо сабле покажут, что по ночам тот узор тебе долго снится.

Вот и выходит — нашим и без навозно́го немца было у кого поучиться. И сами, понятно, не без смекалки были, к чужому свое добавляли. По старым поделкам это въявь видно. Кто и мало в деле понимает, и тот по этим поделкам разберет, походит ли баран на беркута, немецкая, то есть, работа на здешнюю.

Мне вот дедушко покойный про один случай сказывал. При крепостном еще положении было. Годов, поди, за сто. Немца в ту пору жировало на наших хлебах довольно, и в начальстве всё немцы ходили. Только уж пошел разговор — зря, дескать, такую ораву кормим, ничему немцы наших научить не могут, потому сами мало дело понимают. Может, и до высокого начальства такой разговор дошел. Немцы и забеспокоились. Привезли из своей земли какого-то Вурму или Мумру. Этот, дескать, покажет, как булат варить. Только ничего у Мумры не вышло. Денег проварил уйму, а булату и плиточки не получил. Немецкому начальству вовсе конфуз. Только вскорости опять слушок по заводу пустили: едет из немецкой земли самолучший мастер. Рисовку да позолоту покажет, про какие тут и слыхом не слыхали. Заводские после Мумры-то к этой немецкой хвастне безо внимания. Меж собой одно судят:

— Язык без костей. Мели, что хочешь, коли воля дана.

Только верно — приехал немец. Из себя видный, а кличка ему Штоф. Наши, понятно, позубоскальничали маленько:

— Штоф не чекушка. Вдвоем усидишь — и то песни запоешь. Выйдет, значит, дело у этого Штофа.

Шутка шуткой, а на деле оказалось — понимающий мужик. Глаз хоть навыкате, а верный, руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив. Прямо сказать, мастер. Одно не поглянулось: шибко здыморыльничал и на все здешнее фуйкал. Что ему ни покажут из заводской работы, у него одно слово: фуй да фуй. Его за это и прозвали Фуйко Штоф.

Работал этот Фуйко по украшенью жалованного оружия. Как один, у него золотые кони на саблях выходили, и позолота без пятна. Ровно лежит, крепко. И рисовка чистая. Все честь честью выведено. Копытца стаканчиками, ушки пенечками, челку видно, глазок-точечка на месте поставлена, а в гриве да хвосте тоже силышки считай. Стоит золотой конек, а над ним золотая коронка. Тоже тонко вырисована. Все жички-цепочки разобрать можно. Одно не поймешь — к чему она тут над коньком пристроилась.

Отделает Фуйко саблю и похваляется:

— Это есть немецкий рапота.

Начальство ему поддувает:

— О, та. Такой тонкий рапота руски понимайт не может.

Нашим мастерам, понятно, это в обиду. Заподумывали, кого бы к немцу подставить, чтобы не хуже сделал. Говорят начальству — так и так, надо к Штофу на выучку из здешних кого определить. Положение такое есть, а начальство руками машет, свое твердит:

— Это есть ошень тонкий рапота. Руски понимайт не может.

Наши мастера на своем стоят, а сами думают, кого поставить. Всех хороших рисовщиков и позолотчиков, конечно, наперечет знали, да ведь не всякий подходит. Иной уж в годах. Такого в подручные нельзя, коли он сам

давно мастер. Надо кого помоложе, чтобы вроде ученика пришелся.

Тут в цех и пришел дедушко Бушуев. Он раньше по украшению же работал, да с немцами разаркался, и свое дело завел. Поставил, как у нас водится, в избе чугунную боковушку кусинской работы и стал по заказу металл в синь да в серебро разделывать. Ну, и от позолоты не отказывался. И был у этого дедушки Бушуева подходящий паренек, не то племянник, не то внучонко — Иванко, той же фамилии — Бушуев. Смышленый по рисовке. Давно его в завод сманивали, да дедушко не отпускал.

— Не допущу, — кричит, — чтоб Иванко с немцами якшался! Руку испортят и глаз замутят.

Поглядел дедушко Бушуев на Фуйкину саблю, аж крякнул и похвалил:

— Чистая работа!

Потом, мало погодя, похвастался:

— А все-таки у моего Ванятки рука смелее и глаз веселее.

Мастера за эти слова и схватились:

— Отпусти к нам на завод. Может, он всамделе немца обыграет.

Ну, старик ни в какую.

Все знали — старик неподатливый, самостоятельного характера. Правду сказать, вовсе поперешный. А все-таки думка об Иванке запала в головы. Как дедушко ушел, мастера и переговариваются меж собой:

— Верно, попытать бы!

Другие опять отговаривают:

— Впусте время терять. Парень из рук дедушки не вышел, а того ни крестом, ни пестом с дороги не своротишь.

Кто опять придумывает:

— Может, хитрость какую в этом деле подвести?

А то им невдогадку, что старик из цеха сумный пошел.

Ну как — русский человек! Разве ему охота ниже немца ходить? Никогда этого не бывало!

Все-таки два дня крепился. Молчал. Потом, ровно его прорвало, заорал:

— Иванко, айда на завод!

Парень удивился:

— Зачем?

— А затем,— кричит,— что надобно этого немецкого Фуйко обставить. Да так обогнать, чтоб и спору не было.

Ванюшка, конечно, про этого вновь приезжего слышал. И то знал, что дедушко недавно в цех ходил, только Иванко об этом помалкивал, а старик расходился.

— Коли,— говорит,— немца работой обгонишь, женись на Оксютке. Не препятствую!

У парня, видишь, на примете девушка была, а старик никак не соглашался:

— Не могу допустить к себе в дом эку босоту, бесприданницу.

Иванку лестно показалось, что дедушко по-другому заговорил,— живо побежал на завод. Поговорил с мастерами,— так и так, дедушко согласен, а я и подавно. Сам желание имею с немцем в рисовке потягаться. Ну, мастера тогда и стали на немецкое начальство наседать, чтоб по положению к Фуйке русского ученика поставить,— Иванка, значит. А он парень не вовсе рослый. Легкой статьи. В жениховской поре, а парнишком глядит. Как весенняя байга * у башкир бывает, так на трехлетках его пускали. И коней он знал до косточки.

Немецкое начальство сперва поартачилось, потом глядит — парнишко замухрышистый, согласилось: ничего, думает, у такого не выйдет. Так Иванко и попал к немцу в подручные. Присмотрелся к работе, а про себя думает — хорошо у немца конек выходит, только живым не пахнет. Надо так приспособиться, чтоб коня на полном бегу рисовать. Так думает, а из себя дурака строит, дивится, как у немца ловко каждая черточка приходится. Немец, знай, брюхо поглаживает да приговаривает:

— Это есть немецкий рапота.

Прошло так сколько-то времени, Фуйко и говорит по начальству:

— Пора этот мальшик проба ставить,— а сам подмигивает: вот-де смеху-то будет.

Начальство сразу согласилось. Дали Иванку пробу, как полагалось. Выдали булатную саблю, назначили срок и велели рисовать коня и корону, где и как сумеет.

Ну, Иванко и принялся за работу. Дело ему, по-настоящему сказать, знакомое. Одно беспокоит — надо в чистоте от немца не отстать и выдумкой перешагнуть. На том давно решил,— буду рисовать коня на полном бегу. Только как тогда с короной? Думал-думал, и давай рисовать пару коней. Коньков покрыл лентой, а на ней коронку вырисовал. Тоже все жички-веточки разберешь, и маленько эта коронка назад напрочапилась, как башкир на лошади, когда на весь мах гонит.

Поглядел Иванко, чует — ловко рисовка к волновому булату пришлась. Живыми коньки вышли.

Подумал-подумал Иванко и вспомнил, как накануне вечером Оксютка шептала:

— Ты уж постарайся, Ваня! Крылышки, что ли, приделай коньку, чтоб он лучше Фуйкина вышел.

Вспомнил это и говорит:

— Э, была не была! Может, так лучше!

Взял да и приделал тем конькам крылышки, и видит — точно, еще лучше к булатному узору рисовка легла. Эту рисовку закрепил и по дедушкиному секрету вызолотил.

К сроку изготовил. Отполировал старательно, все чатинки загладил, глядеть любо. Объявил,— сдаю пробу. Ну, люди сходиться стали.

Первым дедушко Бушуев приплелся. Долго на саблю глядел. Рубал ей и по-казацки, и по-башкирски. На крепость тоже пробовал, а больше того на коньков золотых любовался. До слезы смотрел. Потом и говорит:

— Спасибо, Иванушко, утешил старика!.. Полагался на тебя, а такой выдумки не чаял. В чиковку к узору твоя рисовка подошла. И то хорошо, что от эфесу ближе к рубальному месту коньков передвинул.

Наши мастера тоже хвалят. А немцы разве поймут такое? Как пришли, так шум подняли.

Немцам делать нечего, пришлось за Иванком послать. Пришел тот, а генерал его благодарит.

— Какой глюпость! Кто видел коня с крыльом! Пошему корона сбок лежаль? Это есть поношений на коронованный особ!

Прямо сказать, затакали парня, чуть не в тюрьму его загоняют. Тут дедушко Бушуев разгорячился.

— Псы вы,— кричит,— бессмысленные! Взять вот эту саблю да порубать вам осиновые башки. Что вы в таком деле понимаете?

Старика, конечно, свои же вытолкали, чтоб всамделе немцы до худого не довели. А немецкое начальство Ванятку прогнало. Визжит вдогонку:

— Такой глюпый мальчишка завод не пускайть! Штраф платить будет! Штраф!

Иванко от этого визгу приуныл было, да дедушко подбодрил:

— Не тужи, Иванко! Без немцев жили и дальше проживем. И штраф им выбросим. Пускай подавятся. Женись на своей Оксютке. Сказал — не препятствую,— и не препятствую.

Иванко повеселел маленько да и обмолвился:

— Это она надоумила крылышки-то конькам приделать.

Дедушко удивился:

— Неуж такая смышленая девка?

Потом помолчал малость да и закричал на всю улицу:

— Лошадь продам, а свадьбу вашу справлю, чтоб весь завод знал. А насчет крылатых коньков не беспокойся. Не всё немцы верховодить у нас в заводе будут. Найдутся люди с понятием. Найдутся! Еще, гляди, награду тебе дадут! Помяни мое слово.

Люди, конечно, посмеиваются над стариком, а по его слову и вышло.

Вскорости после Иванковой свадьбы к нам в завод царский поезд приехал. Тройках, поди, на двадцати. С этим поездом один казацкий генерал случился. Еще из кутузовских. Немало он супостатов покрошил и немецкие, сказывают, города брал.

Этот генерал ехал в сибирскую сторону по своим делам, да царский поезд его нагнал. Ну, человек заслуженный.

Царь и взял его для почету в свою свиту. Только глядит — у старика заслуг-то на груди небогато.

У ближних царских холуев, которые платок поднимают да кресло подставляют,— куда больше. Вот царь и придумал наградить этого генерала жалованной саблей.

На другой день, как приехали в Златоуст, пошли все в украшенный цех. Царь и говорит генералу:

— Жалую тебя саблей. Выбирай самолучшую.

Немцы, понятно, спозаранку всю Фуйкину работу на самых видных местах разложили. А один наш мастер возьми и подсунь в то число Иванковых коньков. Генерал, как углядел эту саблю, сразу ее ухватил. Долго на коньков любовался, заточку осмотрел, все винтики опробовал и говорит:

— Много я на своем веку украшенного оружия видел, а такой рисовки не случалось. Видать, мастер с полетом. Крылатый человек. Хочу его поглядеть.

Ну, немцам делать нечего, пришлось за Иванком послать. Пришел тот, а генерал его благодарит. Выгреб сколько было денег в кармане и говорит:

— Извини, друг, больше не осталось: поиздержался в дороге. Давай хоть я тебя поцелую за твое мастерство. Оно к доброму казацкому удару ведет.

Тут генерал так саблей жикнул, что царской свите холодно стало, а немцев пот прошиб.

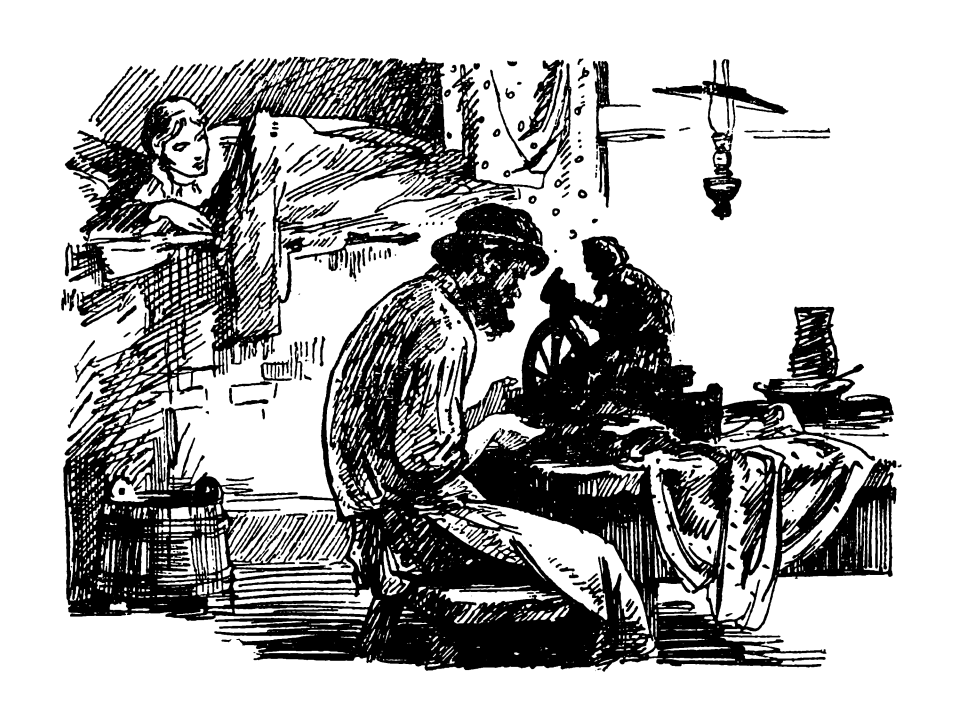
С той вот поры Ивана Бушуева и стали по заводу Крылатым звать. Через год ли, больше, за эту саблю награду выслали, только немецкое начальство, понятно, ту награду зажилило. А Фуйко после того случая в свою сторону уехал. Он, видишь, не в пример прочим все-таки мастерство имел, ему и обидно показалось, что его работу ниже поставили.

Иван Бушуев, конечно, в завод воротился, когда немецких приставников да нахлебников всех повыгнали, а одни настоящие мастера остались. Ну, это не один год тянулось, потому у немецкого начальства при царе рука была и своей хитрости не занимать.

Оксюткой дедушко Бушуев крепко доволен был. Всем соседям нахваливал:

— Отменная бабочка издалась. Как пара коньков с Иванком в житье веселенько бегут. Ребят хорошо растят. В одном оплошка. Не принесла Оксютка мне такого правнучка, чтоб сразу крылышки знатко было. Ну, может, принесет еще, а может, у этих ребят крылья отрастут. Как думаете? Не может того быть, чтобы Крылатковы дети без крыльев были. Правда?

Герой сказа Иван Бушуев — лицо реальное. Художественные работы этого замечательного русского мастера хранятся в музее города Златоуста.



ЧУГУННАЯ БАБУШКА

Против наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставишь.

Другим заводчикам это не вовсе по нраву приходилось. Многие охотились своим литьем каслинцев обогнать, да не вышло.

Демидовы тагильские сильно косились. Ну как — первый, можно сказать, по здешним местам завод считался, а тут нако — по литью оплошка. Связываться все-таки не стали, отговорку придумали:

— Мы бы легонько каслинцев перешагнули, да заниматься не стоит: выгоды мало.

С Шуваловыми лысьвенскими смешнее вышло. Те, понимаешь, врезались в это дело. У себя, на Кусье-Александ-

ровском заводе, сказывают, придумали тоже фигурным литьем заняться. Мастеров с разных мест понавезли, художников наняли. Не один год этак-то пыжились и денег, говорят, не жалели, а только видят — в ряд с каслинским это литье не поставишь. Махнули рукой да и говорят, как Демидовы:

— Пускай они своими игрушками тешатся, у нас дело посурьезнее найдется.

Наши мастера меж собой пересмеиваются:

— То-то! Займитесь-ко чем посподручнее, а с нами не спорьте. Наше литье, поди-ко, по всему свету на отличку идет. Однем словом, каслинское.

В чем тут главная точка была, сказать не умею. Кто говорил — чугун здешний особенный, только, на мой глаз, чугун — чугуном, а руки — руками. Про это ни в каком деле забывать не след.

В Каслях, видишь, это фигурное литье с давних годов укоренилось. Еще при бытности Зотовых, когда они тут над народом изгальничали, художники в Каслях живали. Народ, значит, и приобык.

Тоже ведь фигурка, сколь хорошо ее ни слепит художник, сама в чугун не заскочит. Умелыми да ловкими руками ее переводить доводится.

Формовщик хоть и по готовому ведет, а его рука много значит. Чуть оплошал — уродец родится.

Дальше чеканка пойдет. Тоже не всякому глазу да руке впору. При отливке, известно, всегда какой ни на есть изъян случится. Ну, наплывчик выбежит, шадринки * высыплет, вмятины тоже бывают, а чаще всего путцы под рукой путаются. Это пленочки так по-нашему зовутся. Чеканщику и приходится все эти изъяны подправить: наплывчики загладить, шадринки сбить, путцы срубить. Со стороны глядя, и то видишь — вовсе тонкое это дело, не всякой руке доступно.

Бронзировка да покраска проще кажутся, а изведай — узнаешь, что и тут всяких хитростей-тонкостей многонько,

А ведь все это к одному шло. Оно и выходит, что около каслинского фигурного литья, кроме художников, немало народу ходило. И набирался этот народ из того десятка, ка-

кой не от всякой сотни поставишь. Многие, конечно, по тем временам вовсе неграмотные были, а дарованье к этому делу имели.

Фигурки, по коим литье велось, не все заводские художники готовили. Больше того их со стороны привозили. Которое, как говорится, из столицы, которое — из-за границы, а то и просто с толчка. Ну, мало ли,— приглянется заводским барам какая вещичка, они и посылают ее в Касли с наказом:

— Отлейте по этому образцу, к такому-то сроку.

Заводские мастера отольют, а сами про всякую отливку посудачат.

— Это, не иначе, француз придумал. У них, знаешь, всегда так: либо веселенький узорчик пустят, либо выдумку почудней. Вроде вон парня с крылышками на пятках. Кузьмич из красильной еще его торгованом Меркушкой * зовет.

— Немецкую работу, друг, тоже без ошибки узнать можно. Как лошадка поглаже да посытее, либо бык пудов этак на сорок, а то барыня погрузнее, в полном снаряде да еще с собакой, так и знай — без немецкой руки тут не обошлось. Потому — немец первым делом о сытости думает.

Ну вот. В числе прочих литейщиков был в те годы Торокин Василий Федорыч. В пожилых считался. Дядей Васей в литейном его звали.

Этот дядя Вася с малых лет на формовке работал и, видно, талан к этому делу имел. Даром что неграмотный, а лучше всех доводил. Самые тонкие работы ему доверяли.

За свою-то жизнь дядя Вася не одну тысячу отливок сделал, а сам дивится:

— Придумывают тоже! Все какие-то Еркулесы да Лукавоны! А нет того, чтобы понятное показать.

С этой думкой стал захаживать по вечерам в мастерскую, где главный заводский художник учил молодых ребят рисунку и лепке тоже.

Формовочное дело, известно, с лепкой-то по соседству живет: тоже приметливого глаза да ловких пальцев требует.

Поглядел дядя Вася на занятия да и думает про себя:

«А ну-ко, попробую сам».

Только человек возрастной, свои ребята уж большенькие стают — ему и стыдно в таких годах ученьем заниматься. Так он что придумал? Вкрадче от своих-то семейных этим делом занялся. Как уснут все, он и садится за работу. Одна жена знала. От нее, понятно, не ухоронишься. Углядела, что мужик засиживаться стал, спрашивает:

— Ты что, отец, полуночничаешь?

Он сперва отговаривался:

— Работа, дескать, больно тонкая пришлась, а пальцы одубели, вот и разминаю их.

Жена все-таки доспрашивает, да его и самого тянет сказать про свою затею. Не зря, поди-ко, сказано: сперва подумай с подушкой, потом с женой. Ну, он и рассказал:

— Так и так... Придумал свой образец для отливки сготовить.

Жена посомневалась:

— Барское, поди-ко, это дело. Они к тому ученые, а ты что?

— Вот то-то,— отвечает,— и горе, что бары придумывают непонятное, а мне охота простое показать. Самое, значит, житейское. Скажем, бабку Анисью вылепить, как она прядет. Видела?

— Как,— отвечает,— не видела, коли чуть не каждый день к ним забегаю.

А по соседству с ними Бескресновы жили. У них в семье бабушка была, вовсе преклонных лет. Внучата у ней выросли, работы по дому сама хозяйка справляла, и у этой бабки досуг был. Только она — рабочая косточка — разве может без дела? Она и сидела день-деньской за пряжей, и все, понимаешь, на одном месте, у кадушки с водой. Дядя Вася эту бабку и заприметил. Нет-нет и зайдет к соседям будто за делом, а сам на бабку смотрит. Жене, видно, поглянулась мужнина затея.

— Что ж,— говорит,— старушка сто́ющая. Век прожила, худого о ней никто не скажет. Работящая, характером уветливая, на разговор нескупая. Только примут ли на заводе?

— Это,— отвечает,— полбеды, потому — глина некупленная и руки свои.

Вот и стал дядя Вася лепить бабку Анисью со всем, сказать по-нонешнему, рабочим местом. Тут тебе и кадушка, и ковшичек сбоку привешен, и бабка сидит, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе — вот-вот ласковое слово скажет.

Лепил, конечно, по памяти. Старуха об этом и не знала, а Васина жена сильно любопытствовала. Каждую ночь подойдет и свою заметочку скажет:

— Потуже ровно надо ее подвязать. Не любит бабка распустехой ходить, да и не по-старушечьи этак-то платок носить.

— Ковшик у них будет поменьше. Нарочно давеча поглядела.

Ну, и прочее такое. Дядя Вася о котором поспорит, которое на приметку берет.

Ну, вылепил фигурку. Тут на него раздумье нашло — показывать ли? Еще на смех подымут!

Все-таки решился, пошел сразу к управляющему. На счастье дяди Васи, управляющий тогда из добрых пришелся, неплохую память о себе в заводе оставил. Поглядел он торокинскую работу, понял, видно, да и говорит:

— Подожди маленько — придется мне посоветоваться.

Ну, прошло сколько-то времени, пришел дядя Вася домой, подает жене деньги.

— Гляди-ко, мать, деньги за модельку выдали! Да еще бумажку написали, чтоб вперед выдумывал, только никому, кроме своего завода, не продавал.

Так и пошла торокинская бабка по свету гулять. Сам же дядя Вася ее формовал и отливал. И, понимаешь, оказалась ходким товаром. Против других-то заводских поделок ее вовсе бойко разбирать стали. Дядя Вася перестал в работе таиться. Придет из литейной и при всех с глиной вожгается. Придумал на этот раз углевоза слепить, с коробом, с лошадью, всё как на деле бывает.

На дядю Васю глядя, другие заводские мастера осмелели — тоже принялись лепить да резать, кому что любо. Подставку, скажем, для карандашей вроде рабочего бахила, пепельницу на манер капустного листка. Кто опять придумал

вырезать девушку с корзинкой груздей, кто свою собачонку Шарика лепит-старается. Однем словом, пошло-поехало, живым потянуло.

Радуются все. Торокинскую бабку добром поминают:

— Это она всем нам дорожку показала.

Только недолго так-то было. Вдруг полный поворот вышел. Вызвал управляющий дядю Васю и говорит:

— Вот что, Торокин... Считаю я тебя самолучшим мастером, потому от работы в заводе не отказываю. Только больше лепить не смей. Оконфузил ты меня своей моделькой.

А прочих, которые по торокинской дорожке пошли — лепить да резать стали,— тех всех до одного с завода прогнал.

Люди, понятно, как очумелые стали: за что, про что такая напасть? Кинулись к дяде Васе:

— Что такое? О чем с тобой управляющий разговаривал?

Дядя Вася не потаил, рассказал, как было. На другой день его опять к управляющему потянули. Не в себе вышел, в глаза не глядит, говорит срыву:

— Ты, Торокин, лишних слов не говори! Велено мне тебя в первую голову с завода вышвырнуть. Так и в бумаге написано. Только семью твою жалеючи, оставляю.

— Коли так,— отвечает дядя Вася,— могу и сам уйти. Прокормлюсь как-нибудь на стороне.

Управляющему, видно, вовсе стыдно стало.

— Не могу,— говорит,— этого допустить, потому как сам тебя, можно сказать, в это дело втравил. Подожди, может, еще переменится. Только об этом разговоре никому не сказывай.

Управляющий-то, видишь, сам в этом деле по-другому думал.

Которые поближе к нему стояли, те сказывали — за большую себе обиду этот барский приказ принял, при других жаловался:

— Кабы не старость, дня бы тут лишнего не прожил.

Он — управляющий этот — с характером мужик был, вовсе ершистый. Чуть не по нему, сейчас:

— Живите, не тужите, обо мне не скучайте! Я по вам и подавно тосковать не стану, потому владельцев много, а на-

стояще знающих по заводскому делу нехватка. Найду место, где дураков поменьше, толку побольше.

Скажет так и вскорости на другое место уедет. По многим заводам хорошо знали его. Рабочие везде одобряли, да и владельцы хватались. Сманивали даже.

Все, понятно, знали — человек неспокойный, не любит, чтоб его под локоть толкали, зато умеет много лишних рублей находить на таких местах, где другие ровным счетом ничего не видят.

Владельцев заводских это и приманивало.

Перед Каслями-то этот управляющий на Омутинских заводах служил, у купцов Пастуховых. Разругался из-за купецкой прижимки в копейках. Думал — в Каслях попроще с этим будет, а вон что вышло: управляющий целым округом не может на свой глаз модельку выбрать. Кому это по нраву придется?

Управляющий и обижался, а уж, видно, остарел, посмяк характером-то, побаиваться стал. Вот он и наказывал дяде Васе, чтоб тот помалкивал.

Дяде Васе как быть? Передал все-таки потихоньку эти слова товарищам. Те видят — не тут началось, не тут и кончится. Стали доискиваться да и разузнали все до тонкости.

Каслинские заводы, видишь, за наследниками купцов Расторгуевых значились. А это уж так повелось — где богатое купецкое наследство, там непременно какой-нибудь немец пристроился. К Расторгуевскому подобрался фон-барон Меллер да еще Закомельский. Чуешь, какой коршун? После пятого году на все государство прославился палачом да вешателем.

В ту пору этот Меллер-Закомельский еще молодым жеребчиком ходил. Только что на Расторгуевой женился и вроде как главным хозяином был.

Их ведь — наследников-то расторгуевских — не один десяток считался, а весили они по-разному. У кого частей мало, тот мало и значил. Меллер больше всех частей получил,— вот и вышел в главного.

У этого Меллера была в родне какая-то тетка Каролина.

Она будто Меллера и воспитала. Вырастила, значит, дубину на рабочую спину. Тоже, сказывают, важная барыня — баронша. Приезжала она к нам на завод. Кто видел, говорили — сильно сытая, вроде стоячей перины, ежели сдаля поглядеть.

И почему-то эта тетка Каролина считалась понимающей в фигурном литье. Как новую модель выбирать, так Меллер завсегда с этой теткой совет держал. Случалось, она и одна выбирала. В литейном подсмеивались:

— Подобрано на немецкой тетки глаз — нашему брату не понять.

Ну, так вот... Уехала эта немецкая тетка Каролина куда-то за границу. Долго там ползала. Кто говорит — лечилась, кто говорит — забавлялась на старости лет. Это ее дело. Только в ту пору как раз торокинская чугунная бабушка и выскочила, а за ней и другие такие штучки воробушками вылетать стали и ходко по рукам пошли.

Меллеру, видно, не до этого было, либо он на барыши позарился, только облегчение нашим мастерам и случилось. А как приехала немецкая тетка домой, так сразу перемена делу вышла.

Визгом да слюной чуть не изошлась, как увидела чугунную бабушку. На племянничка своего поднялась, корит его всяко в том смысле: скоро, дескать, до того дойдешь, что своего кучера либо дворника себе на стол поставишь. Позор на весь свет!

Меллер, видно, умишком небогат был, забеспокоился:

— Простите-извините, любезная тетушка, недоглядел. Сейчас дело поправим.

И пишет выговор управляющему со строгим предписаньем — всех нововыявленных заводских художников немедленно с завода долой, а модели их навсегда запретить.

Так вот и плюнула немецкая тетка Каролинка со своим дорогим племянничком нашим каслинским мастерам в самую душу. Ну, только чугунная бабушка за все отплатила.

Пришла раз Каролинка к важному начальнику, с которым ей говорить-то с поклоном надо. И видит — на столе у этого начальника, на самом видном месте, торокинская работа

стоит. Каролинка, понятно, смолчала бы, да хозяин сам спросил:

— Ваших заводов литье?

— Наших,— отвечает.

— Хорошая,— говорит,— вещица. Живым от нее пахнет.

Пришлось Каролинке поддакивать:

— О, та! Ошень превосходный рапот.

Другой раз случай за границей вышел. Чуть ли не в Париже. Увидела Каролинка торокинскую работу и давай всякую пустяковину молоть:

— По недогляду, дескать, эта отливка прошла. Ничем эта старушка не замечательна.

Каролинке на это вежливенько и говорят:

— Видать, вы, мадама, без понятия в этом деле. Тут живое мастерство ценится, а оно всякому понимающему сразу видно.

Пришлось Каролинке и это проглотить.

Приехала домой, а там любезный племянничек пеняет:

— Что же вы, дорогая тетушка, меня конфузите да в убыток вводите. Отливки-то, которые по вашему выбору, вовсе никто не берет. Совладельцы даже обижаются, да и в газетах нехорошо пишут.

И подает ей газетку, а там прописано про наше каслинское фигурное литье. Отливка, дескать, лучше нельзя, а модели выбраны — никуда. К тому подведено, что выбор доверен не тому, кому надо.

— Либо,— говорит,— в Каслях на этом деле сидит какой чудак с чугунными мозгами, либо оно доверено старой барыне немецких кровей.

Кто-то, видно, прямо метил в немецкую Каролинку. Может, заводские художники дотолкали.

Меллер-Закомельский сильно старался узнать, кто написал, да не добился. А Каролинку после того случаю пришлось все-таки отстранить от заводского дела. Другие владельцы настояли. Так она, эта Каролинка, с той поры прямо тряслась от злости, как случится где увидеть торокинскую работу.

Да еще что? Стала эта чугунная бабушка мерещиться Каролинке.

Как останется в комнате одна, так в дверях и появится эта фигурка и сразу начинает расти. Жаром от нее несет, как от неостывшего литья, а она еще упреждает:

— Ну-ко, ты перекисло тесто, поберегись, кабы не изжарить.

Каролинка в угол забьется, визг на весь дом подымет, а прибегут — никого нет.

От этого перепугу будто и убралась к чертовой бабушке немецкая тетушка. Памятник-то в нашем заводе отливали. Немецкой, понятно, выдумки: крылья большие, а легкости нет. Старый Кузьмич перед бронзировкой поглядел на памятник, поразбирал мудреную надпись да и говорит:

— Ангел яичко снес да и думает: то ли садиться, то ли подождать?

После революции в ту же чертову дыру замели Каролинкину родню — всех Меллеров-Закомельских, которые убежать не успели.

Полсотни годов прошло, как ушел из жизни с большой обидой неграмотный художник Василий Федорыч Торокин, а работа его и теперь живет.

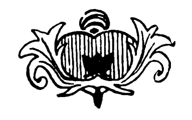
В разных странах на письменных столах и музейных полках сидит себе чугунная бабушка, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе — вот-вот ласковое слово скажет:

— Погляди-ко, погляди, дружок, на бабку Анисью. Давно жила. Косточки мои, поди, в пыль рассыпались, а нитка моя, может, и посейчас внукам-правнукам служит. Глядишь, кто и помянет добрым словом.

Честно, дескать, жизнь прожила, и по старости сложа руки не сидела. Али взять хоть Васю Торокина. С пеленок его знала, потому в родстве мы да и по суседству. Мальчонком стал в литейную бегать. Добрый мастер вышел. С дорогим глазом, с золотой рукой. Изобидели его немцы, хотели его мастерство испоганить, а что вышло? Как живая, поди-ко, сижу, с тобой разговариваю, памятку о мастере даю — о Василье Федорыче Торокине.

Так-то, милачок! Работа — она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется. Вот ты и смекай, как жить-то.

Герой сказа, рабочий Каслинского завода Василий Федорович Торокин, художник-самоучка, жил в конце XIX и начале XX века. Создал ряд прекрасных скульптур из чугуна.



ЖИВИНКА В ДЕЛЕ

Это еще мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости было.

Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручко. Прозванье такое ему на старости лет дали.

На деле руки у него в полной исправности были. Как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось: плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею оглоблей не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами: где стукнет, там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились,— как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти шутки не зарный был. Недаром, видно, слово молвлено: который силен, тот драчлив не живет.

По работе Тимоха вовсе емкий был, много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает.

По нашим местам ремесло, известно, разное.

Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, платинешку выковыривают, бутовой да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять веселые галечки выискивает да в огранку пускает. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут, зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножик да вилки в узор разделывают, у окошка камень точат да шлифуют, а под полатями рогожи ткут. От хлебушка да скотинки тоже не отворачивались. Где гора дозволяла, там непременно либо покос, либо пашня. Однем словом, пестренькое дело, и ко всякому сноровка требуется, да еще и своя живинка полагается.

Про эту живинку и посейчас не все толком разумеют, а с Тимохой занятный случай в житье вышел. На примету людям.

Он, этот Тимоха,— то ли от молодого ума, то ли червоточина какая в мозгах завелась,— придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать да еще похваляется:

— В каждом до точки дойду.

Семейные и свои дружки-ровня стали отговаривать:

— Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житья не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать.

Тимоха на своем стоит, спорит да по-своему считает:

— На лесовала — две зимы, на сплавщика — две весны, на старателя — два лета, на рудобоя — год, на фабричное дело — годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, али модельщиком каким поступить, либо в шорники на пожарной пристроиться. Сиди в тепле да крути колеско, фуганочком пофуркивай, либо шильцом колупайся.

Старики, понятно, смеются:

— Не хвастай, голенастый! Сперва тело изведи.

Тимохе неймется.

— На всякое,— кричит,— дерево влезу и за вершинку подержусь.

Старики еще хотели его урезонить: вершинка, дескать, мера ненадежная: была вершинкой, а станет серединкой, да и разные они бывают — одна ниже, другая выше.

Только видят — не понимает парень. Отступились. Твое дело. Чур, на нас не пенять, что вовремя не отговорили.

Вот и стал Тимоха ремесла здешние своей рукой пробовать.

Парень ядреный, к работе усерден — кто такому откажет. Хоть лес валить, хоть руду дробить — милости просим. И к тонкому делу допуск без отказу, потому — парень со смекалкой, и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием.

Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило.

Женатый уж был, ребятишек полон угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался. Дойдет до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали:

— Ну как, Тимофей Иванович, все еще в слесарях при механической ходишь али в шорники на пожарную подался?

Тимоха к этому без обиды. Отшучивается:

— Придет срок — ни одно ремесло наших рук не минует.

В эти вот годы Тимоха и объявил жене: хочу в углежоги податься. Жена чуть не в голос взвыла:

— Что ты, мужик! Неуж ничего хуже придумать не мог? Всю избу прокоптишь! Рубах у тебя не достираешься. Да и какое это дело! Чему тут учиться?

Это она, конечно, без понятия говорила. По нонешним временам, при печах-то, с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудреное это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поварчивают:

— Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей

вон песенки попевают, а уголь звон звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет и квелого самая малость.

Сколько ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадежил:

— Недолго, поди-ко, замазанным ходить буду.

Тимоха, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботился, чтоб было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера.

По угольному делу тогда на большой славе считался дедушко Нефед. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался — нефедовский уголь. В сараях этот уголек отдельно ссыпали. На самую тонкую работу выдача была.

К этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про Тимохино чудачество слыхал и говорит:

— Принять в выученики могу, без утайки все показывать стану, только с уговором. От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь.

Тимоха понадеялся на свою удачливость и говорит:

— Даю в том крепкое слово.

На этом, значит, порешили и вскорости в курень поехали.

Дедушка Нефед — он, видишь, из таких был... обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахи расколоть, а у него и тут разговор:

— Гляди-ко! Сила у меня стариковская, совсем на исходе, а колю не хуже твоего. Почему, думаешь, так-то?

Тимоха отвечает: топор направлен и рука привычная.

— Не в одном,— отвечает,— топоре да привычке тут дело, а я ловкие точечки выискиваю.

Тимоха тоже стал эти ловкие точечки искать.

Дедушка Нефед все объясняет по совести, да и то видит Тимоха — правда в Нефедовых словах есть, да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что любо станет, а думка все же останется: может, еще бы лучше по другой точечке стукнуть.

Так Тимоха сперва на эти ловкие точечки и поймался.

Как стали плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь. С мокрого

места сосна — один наклон, с сухого — другой. Раньше рублена — так, позже — иначе. Потолще плахи — продухи такие, пожиже — другие, жердовому расколу особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землей тоже.

Дедушка Нефед все это объясняет по совести,— да и то вспоминает, у кого чему научился.

— Охотник один научил к дымку принюхиваться. Они — охотники-то — на это дошлые. А польза сказалась. Как учую — кислым потянуло, сейчас тягу посильнее пущу. Оно и ладно.

Набеглая женщина надоумила. Остановилась как-то около кучи погреться да и говорит:

«С этого боку жарче горит».

«Как,— спрашиваю,— узнала?»

«А вот обойди,— говорит,— кругом — сам почуешь».

Обошел я, чую — верно сказала. Ну, подсыпку сделал, поправил дело. С той поры этого бабьего совету никогда не забываю. Она, по бабьему положению, весь век у печки толкошится, привычку имеет жар разбирать.

Рассказывает так-то, а сам нет-нет про живинку напомнит:

— По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась, либо пустодымкой не обернулась. Чуть не доглядел — либо перегар, либо недогар будет.

А коли все дорожки ловко улажены, уголь выйдет звон звоном.

Тимохе все это любопытно. Видит — дело не простое, попотеть придется, а про живинку все-таки не думает.

Уголь у них с дедушкой Нефедом, конечно, первосортный выходил, а все же, как станут разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придется.

— А почему так? — спрашивает дедушка Нефед, а Тимоха и сам это же думает: в каком месте оплошку сделал?

Научился Тимоха и один всю работу доводить. Не раз случалось, что уголь у него и лучше Нефедова бывал, а все-таки это ремесло не бросил. Старик посмеивается:

— Теперь, брат, никуда не уйдешь: поймала тебя живинка, до смерти не отпустит.

Тимоха и сам дивился — почему раньше такого с ним никогда не случалось.

— А потому,— объясняет дедушка Нефед,— что ты книзу глядел — на то, значит, что сделано; а как кверху поглядел — как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!

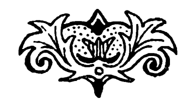
По этому слову и вышло. Остался Тимоха углежогом, да еще и прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и все про себя рассказывал, как он хотел смолоду все ремесла одолеть, да в углежогах застрял.

— Никак,— говорит,— не могу в своем деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы.

А сам ручищами-то своими разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали Малоручком. В шутку, конечно, а так мужик вовсе на доброй славе по заводу был.

Как дедушка Нефед умер, так Малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях сыпали. Прямо сказать, мастер в своем деле был.

Его-то внуки-правнуки посейчас в наших местах живут. Тоже которые живинку — всяк на своем деле — ищут, только на руки не жалуются. Понимают, поди-ко, что наукой можно человечьи руки нарастить выше облака.



ВАСИНА ГОРА

Ровным-то местом мы тут не больно богаты. Всё у нас горы да ложки́, ложки́ да горы. Не обойдешь их, не объедешь. Гора, конечно, горе рознь. Иную никто и в примету не берет, а другую не то что в своей округе, а и дальние люди знают: на слуху она, на славе.

Одна такая гора у самого нашего завода пришлась. Сперва с версту, а то и больше такой тянигуж, что и крепкая лошадка налегке идет и та в мыле, а дальше еще надо взлобышек одолеть, вроде гребешка самого трудного подъему. Что говорить, приметная горка. Раз пройдешь либо проедешь, надолго запомнишь и другим сказывать станешь.

По самому гребню этой горы проходила грань *: кончался наш заводский выгон и начиналась казенная лесная дача *. Тут, ясное дело, загородка была поставлена и проездные

ворота имелись. Только эти ворота — одна видимость. По старому трактовому положению их и на минуту запереть было нельзя. Железных дорог в ту пору по здешним краям не было, и по главному Сибирскому тракту шли и ехали, можно сказать, без передышки днем и ночью.

Скотину в ту сторону пропустить хуже всего, потому — сразу от загородки шел вековой ельник, самое глухое место. Какая коровенка либо овечка проберется — не найдешь ее, а скаты горы не зря звались Волчьими падями. Зимами и люди мимо них с опаской ходили, даром что рядом Сибирский тракт гудел.

Сторожить у проездных ворот в таком месте не всякому доверишь. Надежный человек требуется. Наши общественники долго такого искали. Ну, нашли все-таки. Из служилых был, Василием звали, а как по отчеству да по прозванию, не знаю. Из здешних родом. В молодых годах его на военную службу взяли, да он скоро отвоевался: пришел домой на деревяшке.

Близких родных, видно, у этого Василия не было. Свою семью не завел. Так и жил бобылем в своей избушке, а она как раз в той стороне, где эта самая гора. Пенсион солдатский по старому положению в копейках на год считался, на хлеб не хватало, а кормиться чем-то надо. Василий и приспособился, по-нашему говорится, к сидячему ремеслу: чеботарил по малости, хомуты тоже поправлял, корзинки на продажу плел, разную мелочь ко кроснам * налаживал. Работа все копеечная, не разживешься с такой. Василий хоть не жаловался, а все видели — бьется мужик. Тогда общественники и говорят:

— Чем тебе тут сидеть, переходи-ка в избушку при проездных воротах на горе. Приплачивать будем за караул.

— Почему,— отвечает,— миру не послужить? Только мне на деревяге не больно способно скотину отгонять. Коли какого мальчонку в подручные ставить будете, так и разговору конец.

Общественники согласились, и вскоре этот служивый перебрался в избушку при проездных воротах. Избушка, понятно, маленькая, полевая, да много ли бобылю надо: пе-

чурку, чтоб похлебку либо кашу сварить, нары для спанья да место под окошком, где чеботарскую седулку поставить. Василий и прижился тут на долгие годы. Сперва его дядей Васей звали, потом стал дед Василий. И за горой его имя укоренилось. Не то что наши заводские, а чужедальние, кому часто приходилось ездить либо с обозами ходить по Сибирскому тракту, знали Васину гору. Многие проезжающие знали и самого старика. Иной раз покупали у него разную мелочь, подшучивали:

— Ты бы, дед, хоть по вершку в год гору снимал, все-таки легче бы стало.

Дед на это одно говорил:

— Не снимать, а наращивать бы надо, потому эта гора человеку на пользу.

Проезжающие начинают допрашиваться, почему так, а дед Василий эти разговоры отводил:

— Поедешь дальше, дела-то в дороге немного, ты и подумай.

Подручных ребятишек у деда Василия перебывало много. Поставят какого-нибудь мальчонку-десятилетка из сироток, он и ходит при этом деле год либо два, пока не подрастет для другой работы, а дальше к деду Васе другого нарядят. А ведь годы-то наши, как вешний ручей с горы, бегут, крутятся, что и глазом не уследишь. Через десяток годов, глядишь, первый подручный сам семьей обзавелся, а через другой десяток у него свои парнишки в подручные к деду Василию поспели. Так и накопилось в нашем заводе этаких выучеников Васиной горы не один десяток. Разных, понятно, лет. Одни еще вовсе молодые, другие настоящие взрослые, в самой поре, а были и такие, что до седых волос уж дотянулись, а примета у всех у них одна: на работу не боязливы и при трудном случае руками не разводят. Да еще приметили, что эти люди норовят своих ребятишек хоть на один год к деду Василию в подручные определить, и не от сиротства либо каких недостатков, а при полной даже хозяйственности. Случалось, перекорялись из-за этого один с другим: моя очередь, твой-то парнишка годик и подождать может, а моему самая пора.

Люди, конечно, любопытствовали, в чем тут штука, а эти выученики Васиной горы и не таились. В досужий час сами любили порассказать, как они в подручных у деда Василия ходили и чему научились.

Всяк, понятно, говорил своим словом, а на одно выходило.

Место у проездных ворот на Васиной горе вовсе хлопотливое было. Не то что за скотом, а и за обозниками доглядывать требовалось: на большой дороге, известно, без баловства не проходит. Иной обозник где-нибудь на выезде из завода прихватит барашка да и ведет его потихоньку за своим возом. Забивать, конечно, опасались, потому тогда и до смертного случаю достукаться можно. Наши заводские тоже ведь на большой дороге выросли, им в таком разе обозников щадить не доводилось. С живым бараном куда легче. Всегда отговориться было можно: подобрали приблудного, сам увязался за хлебушком, видно,— отогнать не можем. А отдашь — и вовсе люди вязаться не станут, поругаются только вдогонку да погрозят. Караулу, выходит, крепко посматривать надо было.

Ну, все-таки, сколь ни беспокойно было при этих проездных воротах, а досуг тоже был. Старик в такие часы за работой своей сидел, а подручному мальчонке что делать? Отлучаться в лес либо на сторону старик не дозволял. Известно, солдатская косточка, приучен к службе. С караула разве можно? Строго на этот счет у него было. Парнишке, значит, в такие досужие часы одна забава оставалась — на прохожих да на проезжих глядеть. А тракт в том месте как по линейке вытянулся. С вершины в ту и другую сторону далеко видно, кто подымается, кто спускается. Поглядит этак, поглядит мальчонка да и спрашивает у старика:

— Дедо, я вот что приметил. Подымется человек на нашу гору хоть с этой стороны и непременно оглянется, а дальше разница выходит. Один будто и силы небольшой и на возрасте — пойдет вперед веселехонек, как в живой воде искупался, а другой, случается, по виду могутный — вдруг голову повесит и под гору плетется, как ушиб его кто. Почему такое?

Дед Василий и говорит:

— А ты сам спроси у них, чего они позади себя ищут, тогда и узнаешь.

Мальчонка так и делает: начинает у прохожих спрашивать, зачем они на перевале горы оглядываются. Иной, понятно, и цыкнет, а другие отвечали честь честью. Только вот диво — ответы тоже на два конца. Те, кто идет дальше веселым, говорят:

— Ну как не поглядеть. Экую гору одолел — дальше и бояться нечего. Все одолею. Потому и весело мне.

Другие опять стонут:

— Вон на какую гору взобрался, самая бы пора отдохнуть, а еще идти надо.

Эти вот и плетутся, как связанные, смотреть на них тошно.

Расскажет мальчонка про эти разговоры старику, а тот и объясняет:

— Вот видишь, гора-то на дороге силу людскую показывает. Иной по ровному месту, может, весь свой век пройдет, а так своей силы и не узнает. А как случится ему на гору подняться вроде нашей, с гребешком, да поглядит он назад, тогда и поймет, что он сделать может. От этого, глядишь, такому человеку в работе подмога и жить веселее. Ну, и сла-

бого человека гора в полную меру показывает: трухляк, дескать, кислая кошма *, на подметки не годится.

Мальчонке, понятно, неохота в трухляки попасть, он и хвалится:

— Дедо, я на эту гору ежедень бегом подыматься стану. Вот погляди.

Старик посмеивается:

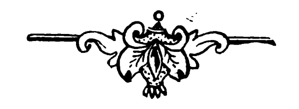
— Ну что ж, худого в этом нет. Может, и пригодится когда. Только то помни, что не всякая гора наружу выходит. Главная гора — работа. Коли ее пугаться не станешь, то вовсе ладно будет.

Так вот и учил дедушко Василий своих подручных, а те своим ребятишкам это передали. И до того это в наших местах укоренилось, что Васина гора силу человека показывает, что парни нарочно туда бегали, подкарауливали своих невест. Узнают, скажем, что девки ушли за горы по ягоды либо по грибы, ну и ждут, чтобы посмотреть на свою невесту на самом гребешке: то ли она голову повесит, то ли песню запоет.

Невесты тоже в долгу не оставались. Каждая при ловком случае старалась поглядеть, как ее суженый себя покажет на гребешке Васиной горы.

И посейчас у нас эта гора не забыта. Частенько ее поминают, и не для рассказа про старое, а прямо к теперешнему прикладывают:

— Вот война-то была. Это такая гора, что и поглядеть страшно, а ведь одолели. Сами не знали, что в народе столько силы найдется, а гора показала. Все равно, как новый широкий путь народу открыла. Коли такое сделал, так и много больше того сделать можешь.



СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ

Против нашей Ильменской каменной кладовухи, конечно, по всей земле места не найдешь. Тут и спорить нечего, потому — на всяких языках про это записано: в Ильменских горах камни со всего света лежат.

Такое место, понятно, мимо ленинского глазу никак пройти не могло. В 20-м году Владимир Ильич самоличным декретом объявил здешние места заповедными. Чтоб, значит, промышленников и хитников всяких по загривку, а сберегать эти горы для научности, на предбудущие времена.

Дело будто простое. Известно, ленинский глаз не то что по земле, под землей видел. Ну, и эти горы предусмотрел. Только наши старики горщики все-таки этому не совсем верят. Не может, дескать, так быть. Война тогда на полную си-

лу шла. Без случая это дело не прошло. И по-своему рассказывают так.

Жили два артельных брата: Максим Вахоня да Садык Узеев, по прозвищу Сандугач. Один, значит, русский, другой из башкирцев, а дело у них одно — с малых лет по приискам да рудникам колотились и всегда вместе. Большая, сказывают, меж ними дружба велась, на удивление людям. А сами друг на дружку нисколько не походили. Вахоня — мужик тяжелый, борода до пупа, плечи ровно с подставышем, кулак — глядеть страшно, нога медвежья и разговор густой, буторовый. Потихоньку загудит, и то мух в сторону на полсажени относит, а характеру мягкого. По пьяному делу, когда какой заноза раздразнит, так только пригрозит:

— Отойди, парень, от греха! Как бы я тебя ненароком не стукнул.

Садык ростом не вышел, из себя тончавый, вместо бороденки семь волосков, и те не на месте, а жилу имел крепкую. Забойщик, можно сказать, тоже первой статьи. Бывает ведь так-то. Ровно и поглядеть не на кого, а в работе податен. Характера был веселого. Попеть, и поплясать, и на курае * подудеть большой охотник. Недаром ему прозвище дали Сандугач, по-нашему соловей.

Вот эти Максим Вахоня да Садык Сандугач и сошлись в житье на одной тропе. Не всё, конечно, на казну да хозяев добывали. Бывало, и сам-друг пески перелопачивали,— свою долю искали. Случалось, и находили, да в карманах не залежалось. Известно, старательскому счастью одна дорога была показана. Прогуляют всё, как полагается, и опять на работу, только куда-нибудь на новое место: там, может, веселее.

Оба бессемейные. Что им на одном месте сидеть! Собрали котомки, инструмент прихватили — и айда.

Вахоня гудит:

— Пойдем поглядим, в коем месте люди хорошо живут.

Садык веселенько шагает да посмеивается:

— Шагай, Максимка, шагай! Новым мистам залотой писок сама рукам липнет. Дарогой каминь барадам скачит. Один раз твой барада полпуда станит.

— У тебя небось ни один не задержится,— отшучивался Вахоня и лешачиным обычаем гогочет: хо-хо-хо.

Так вот и жили два артельных брата. Хлебнули сладкого досыта: Садык в работе правый глаз потерял, Вахоня на левое ухо совсем не слышал.

На Ильменских горах они, конечно, не раз бывали.

Как гражданская война началась, оба старика в этих же местах оказались. По горняцкому положению, конечно, оба по винтовке взяли и пошли воевать за Советскую власть. Потом, как Колчака в Сибирь отогнали, политрук и говорит:

— Пламенное, дескать, вам спасибо, товарищи старики, от лица Советской власти, а только теперь, как вы есть инвалиды подземного труда, подавайтесь на трудовой фронт. К тому же,— говорит,— фронтовую видимость нарушаете, как один кривой, а другой глухой.

Старикам это обидно, а что поделаешь? Правильно политрук сказал — надо поглядеть, что на приисках делается. Пошли сразу к Ильменям, а там народу порядком набилось, и всё хита самая последняя. Этой ничего не жаль, лишь бы рублей побольше зашибить. Все ямы, шахты живо засыплет, коли выгодно покажется. За хитой, понятно, купец стоит, только себя не оказывает, прячется. Заподумывали наши старики — как быть? Сбегали в Миас, в Златоуст, обсказали, а толку не выходит. Отмахиваются:

— Не до этого теперь, да и на то главки есть.

Стали спрашивать про эти главки, в голове муть пошла. По медному делу — одна главка, по золотому — другая, по каменному — третья. А как быть, коли на Ильменских горах всё есть. Старики тогда и порешили:

— Подадимся до самого товарища Ленина. Он небось найдет время.

Стали собираться. Только тут у стариков рассорка случилась. Вахоня говорит: для показу надо брать один дорогой камень, который в огранку принимают. Ну, и золотой песок тоже. А Садык свое заладил: всякого камня образец взять, потому дело научное.

Спорили, спорили, на том договорились: каждый соберет

свой мешок, как ему лучше кажется.

Вахоня расстарался насчет цирконов да фенакитов. В Кочкарь сбегал, спроворил там эвклазиков синеньких да розовых топазиков. Золотого песку тоже. Мешочек у него аккуратный вышел, и камень все — самоцвет. А Садык наворотил, что и поднять не в силах. Вахоня грохочет:

— Хо-хо-хо! Ты бы все горы в мешок забил! Разберись, дескать, товарищ Ленин, которое к делу, которое никому не надо.

Садык на это в обиде.

— Глупый,— говорит,— ты, Максимка, человек, коли так бачку Ленина понимаешь. Ему научность надо, а базарная цена камню — наплевать.

Поехали в Москву.

Без ошибки в дороге, конечно, не обошлось. В одном месте Вахоня от поезда отстал. Садык хоть и в сердцах на него был, сильно запечалился, захворал даже. Как-никак всегда вместе были, а тут при таком важном деле разлучились. И с двумя мешками камней одному хлопотно. Ходят, спрашивают, не соль ли в мешках для спекуляции везешь? А как покажешь камни, сейчас пойдут расспросы, к чему такие камни, для личного обогащения али для музея какого? Однем словом, беспокойство.

Вахоня все-таки как-то исхитрился, догнал поезд под самой Москвой. До того друг другу обрадовались, что всю вагонную публику до слез насмешили: обниматься стали. Потом опять о камнях заспорили, который мешок нужнее, толь-

ко уж помягче, с шуткой. Как к Москве подъезжать стали, Вахоня и говорит:

— Я твой мешок таскать буду. Мне сподручнее и не столь смешно. Ты поменьше, и мешок у тебя будет поменьше. Москва, поди-ко, а не Миас! Тут порядок требуется.

Первую ночь, понятно, на вокзале перебились, а с утра пошли по Москве товарища Ленина искать. Скоренько нашли и прямо в Совнарком с мешками ввалились. Там спрашивают, что за люди, откуда, по какому делу. Садык отвечает:

— Бачка Ленин желаим каминь казать.

Вахоня тут же гудит:

— Места богатые. От хиты ухранить надо. Дома толку не добились. Беспременно товарища Ленина видеть требуется.

Ну, провели их к Владимиру Ильичу. Стали они дело обсказывать, торопятся, друг дружку перебивают.

Владимир Ильич послушал, послушал и говорит:

— Давайте, други, поодиночке. Дело, гляжу, у вас государственное, его понять надо.

Тут Вахоня, откуда и прыть взялась, давай свои дорогие камешки выкладывать, а сам гудит: из такой ямы, из такой шахты камень взял, и сколько он на рубли стоит.

Владимир Ильич и спрашивает:

— Куда эти камни идут?

Вахоня отвечает — для украшения больше. Ну, там перстни, серьги, буски и всякая такая штука. Владимир Ильич задумался, полюбовался маленько камешками и сказал:

— С этим погодить можно.

Тут очередь до Садыка дошла. Развязал он свой мешок и давай камни на стол выбрасывать, а сам приговаривает:

— Амазон-каминь, калумбит-каминь, лабрадор-каминь...

Владимир Ильич удивился:

— У вас, смотрю, из разных стран камни.

— Так, бачка Ленин! Правда говоришь. Со всякой стороны каминь сбежался. Каменный мозга-каминь, и тот есть. В Еремеевской яме солничный каминь находили.

Владимир Ильич тут улыбнулся и говорит:

— Каменный мозг нам, пожалуй, ни к чему. Этого добра

и без горы найдется. А вот солнечный камень нам нужен. Веселее с ним жить.

Садык слышит этот разговор и дальше старается:

— Потому, бачка Ленин, наш каминь хорош, что его солнышком крепко прогревает. В том месте горы поворот дают и в степь выходят.

— Это,— говорит Владимир Ильич,— всего дороже, что горы к солнышку повернулись и от степи не отгораживают.

Тут Владимир Ильич позвонил и велел все камни переписать и самый строгий декрет изготовить, чтоб на Ильменских горах всю хиту прекратить и место это заповедным сделать. Потом поднялся на ноги и говорит:

— Спасибо вам, старики, за заботу. Большое вы дело сделали! Государственное! — и руки им, понимаешь, пожал.

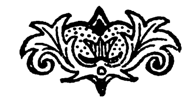
Ну, те, понятно, вне ума стоят. У Вахони вся борода слезами, как росой, покрылась, а Садык бороденкой трясет да приговаривает:

— Ай, бачка Ленин! Ай, бачка Ленин!

Тут Владимир Ильич написал записку, чтоб определить стариков сторожами в заповедник и пенсии им назначить.

Только наши старики так и не доехали до дому. По дорогам в ту пору, известно, как возили. Поехали в одно место, а угадали в другое. Война там, видно, кипела, и, хотя один был глухой, а другой кривой, оба снова воевать пошли.

С той поры об этих стариках и слуху не было, а декрет о заповеднике вскорости пришел. Теперь этот заповедник Ленинским зовется.



БОГАТЫРЕВА РУКАВИЦА

Из уральских сказов о Ленине

В здешних-то местах раньше простому человеку никак бы не удержаться: зверь бы заел либо гнус одолел. Вот сперва эти места и обживали богатыри. Они, конечно, на людей походили, только сильно большие и каменные. Такому, понятно, легче: зверь его не загрызет, от оводу вовсе спокойно, жаром да стужей не проймешь, и домов не надо.

За старшего у этих каменных богатырей ходил один, по названью Денежкин. У него, видишь, на ответе * был стакан с мелкими денежками из всяких здешних камней да руды. По этим рудяным да каменным денежкам тому богатырю и прозванье было.

Стакан, понятно, богатырский — выше человеческого ро-

сту, много больше сорокаведерной бочки. Сделан тот стакан из самолучшего золотистого топаза и до того тонко да чисто выточен, что дальше некуда. Рудяные да каменные денежки насквозь видны, а сила у этих денежек такая, что они место показывают.

Возьмет богатырь какую денежку, потрет с одной стороны — и сразу место, с какого та руда либо камень взяты, на глазах появится. Со всеми пригорочками, ложкàми, болотцами,— примечай знай. Оглядит богатырь, все ли в порядке, потрет другую сторону денежки — и станет то место просвечивать. До капельки видно, в котором месте руда залегла и много ли ее. А другие руды либо камни сплошняком кажет. Чтоб их разглядеть, надо другие денежки с того же места брать.

Для догляду да посылу была у Денежкина-богатыря каменная птица. Росту большого, нравом бойкая, на лету легкая, а обличье у ней сорочье — пестрое. Не разберешь, чего больше намешано: белого, черного али голубого. Про хвостовое перо говорить не осталось,— как радуга в смоле, а глаз агатовый в веселом зеленом ободке. И сторожкая та каменная сорока была. Чуть кого чужого заслышит, сейчас заскачет, застрекочет, богатырю весть подает.

Смолоду каменные богатыри крутенько пошевеливались. Немало они троп протоптали, иные речки отвели, болота подсушили, вредного зверья поубивали. Им ведь ловко: стукнет какую зверюгу каменным кулаком либо двинет ногой — и дыханья нет. Однем словом, поработали.

Старшой богатырь нет-нет и гаркнет на всю округу:

— Здоровеньки, богатыри?

А они подымутся враз да и загрохочут:

— Здоровы, дядя Денежкин, здоровы!

Долго так-то богатыри жили, потом стареть стали. Покличет их старшой, а они с места сдвинуться не могут. Кто сидит, кто лежмя лежит, вовсе камнями стали, богатырского оклику не слышат. И сам Денежкин отяжелел, мохом обрастать стал. Чует,— стоять на ногах не может. Сел на землю, лицом к полуденному солнышку, присугорбился, бородой в коленки уперся да и задремал. Ну, все-таки заботы не поте-

рял. Как заворошится каменная сорока, так он глаза и откроет. Только и сорока не такая резвая стала. Тоже, видно, состарилась.

К этой поре и люди стали появляться. Первыми, понятно, охотники забегать стали, как тут вовсе приволье было. За охотниками пахарь пришел. Стал деревья валить да деревни ставить. Вскорости и такие объявились, кои по горам да ложкам землю ковырять принялись, не положено ли тут чего на пользу. Эти живо прослышали насчет топазного стакана с денежками и стали к нему подбираться.

Первый-то, кто на это диво набрел, видать, из простодушных случился. Он только на веселые камешки польстился. Набрал их всяких: желтеньких, зеленых, вишневых. Ну, и открыл места, где такие камешки водятся.

За этим добытчиком другие потянулись. Больше норовят тайком один от другого. Известно, жадность людская: охота все богатство на себя одного перевести.

Прибегут такие, видят — старый богатырь вовсе утлый, чуть живой сидит, а все-таки вполглаза посматривает. Топазовый стакан полнехонек рудяными да каменными денежками и закрыт богатыревой рукавицей, а на ней каменная сорока поскакивает, беспокоится.

Добытчикам, понятно, страшно, они и давай старого богатыря словами обхаживать:

— Дозволь, родимый, маленько денежек взаймы взять. Как справлюсь с делом, непременно отдам. Убери свою сороку.

Старик на эти речи ухмыльнется и пробурчит, как гром по далеким горам:

— Бери сколь надобно, только с уговором, чтоб народу на пользу.

И сейчас своей птице знак подает:

— Посторонись, Стрекотуха.

Каменная сорока легонько подскочит, крыльями взмахнет и на левое плечо богатыря усядется да оттуда и уставится на добытчика.

Добытчики хоть оглядываются на сороку, а все-таки рады, что с места улетела. Про рукавицу, чтоб богатырь снял ее,

просить не насмеливаются: сами, дескать, как-нибудь одолеем это дело. Только она — эта богатырева рукавица — людям не в подъем. Вагами да ломами ее отворачивать примутся. В поту бьются, ничего не щадят. Хорошо, что топазовый стакан навеки сделан — его никак не пробьешь.

Ну, все-таки сперва и на старика поглядывают и на сороку озираются, а как маленько сдвинут рукавицу да запустят руки в стакан, так последний стыд потеряют. Всяк норовит ухватить побольше, да такие денежки выбирают, кои подороже кажутся. Иной столько нахапает, что унести не в силу. Так со своей ношей и загибнет.

Старый Денежкин эту повадку давно на примету взял. Нет-нет и пошлет свою сороку:

— Погляди-ко, Стрекотуха, далеко ли тот ушел, который два пестеря денежек нагреб.

Сорока слетает, притащит обратно оба пестеря, ссыплет рудяные денежки в топазовый стакан, пестери около бросит да и стрекочет:

— На дороге лежит, кости волками оглоданы.

Богатырь Денежкин на это и говорит:

— Вот и хорошо, что принесла. Не на то нас с тобой тут поставили, чтоб дорогое по дорогам таскалось. А того скоробогатка не жалко. Все бы нутро земли себе уволок, да кишка порвалась.

Были, конечно, и удачливые добытчики. Немало они рудников да приисков пооткрывали. Ну, тоже не совсем складно, потому — одно добывали, а дороже того в отвалы сбрасывали.

Неудачливых все-таки много больше пришлось. С годами все тропки к Денежкину-богатырю по человечьим костям приметны стали. И около топазового стакана хламу много развелось. Добытчики, видишь, как дорвутся до богатства, так первым делом свой инструментишко наполовину оставят, чтоб побольше рудяных денег с собой унести. А там, глядишь, каменная сорока их сумки-котомки, пестери да коробья обратно притащит, деньги в стакан ссыплет, а сумки около стакана бросит. Старик Денежкин на это косился, ворчал:

— Вишь, захламили место. Стакана вовсе не видно ста-

ло. Не сразу подберешься к нему. И тропки тоже в нашу сторону все испоганили. Настоящему человеку по таким и ходить-то, поди, муторно.

Убирать кости по дороге и хлам у стакана все-таки не велел. Говорил сороке:

— Может, кто и образумится, на это глядя. С понятием к богатству подступит.

Только перемены все не было.

Старик Денежкин иной раз жаловался:

— Заждались мы с тобой, Стрекотуха, а все настоящий человек не приходит.

Когда опять уговаривать сороку примется:

— Ты не сомневайся, придет он. Без этого быть невозможно. Крепись как-нибудь.

Сорока на это головой скоренько запокачивает:

— Верное слово говоришь. Придет!

А старик тогда и вздохнет:

— Передадим ему все по порядку — и на спокой.

Раз так-то судят, вдруг сорока забеспокоилась, с места слетела и засуетилась, как хозяйка, когда она гостей ждет. Оттащила все старательское барахло в сторону от стакана, очистила место, чтоб человеку подойти, и сама без зову на левое плечо богатырю взлетела да и прихорашивается.

Денежкин-богатырь от этой пыли чихнул. Ну, понял, к чему это, и хоть разогнуться не в силах, все-таки маленько подбодрился, в полный глаз глядеть стал и видит: идет по тропке человек, и никакого при нем снаряду — ни каёлки, то есть, ни лопатки, ни ковша, ни лома. И не охотник, потому — без ружья. На таких, кои по горам с молотками да сумками ходить стали, тоже не походит. Вроде как просто любопытствует, ко всему приглядывается, а глаз быстрый. Идет скоренько. Одет по-простому, только на городской лад. Подошел поближе, приподнял свою кепочку и говорит ласково:

— Здравствуй, дедушка богатырь!

Старик загрохотал по-своему:

— Здравствуй, мил-любезный человек. Откуда, зачем ко мне пожаловал?

— Да вот,— отвечает,— хожу по земле, гляжу, что где полезное народу впусте лежит и как это полезное лучше взять.

— Давно,— говорит Денежкин,— такого жду, а то лезут скоробогатки. Одна у них забота, как бы побольше себе захватить. За золотишком больше охотятся, а того соображения нет, что у меня много дороже золота есть. Как мухи из-за своей повадки гинут, и делу помеха.

— А ты,— спрашивает,— при каком деле, дедушка, приставлен?

Старый богатырь тут и объяснил все — какая, значит, сила рудяных да каменных денежек. Человек это выслушал и спрашивает:

— Поглядеть из своей руки можно?

— Сделай,— отвечает,— милость, погляди.

И сейчас же сбросил свою рукавицу на землю.

Человек взял горсть денежек, поглядел, как они место показывают, ссыпал в стакан и говорит:

— Умственно придумано. Ежели с толком эти знаки разобрать, всю здешнюю землю наперед узнать можно. Тогда и разбирай по порядку.

Слушает это Денежкин-богатырь и радуется, гладит сороку на плече и говорит тихонько:

— Дождались, Стрекотуха, настоящего, с понятием. Дождались! Спи теперь спокойно, а я сдачу объявлю.

Усилился и загрохотал вовсе по-молодому на всю округу:

— Слушай, понимающий, последнее слово старых каменных гор. Бери наше дорогое на свой ответ. И то не забудь. Под верховым стаканом в земле изумрудный зарыт. Много больше этого. Там низовое богатство показано. Может, когда и оно народу понадобится.

Человек на это отвечает:

— Не беспокойся, старина. Разберем как полагается. Коли при своей живности не успею, надежному человеку передам. Он не забудет и все устроит на пользу народу. В том не сомневайся. Спасибо за службу да за добрый совет.

— Тебе спасибо на ласковом слове. Утешил ты меня, утешил,— говорит старый богатырь, а сам глаза закрыл и стал

гора горой. Кто его раньше не знал, те просто зовут Денежкин камень. На левом скате горы рудный выход обозначился. Это где сорока окаменела. Пестренькое место. Не разберешь, чего там больше: черного ли, али белого, голубого. Где хвостовое перо пришлось, там вовсе радуга смолой побрызгана, а черного глаза в веселом зеленом ободке не видно — крепко закрыт. И зовется то место — урочище Сорочье.

Человек постоял еще, на сумки-пестери, ломы да лопаты покосился и берет с земли богатыреву рукавицу, а она каменная, конечно, тяжелая, в три либо четыре человечьих роста. Только человек и сам на глазах растет. Легонько, двумя перстами поднял богатыреву рукавицу, положил на топазовый стакан и промолвил:

— Пусть полежит вместо покрышки. Все-таки баловства меньше, а приниматься за работу тут давно пора. Забывать старика не след. Послужил немало и еще пригодится.

Сказал и пошел своей дорогой прямо на полночь. Далеконько ушел, а его все видно. Ни горы, ни леса заслонить не могут. Ровно, чем дальше уходит, тем больше кажется.

Повести

ЗЕЛЕНАЯ КОБЫЛКА

ЗА БОЛЬШИМИ ОКУНЯМИ

В то лето, 1889 года, мы усердно занимались рыбной ловлей. Только это уж была не забава, как раньше. Ведь мы не маленькие! Каждому шел десятый год, все трое перешли в третье, последнее, отделение заводской школы и стали звать друг друга на «ша»: Петьша, Кольша, Егорша, как работавшие на заводе подростки. Пора было помогать чем-то семье. И вот мы сидели утрами на окуневых местах, вечерами выискивали ершей, в полдень охотились за чебаками. Наши семейные нередко хвалили за это.

— По рыбу в люди не ходим, свой рыболов вырос,— скажет при тебе мать.

Иной раз отец одобрит:

— Хоть мелконька рыбка, а всё — ушка!

Понятно, что такие разговоры подбадривали нас, но все-таки тут было что-то вроде шутки: говорят, а сами посмеиваются.

Вот бы так наудить, чтобы не смеялись! С полведра бы окуней, да всё крупных! Либо ершей-четвертовиков!

— Давай, ребята, сходим на Вершинки,— предложил вечером Петька.— Вот бы половили! Там, сказывают, всегда клёв. Сходим завтра?

— Не отпустят, поди, одних-то.

— Это уж так точно, не отпустят,— согласился Петька.— А мы так...

— Отлупят тогда.

— Не отлупят. Мы скажем, будто на Пески пошли либо к Перевозной на целый день, а сами туда...

— Наскочишь на кого на перевозе-то... Мало ли наших на Вершинки бегают. Яшку-то Лесину забыл?—сказал Колюшка.

— А мы трактом *.

— Далеко так-то.

— Десять-то верст далеко? Ты маленький, что ли? Не дойдешь?

— Ну-ка, ладно нето,— согласился Колюшка.— Червей надо накопать, а завтра пораньше пойдем. Не проспим?

— У нас Гриньша в утренней смене. Разбудит меня,— успокоил Петька.

Вершинки —это завод на той же речке Горянке, на которой жили и мы. Поселок при заводе был маленький, а пруд гораздо больше нашего, горянского. О рыбалке на этом пруду мы давно думали. Мешало одно — не отпускали. По зимней дороге до Вершинок считалось меньше пяти верст. Летом пешие рабочие ходили через Перевозную гору, от нее переплывали пруд на лодках или пароме и выходили на зимник. Этот путь был немногим больше пяти верст. Но ездить так было нельзя: хлопотливо с перевозом и очень крутой спуск с Перевозной горы. Ездили трактом вдоль пруда. Эта дорога была много длиннее. По ней до Вершинок считалось больше десяти верст. Выбрали мы эту длинную дорогу потому, что

тут не ждали встретить никого из знакомых взрослых. К тому же на перевозе у нас был враг — угрюмый старик перевозчик Яша Лесина. Раз как-то мы угнали у него лодку, так еле улепетнули. Вдогонку еще сколько орал:

— Я вас, мошенников! Поймаю, так оборву головы-то! Тому вон черныщу большеголовому первому!

Колюшка потом, правда, говорил:

— Ну, этак он всем ребятам грозит. Где ему всех упомнить, кто лодку угонит.

Мы с Петькой, однако, побаивались:

— А вдруг узнает! Не зря же он про Петькину голову кричал. Заметил, видно.

Уйти из дому на целый день с удочками было просто. Сказались, что пошли до вечера на Пески, а то и к Перевозной горе. В ответ каждый получил строгий наказ:

— Гляди, чтобы к потемкам домой! Слышал?

Открыто взяли по хорошему ломтю хлеба да по такому же тайком. Каждый не забыл по щепотке соли и нащипал в огороде лукового пера. Червянки были полны, и удочки приготовлены с вечера. Сначала шли хорошо. Было еще рано, хотя уже становилось жарко.

На пятой версте от Горянки есть участок Красик. Тут был когда-то железный рудник, потом около этого места мыли золото, а теперь по красноватому каменистому грунту весело журчали мелкие ручейки. Живая струя в жаркий день кого не остановит! Стали мы собирать разноцветные галечки. Потом кто-то сказал:

— Ребята, а вдруг тут самородок?

— А что ты думаешь — бывает. Поверху находят.

— Вот бы нам! А? Это бы так точно,— сказал Петька.

— Хоть бы маленький!

— Я бы первым делом жерличных шнурков купил. На шестьдесят бы копеек! Три клубка.

— Найди сперва!

Самородок, конечно, не нашли, но по ручьям спустились к пруду, который в этом месте близко подходил к дороге. Как тут не выкупаться! И место как нельзя лучше.

После купанья стали осматривать свои запасы. У каждого

было по два ломтя хлеба, по щепотке соли и по пучку лукового пера. До спасова дня * нам запрещалось рвать лук с головками, но у Петьки все-таки оказалось три луковицы, у меня — две. По поводу моих ломтей Петька заметил:

— Тебе, Егорша, видно, бабушка резала? Ишь какие толстенные.

У Колюшки не было луковиц, да и ломти оказались тоненькими. Петька выбрал самую большую луковицу и протянул ему:

— Бери, Медведко, да вперед учись у больших!

— Ну-к, я, поди-ка, старше тебя.

— На месяц! О чем говорить! Ты вот лучше померяйся со мной! Увидишь, кто больше.

Я отделил Колюшке половину своего ломтя, но уж ничего не сказал. Наши отцы все жили не звонко, но Колюшке все-таки приходилось хуже всех.

Когда так подравняли запасы, все отломили по кусочку.

— Эк, с лучком-то! Это так точно! — воскликнул Петька.

— Здóрово хорошо.

— Промялись. Пять верст прошли.

— Ребята, дорога-то как кружит! Сколько идем, а Перевозная гора — тут она. Совсем близко.

— Сперва ведь Мохнатенькую обходили. Она вон какая широкая!

— Про что я и говорю. От Перевозной к этому бы месту.

Под разговоры о прямой дороге мы незаметно и съели весь хлеб до крошки. У каждого осталась лишь соль — было с чем уху сварить. И посуда была: все трое вместо корзинок тащили на этот раз по ведерку.

Выкупались еще раз, «на дорожку», и пошли. После еды и купанья идти стало легче, приятнее. Стали заглядывать в лес, не попадутся ли ягоды.

Вдруг Петька закричал:

— Ребята, зеленая! У куста села!

И он бросился к кусту, из которого сейчас же выпрыгнула большая ярко-зеленая кобылка. Мы не хуже Петьки знали, что на такую кобылку хорошо берет крупный елец и

чебак, и тоже стали ловить ее. Такая кобылка встречается не часто и очень далеко прыгает. Втроем все-таки одолели, и Петька понес полузадавленную добычу.

Мы ему наказывали:

— Гляди, Петьша, не выпусти! Они страсть живучие!

Петька хвастливо уверял:

— У нас не вырвется! Не такому попала!

Петькино хвастовство показалось обидным.

— Подумаешь! Ловко не выпустить-то, коли я ее раз прихлопнул да другой раз ножку обломил. Куда поскачет хромая-то?

Мы предлагали Петьке: «Давай я понесу», но он важничал, напоминал, что это он увидел и поймал кобылку.

— Вот хвастун! Еще бы не поймать, коли мы ее оглушили! Задается теперь. Да мы такого бараха сколько хочешь наловим.

Не сговариваясь, мы с Колюшкой бросились ловить кобылок. Их было много. Чаще всего попадались жирные желтяки, которые смолку дают. Зажмешь такую в кулак, поскачешь кругом на одной ножке да попросишь: «Кобылка, кобылка, дай мне смолки!» — она и выпустит каплю. Черная, густая, как есть смола! Много было серовиков, каменушек, острого-ловиков. Реже попадались черные летунцы, но зеленой не было.

Петька посмеивался:

— То, да не то. Не то-о!

Зато наша добыча не требовала такой охраны, как Петькина. Сдавишь пойманным головки и бросаешь в ведерко. Там они и ползают вокруг тряпочки с солью и смолку оставляют, хоть их никто не просит.

Мы так занялись ловлей кобылок, что Петька взвыл:

— Ребята, что всамделе! Кобылок мы пошли ловить али на Вершинки за рыбой? Пойдем скорее! Мало ли таких кобылок! Неси мою, кому охота.

— Ага, покорился!

Я осторожно перехватил зеленую кобылку, и мы зашагали по дороге. Вскоре вышли на урочище речки. По настоящему, это два рукава нашего горянского пруда, через кото-

рые переброшены мосты. Один побольше, другой вовсе маленький. Первый прошли спокойно, но на втором остановились. Соблазнило место. В тихой воде были видны заросли щучьей травы, расположенной грядами. По воде плавали на гибких стеблях круглые листья купавок, и везде расходились большие и маленькие круги от плавившейся рыбы.

Как пройти мимо такого места с зеленой кобылкой? Только Колюшка настойчиво твердил:

— Пошли, ребята, до места! Тут вовсе близко, версты, поди, не будет.

Уговорить нас все-таки ему не удалось.

— Мы только попробуем. Скорехонько. Ты иди потихоньку один.

Когда Петька разматывал удочку, Колюшка еще пригрозил:

— Глядите, ребята, заведет вас эта зеленая!

— Куда заведет?

— А вот увидишь. Как вечером драть станут, так поминай меня.

— Тебе какая печаль?

— Ну-к, мне столько же попадет. Знаешь ведь у нас матери? «Заединщина — заодно и получай!» Только и слов у них, а отцы похваливают: «Пущай без обиды растут!» Говори вот вам!

— Не бойся, Кольша! Мы только два разичка. Это уж так точно. Без этого не пойдем.

Петька насадил кобылку, поплевал ей на головку и забросил в середину самого дальнего прогала, какой можно было достать удочкой. Не прошло и полминуты, как поплавок глубоко нырнул, удилище дрогнуло, и Петька, закусив губу, как в драке, выметнул на мост большую рыбину. Это был елец, но Петька для важности назвал его подъязком. Мы не спорили — уж очень крупный елец. Такого можно и подъязком звать. Петьке повезло: зеленая кобылка оказалась нетронутой, и он снова забросил соблазнительную приманку. Но на этот раз с поплавком было спокойно. Петька терпеливо ждал и в утешенье себе говорил:

— Подъязков-то в нашем пруду так точно, а мелочь и подойти боится.

Чтобы не стоять зря, мы с Колюшкой тоже размотали удочки. Колюшка попробовал на червя, и вышло неплохо. Мелкие окунишки брали «по-собачьи», с трудом крючок достанешь. О насадке беспокоиться не приходилось — лишь бы прикрывала жальце крючка.

У меня тоже стали клевать мелкие ельцы и чебачишки. Петька все чаще начал коситься в нашу сторону, но все еще надеялся на свою зеленую кобылку.

— Пф! Мелочь у вас! Такая к моей кобылке небось не подойдет.

Но вот у него потянуло поплавок. Петька насторожился, опять закусил губу, ловко подсек и вымахнул малюсенького чебачишку. Мы с Колюшкой захохотали.

— О-о! Замах большой — добыча малая.

— Вот тебе и боятся!

Петька сорвал с крючка чебачишку, швырнул его в воду, раскрошил и разбросал по мосту свою зеленую кобылку.

— Пошли нето, ребята! Пошевеливайся!

Но у Кольки брали окунишки, и он не прочь бы тут остаться до вечера.

— Клюет ведь. Чего еще? Тут бы поудили — да домой.

— Эх ты, маленький! Шли-шли, до порога не дошли, постояли да назад пошли. Разве это рыба? А там, может, таких надергаем, что ну!..

— Ну-к опоздаем, а мне уж поесть охота.

Упоминание о еде было вовсе ни к чему — есть всем хотелось. В знакомых местах мы хорошо умели узнавать время по солнцу, а здесь как? С моста нам виден был рукав пруда. Извилистые берега так густо заросли ивняком и ольховником, что выхода ни в ту, ни в другую сторону не было видно. Рукав походил на озерко или на зарастающую старицу *. С которой стороны тут восход, где полдень? Спросить бы у кого, сколько времени. На наше счастье, по длинному мосту загремела телега. Ехала какая-то женщина.

— Тетушка, который час?

— Не знаю, ребятишки. Из больницы я. Долго там просидела. Час, поди, пятый, а то и больше.

Ясно, она не знала. Откуда пятый, коли вовсе недавно утро было! Не может быть.

— Опоздаем, ребята! Слышали — пятый час! — попытался отговорить Колюшка.

— Не знает она. Насиделась в больнице — вот ей и показалось. Пошли!

В ЛЕСУ ПОД ВЫСТРЕЛАМИ

В маленьком Вершинском поселке все дома вытянулись одинаркой * вдоль тракта. Ближе и удобнее было идти трактом, но мы побоялись вершинских ребятишек: поколотят да еще удочки поломают. Не любят наших — горянских.

Решили обойти поселок по заогородам, но это оказалось

не очень удобно. Одни огороды были покороче, а другие глубоко уходили в лес. Петька шутил:

— Самые окуневые места! Закидывай, ребята! Вон под сосной щука метнулась! Жерлицу бы тут, а? В самый раз!

Наконец попался какой-то особо длинный участок. Обходили-обходили его и вышли на зимник, по которому летом ходили на перевоз, а зимой ездили.

Широкая полоса зимней дороги между ровными стенами соснового бора оказалась чудесной. Вся она заросла белой ромашкой, сиреневой блошникой, желтой мыльнянкой, голубыми колокольчиками, малиновым иван-чаем. Над хрупкими, осыпающимися цветами мыльнянки вились какие-то редкие пестро-синие бабочки. Около длинных цветов иван-чая жужжали медуницы, гудел шмель, летали мелкие пичужки. По пестрой полянке чернели плотно утоптанные тропинки — «рабочий ход».

— Ребята, обратно этой дорогой пойдем, по рабочему ходу, а?.. Я тут цветков нарву нашей Таютке,— сказал Петька.

— А Лесины не боишься? — спросил Колька.

— Не узнает в потемках-то. Вершинскими скажемся. Перевезет!

Решив так, мы вперегонку побежали по тропинкам. Уж очень они хорошо утоптаны, и так их много. Долгоногий Петька, как всегда, опередил всех нас. Колюшка отстал. Там, где красивая полянка зимника перешла в каменистый пустырь, Петька остановился и закричал:

— Гляди-ка, Егорша, масляник ровно бежит.

Низенький Колюшка и верно походил на молодой, крепкий масляк. Бежал он ровно, подавшись всем телом вперед. Круглая голова и густые, плотно лежащие волосы медного цвета еще больше делали его похожим на грибок, когда он только что вылезает из земли.

— Отстал, маленький?

— Ну-к что! Зато я этак-то хоть версту пробегу, а ты язык высунешь.

— Ну...

— Вот те и «ну»... А ты задерешь башку, руками замашешь... Кто так бегает?

— У тебя поучиться?

— Хоть бы и у меня. Не думай, что ноги долгие, так в этом сила. Дых-от у меня лучше. Вишь, ровно и не бежал, а ты все еще продыхаться не можешь.

Это был старый спор. Петька в нашей тройке был выше всех. Худощавый, длиннорукий, с угловатой головой на длинной шее, он легко обгонял нас. Но бегал он неправильно — закидывал голову и сильно размахивал руками. Оба мы старались уговорить Петьку, чтобы он «бегал по правилу», а Петька щурил свои черные косые глаза, взмахивал головой и говорил:

— Эх вы, учители! А ну, побежим еще.

Под этот спор мы прошли половину пустыря. Тут справа от него выходила торная дорожка с прииска Скварец. Прииск совсем близко. Не только гудки слышно, но шум машины и поскрипыванье камня под дробильными бегунами *.

По этой дороге со Скварца «гнал на мах» какой-то крутолобый старичина в синей полинялой рубахе, в длинном холщовом фартуке, в подшитых валенках, но без шапки. Фартук сбился на сторону и трепыхался, как флаг. Старик был в таком возрасте, в каком обычно уже не гоняют верхом.

Глядя, как он, сгорбившись, высоко подкидывал локти, мы расхохотались, а Петька крикнул:

— Ездок — зелена муха! Пимы́ спадут!

Старику, видно, было не до нас. Он даже не посмотрел в нашу сторону, направляя лошаденку к заводской конторе.

— На телефон пригнал. Случилось, видно, что-нибудь на Скварце,— сделал я предположение.

— Случилось и есть! — подтвердил Петька.— Не без причины караульный пригнал. Это уж так точно.

— Почему думаешь, караульный?

— На̀ вот! Не видишь — старик, в пимах, в запоне. Кому быть?

— Пожар, поди...

— А гудок где? Завывало бы, а видишь — молчит. Нет, тут другое.

— Золото украли?

— Украдешь, как же! Тятя сказывал — большая строгость у них. Стража там, начальство... Подступу нету. Всякого обыскивают. Догола раздевают. Украдешь! Так точно.

— А много на Скварце рабочих?

— С тысячу, а то и больше.

— И все в земле? — спросил Колюшка.

— Ты думал — на облаке? — захохотал Петька.

— Ну-к, мало ли. У машин там либо еще где. А где они живут?

— Казармы там. Помногу в одном доме живут. Больше пришлый народ. Отовсюду. И наши, заводские, есть. Только они домой бегают через перевоз.

По приисковой дороге опять показались две лошаденки, запряженные в песковозки. На той и другой таратайке стояли женщины, размахивавшие концами вожжей. Из лесу наперерез им вылетел на высокой гнедой лошади стражник с зелеными жгутами на плечах и заорал:

— Куда вы? Поворачивай сейчас же!

Женщины что-то кричали в ответ, но нам не было слышно. Потом они поворотили лошадей и трусцой поехали обратно, а стражник направился к конторе. Старик уже вышел из конторы, и около него толпилось человек десять — пятнадцать. Стражник что-то сказал старику. Тот закивал плешивой головой, взобрался с чурбана на лошадь и поехал обратно. На этот раз шагом. Стражник еще что-то говорил около конторы. Часть людей торопливо побежала к поселку, а часть пошла к зимнику. За ними поехал и стражник.

Старик остановился у леса, привязал лошадь к сосне, сел на пенек, достал кисет и стал курить цигарку.

— Это так точно...— проговорил Петька.

— Что — так точно?

— Видел — горная стража выскочила?

— Ну?

— Ну и ну... Только и всего.

На плотине с дребезжаньем прозвучало пять ударов колокола.

— Пошли, ребята! Вон уж сколько часов!

— Верно тетка-то говорила. Опоздаем мы.

— Часика два порыбачим — и домой.

Пруд был тих и пустынен. Только на мостике между ледорезами стоял человек с удочкой да в дальнем заливе виднелся одинокий рыбак на лодке.

Место для рыбалки мы выбрали удачно. Колюшка первый вытащил довольно порядочного окуня. Потом пошло и у нас. Петька уже хвастался:

— Полторы четверти от хвоста до головы! Винтом шел. Еле выволок его!

Два часа промелькнули, как миг. Когда плотинный караульный отдал семь ударов, Колюшка стал сматывать удочки.

— Ну-к, ребята, хватит! Тоже не близко, хоть и по перевозу. То да се — дождемся потемок.

— Испугался?

— Испугался не испугался, а пора. Есть мне охота.

— У тебя только и разговору, что об еде.

— Ну-к, к слову я...

— Опять закословил!

Спускаясь с плотины, мы увидели, что старик сидит на том же пне, а около сосны стоит привязанная лошадь.

— Видно, стражник ему велел дорогу караулить. Оттуда не выпускают, а туда? Пустят — нет?

— Дедко, что там случилось? — крикнул Петька.

— Свинушка отелилась,— откликнулся старик.

— Нет, ты скажи толком.

— Толком — с волком, со мной — шутком.

— Свадебщик, видно,— догадался Петька и звонко закричал: — Ездок — зелена муха! Пимы потерял!

— Я потерял, ты подобрал — кто вором стал? — откликнулся старик.

— Тьфу ты, стара шишига, не переговоришь такого! — плюнул Петька.

Не много успели пройти по пестрой полянке зимника, как где-то близко — нам показалось, в лесу, слева,— раздался выстрел. Было время охоты на боровую птицу, и выстрелы в лесу были не редкостью. Только тут происходило что-то

непонятное. Не прошли и десяти шагов — опять выстрелы. На этот раз часто, один за другим. Снова одинокий выстрел, и опять — раз, два, три...

— Хóду, ребята! — крикнул Петька и бросился с полянки в лес направо, туда, где мы пробирались, когда шли вперед.

На полянке зимника было еще совсем светло, а в лесу уже стало по-вечернему неприветно, глухо, угрюмо.

Бежать лесом с удочками и ведерками не так удобно, и наш Кольша растянулся. Он сломал удилище, поцарапал себе руку и рассыпал своих окуней. Невольная остановка, пока собирали рыбу, нас немного образумила.

Куда бежим? Зачем?

Выстрелов больше не было, и мы отправились обратно к зимнику. На опушке оказался какой-то молодой мужик в розовой, измазанной глиной рубахе. Заметив нас, он негромко спросил:

— Вы куда?

— На перевоз. В Горянку нам.

— Не велено тут! Вон, гляди, стражники...

Вдали мы увидели человек пять стражников. Разъезжал и тот, который заворотил женщин на прииск. Притаившись за деревьями, мы стали спрашивать мужика:

— Дяденька, а как нам в Горянку-то?

— Трактом попытайтесь.

— Тут-то хоть что?

— Ловят одного...

— Кого?

— Ну, начальство знает. Отойдите-ко, а то еще налетит. Вишь, сюда глядит...

— Кто стрелял-то?

— А мне видно? Стражники, поди... Может, и тот стрелял.

— Кто?

— Да которого ловят... Уходите, ребята. Не велено сказывать. Политика он... Поняли? Уходите сейчас же.

Слово «политика» мы слыхали. Взрослые в наших семьях говорили это слово с опаской, потихоньку, но с уважением.

Зато наш уличанский подрядчик Жиган орал на всю улицу, когда рассчитывался со своими рабочими:

— Вы что? Политика али что? Научились, главное дело, в чужом кармане считать! Покажу вот дорожку! Покажу! Становому * сказать — живо отправит. Сибирь-то, она, брат... На всех, главное дело, хватит!

Опять послышались выстрелы. Редкие, гулкие, но тех, коротких и быстрых, на этот раз не было. Стражник на гнедом коне поскакал во весь опор к перевозу.

— Углядел что-то коршун! — промолвил мужик в розовой рубахе.

Выстрелы стали чаще, но всё такие же гулкие.

— Нашли дурака! Так он вам и покажет, где сидит!

— Он где?

— Кто знает, может — в этом лесу, может — давно через тракт перебежал. Ищи тогда! Простоим ночь у пустого места.

— Ты караулишь?

— Поставили, вот и стою. Что станешь делать! А вы лесом-то не ходите, прямо на огороды правьтесь. Перелезете где-нибудь да по тракту и ступайте, а то еще под нечаянную пулю попадете.

Мы послушались совета. Пошли прямо на огороды, перелезли через пря́сло *, прошли лесной участок и вышли на разделанное под огород место. Огород упирался в глухую стену надворных построек, проездные ворота были заперты. Постройки были хорошие, под железными крышами. Видно, это был дом какого-нибудь заводского начальства.

Перешли еще два-три огорода, а все то же: глухая стена построек и запертые ворота. Наконец попался нам «голый дом», у которого стояла одна покосившаяся конюшенка без крыши. Через наружное прясло виден был тракт. Это как раз нам и надо было. И гряды здесь шли вдоль — удобно для выхода.

— Ну-к что, пошли ребята! — И Кольша, помахивая ведерком и обломками удилища, пошел по борозде между картофельными грядами, мы — за ним.

В это время яростно залаяла собачонка, выбежавшая из-за конюшенки. За собачонкой вылетела женщина в синем плат-

ке, с какой-то узенькой крашеной дощечкой, должно быть от кро́сен.

Женщина угрожающе взмахивала дощечкой и кричала:

— Я вас, негодников! Нарву вот крапивы...

Кольша, однако, спокойно шел прямо на женщину. Он у нас всегда такой! Без сноровки и в драку ходил. Мы, конечно, поторопились поддержать товарища:

— Мы, тетенька, не воровать...

— Нам только на улицу перелезть.

— Что вам тут за дорога? — спросила женщина помягче.

— Не пускают зимником-то, велят по тракту. Мы и пошли огородом. Ничего не рвали, хоть обыщи!

Женщина цыкнула на собачонку и совсем спокойно стала спрашивать, чьи мы, как сюда попали и что видели на зимнике.

Когда мы рассказали, женщина раздумчиво проговорила:

— И здесь, поди, вас не пропустят. Возчиков вон всех заворотили. До Речек, слышно, облаву протянули. Недавно ваш горянский на паре лошадей шестерых стражников привез. Как быть-то? Ночевать, видно, вам у меня. А дома-то, поди, ждать будут. Спрашивались хоть у матерей-то?

— Нет, тетенька. Не спрашивались.

— Ох, ребята, горе с вами! На-ко, куда не спросясь убежали! Как теперь, а?.. Темно ведь скоро будет, а то бы по Коровьему прошли, а там берегом. Забоитесь по потемкам-то?

— Не забоимся, тетенька! Не маленькие, поди.

— Видать! Так вы, нето, по заогородам ступайте. Тут их всего восемь осталось. У последнего-то огорода, от крайнего столба, прямехонько идти. Тропки там пойдут к болоту — оно ныне сухое. Ишь, в огороде-то все сгорело. Вдоль того болотца и ступайте. Оно вас к пруду выведет. Там мысок есть. На этой стороне мысок и на той мысок. Это и будет Коровье. Тут хоть широконько, а мелко: коровам по брюхо. Мы тут когда бегаем... в обход мостиков. Много короче выходит. А дальше — тропка, прямехонько к Перевозной горе. Знаете, поди, те места?

На плотине пробило девять. Колюшка не поверил:

— Просчитался дедко. Девять отбил!

— Девять и есть,— подтвердила женщина.

Когда мы пошли обратно к пряслу, она остановила нас:

— Постой-ко, ребята, я вам хоть по кусочку дам. Есть захотели, поди, рыболовы?

Отказываться мы, конечно, не стали, и женщина вынесла нам три ломтика круто посоленного ржаного хлеба.

— Передайте матерям-то поклончик от Настасьи Огибениной. Пущай хорошенько вас надерут! — И сейчас же предупредила: — Вы, ребята, через прясла-то не ползайте. Тут через два огорода такие кикиморы живут. Придумали цепную собаку в огород спускать. Оборвет пятки-то. По заогородам идите! Да не забывайте — от последнего столба прямо. А как переходить станете, на мысок правьтесь. Направо-то глубоко. Не утони́те хоть!

— Мы, тетенька, плавать умеем.

— Сажёнками, по-собачьи, по-лягушачьи. Это уж так точно.

— Вижу, что мастера. По три раза на день таких драть, и то, поди, мало. Ох, ребята, ребята!..

И вот мы опять в лесу, за огородами. Хлеб тетушки Настасьи оказался летучим — в минуту ни у кого не оказалось.

— Лучше бы она и не давала! — печально вздохнул Колюшка, а Петька набросился:

— Ты опять о хлебе! Под ноги гляди. Рыбу не рассыпь. Смотри, тихо, ребята! В оба гляди!

В лесу становилось темно. Трава под ногами потемнела и казалась мертвой. Откуда-то появилось много мелких черных сучьев. Куда ни ступишь — хрустят. Пока пробирались по заогородам, лес был «свечкой», а от крайнего столба пошел «мохнач», какой растет около болот. В таком лесу, да еще с большой примесью мелкого, и днем на пяти шагах человека не найдешь, а вечером и подавно. Тропку все-таки нашли без труда, и она вывела нас к болоту. Идти стало хуже. То и дело под ноги подвертывались узкие сухие кочки с глубокими провалами между ними. Провалишься — и под ногой обязательно хрустнет. Откуда только насыпалось столько всякой дряни! А Петька шипит:

— Ш-ш... ты! Тихо! Слышишь — говорят.

Болото подходило местами близко к тракту. Оттуда вдруг послышались голоса:

— Не иголка, главное дело... Кругом обложено. Укажут ему дорожку, укажут Сибирь-то, она на всех, главное дело, хватит.

— Не горячись ты, сват! Может, он близко где... слышит тебя.

— А я боюсь? Да мне, главное дело, попадись только: сразу — прощай, белый свет...

Дальше не стало слышно, но мы все узнали, что это говорил наш уличанский подрядчик Жиган.

— Откуда тут Жиган? — прошептал Петька.

— Он, может, стражников-то и привез из Горянки. Тетенька про которых сказывала.

— И то... Тихо, ребята!

Болотце пошло влево, и голосов вовсе не стало слышно. Но от этого было еще страшнее. А вдруг заблудились! Уклон стал заметнее. Под ногами захлюпала вода.

— Она говорила, пересохло болото, а тут вода. Неладно, видно, идем,— сказал Кольша.

— К пруду пошло, то и вода. Не видишь — кусты там? Берег, значит... Тихо, ре...

Петька замер, не договорив слово. Остолбенели и мы.

Вправо от нас, прислонившись к сосне, сидел человек. В потемках нельзя было разобрать, молодой или старый, но без бороды и усов. Было видно, что одна нога у него разута, другая в сапоге. Правая рука была под широковерхой фуражкой, которая лежала на земле.

Человек сидел и молчал. Мы тоже молчали. Потом он попросил:

— Хлебца у вас, ребятки, нет? Кусочка...

Эти простые слова сразу успокоили. Даже веселее стало. Все-таки с большим, а то вовсе страшно в лесу.

Узнав, что у нас нет ни крошки, незнакомец стал нас расспрашивать, зачем мы сюда попали, кто наши отцы, где живут, куда мы идем.

Мы наперебой принялись рассказывать, а он то и дело напоминал:

— Потише, ребятки, потише. Не кричите!

Когда мы рассказали, что хотим перейти пруд бродом, незнакомец заговорил быстрее, короче:

— Брод? Где? За этими кустами? Мне бы с вами.

Помолчав немного, незнакомец сказал:

— Ну-ка, ребятки, кто из вас покрепче?

Этот вопрос в нашей тройке давным-давно был решен и сотни раз проверен. Мы с Петькой враз указали на Колюшку:

— Вот, дяденька, он.

— Этот? Всех меньше, а всех сильнее?

— Это уж так точно. Обоих оборает * и на палке перетягивает. Медведком его зовем.

— Медведком? — усмехнулся незнакомец.— Ну-ка, подой-

ди поближе. Встань вот сюда. Попытаем твою силу.— И он положил обе руки на плечи Колюшки, но сейчас же снял.

— Нет, ничего не выйдет. Идите вперед, ребятки, а я волоком за вами.

— Ты идти-то не можешь? — спросил Колюшка.

— То-то, Медведушко, не могу...

— Подстрелили тебя?

— Много узнаешь — дедком станешь. Иди.

— Ну-к, я сапог, нето, твой понесу.

— Это дело.

Незнакомец надел свою фуражку. Под ней оказался большой револьвер. Сунув револьвер в левый карман куртки, раненый лег на правый бок, подогнул, насколько можно, здоровую ногу вместе с прижатой к ней раненой, оперся руками о землю и подтянулся вперед.

В густой заросли кустарника мы нашли извилистую, переплетенную корневищами, но широкую тропу. По ней, видно, спускались коровы, когда стадо пасли на этом лесном участке. Тропа выходила на песчаный мысок, о котором говорила тетушка Настасья. Брод и выход к дому были перед нами.

МИМО ДВОЙНОГО КАРАУЛА

Петька первым выбежал на мысок и сейчас же зашипел на нас:

— Тш... тш... Тише вы! Разговор где-то...

Мы прислушались. Справа как будто доносились голоса, но так смутно, что Колюшка заспорил:

— В ушах у тебя, Петьша, звенит.

— Как не так! Слушай хорошенько. Вот...

На этот раз довольно ясно донесся смех.

Петька побежал к раненому, который с трудом, тихо постанывая, пробирался по коровьей тропе.

— Там, дяденька, разговаривают. Много...

— На том берегу?

— Нет, на этом же, только подальше.

— Ну погоди — сам послушаю, а вы потише.

Раненый подполз к самому берегу и стал прислушиваться.

— Говорят где-то. Не близко только. Это по воде наносит. Потише все-таки нам надо. Как бы не услышали. Ну, кто первый брод пытать будет?

Мы не заставили себя ждать, но Петька все же опередил. Он был уже в воде и хвалился:

— Как щелок, вода-то! Теплехонькая.

— Тише, ребятки! Не булькайтесь! Если глубоко, лучше вернитесь,— посоветовал раненый.

Брод оказался удобным, но в одном месте, ближе к тому берегу, было все-таки глубоко. Переползти тут и высокому человеку было невозможно.

Выбравшись на другой берег, все мы, стуча зубами от холода, первым делом решили:

— Нет, не переползти ему.

— Глубоко. Где переползти!

— Кольше до самого горла доходит. Куда!

Подскакивая на песке, я уколол себе ногу. Ухватившись рукой за больное место, нащупал что-то легонькое. Оказалась сломанная сережка.

— Гляди-ка, ребята!

— Может, золотая?

— Золотая! Кому тут золото терять. Медяшка — это так точно. Пятак пара... Постой-ка, ребята... может, тут перевоз вовсе близко. Сбегать бы поглядеть. Вон она, тропка-то!

— Без рубах?

— Ночь ведь.

— Холодно...

— А мы бегом.

— Ну-ка, а тот?

— Что тот?

— Подумает — убежали...

— Это так точно. Тогда, нето, вот как... Ты ступай к нему, а мы с Егоршей сбегаем. Нельзя ли там лодку подцепить. Так ему и скажи: лодку, мол, искать пошли, а без этого ему не переползти.

— А если вас поймают?

— Без рубах-то?

— Ну...

— Егорша тогда свистнет. Услышишь небось.

— Тогда погодите. Сперва я перебреду. Боюсь я один по воде-то.

Мы подождали, пока Колюшка переходил пруд, потом побежали по плотно утоптанной тропинке. Взошла луна, и по лесу легли белые полосы. Страху все-таки не стало. Мы знали, что позади нас люди и впереди, где-то близко, тоже. Дорожка была удобна. Она вывела нас к тем ручьям, где мы утром искали золото.

— Гляди-ка, Егорша, сколь мы давеча зря колесили. Тут вовсе прямо. А это уж к Перевозной горе пошло. Верно? Узнал место-то? Дураки были — кругом-то шли.

Под ногами пошел плитняк. Надо было выбирать, как лучше ступить, чтобы он не расползался и не гремел под ногами. На этом ползучем плитняке потеряли было тропинку, но вскоре нашли. Дальше опять она пошла хорошо убитая, удобная.

Место здесь было знакомое, и мы почувствовали себя еще лучше.

На перевозе было тихо. Недалеко от перевозной избушки горел костер. У костра спиной к нам сидели двое. В одном мы сразу узнали Яшу Лесину. Другой был незнакомый. Паро́м и все четыре перевозные лодки стояли у этого берега. Паром приходился как раз перед избушкой, а лодки были зачалены вдоль берега, ближе к нам. С краю стояла тяжелая лодка, человек на двадцать. Выбирать, однако, не приходилось: только ее и можно было увести незаметно.

Петька указал пальцем на лодку, и оба мы, прячась за деревьями, стали спускаться к берегу. Осторожно сняли чалку с пенька, еще осторожнее вошли в воду и, пригнувшись за правым бортом, легко сдвинули и повели лодку. Делалось это молчком. Тишину нарушали только всплески крупной рыбы в пруду да глухой гул голосов около костра.

Под ногами опять пошел плитняк. В воде по нему идти было еще хуже. Влезли в лодку, сели за весла и поплыли, стараясь не шуметь. Лодка была тяжела для нас, но все же подвигалась, только виляла: то пойдет вглубь, то лезет пря-

мо на берег. Каждому из нас показалось, что виноват другой, и мы до того забылись, что стали громко перекоряться.

— Потише, ребятки! — образумил нас голос с берега.

Это было так неожиданно, что мы оба чуть из лодки не выпрыгнули. Оказалось, что незнакомец с Кольшей давно услышали нас и сами позаботились найти удобное для причала место. Они выбрались повыше мыска. Незнакомец сидел на береговом камне, а рядом стоял Колюшка со всеми удочками, ведерками и нашей одеждой.

— Кормой подводи, ребятки! — распорядился раненый и, когда лодка зашуршала бортом о камень, похвалил: — В самый раз. Молодцы, ребятки. Замерзли, поди, без одежонки-то?

— Нет, дяденька. Вспотели даже.

— Скажите, как вам лодку пособило увести? Видели кого на перевозе?

Мы рассказали. Раненый спросил:

— Все, говорите, лодки у парома?

— Ну, а как же! Четыре их. Все они тут.

— На том берегу нет?

— Откуда!

— А вы глядели?

— Да не видно там. К кустам-то тамошним вовсе черно.

— Так,— проговорил раненый и еще раз спросил: — Не видно от парома тот берег?

— Нисколечко. Это уж так точно.

— У тебя отец из солдат, что ли?

— Нет, моего отца не брали. Вон у Егорши с Кольшей отцы в солдатах были.

— У них и научился?

— Такточнать-то?

— Ну...

— Да у меня тятенька этак не говорит,— заступился я за своего отца.

— А у меня? Кто слыхал? — отозвался Колюшка.

— Привычка такая... Это уж так точно,— потупился Петюнька.

— Эх ты, голован! Привычка старая, а годы малые! —

рассмеялся раненый.— Ну, вот что, ребятки!.. Оделись? Ставь свои ведерки да удочки в лодку. К перевозу мне незачем. В той стороне, видно, ждут меня. Попытаем по этому берегу. Только вы, чур, молчок. Поняли? Кто бы ни спрашивал — ни одного слова! Ладно?

Нам стало не по себе.

— Теперь садитесь, ребятки, а я потом.

Мы забрались в лодку. Раненый ловко перекинулся с камня на кормовую скамейку и стал готовиться в путь. Он первым делом вытащил из кармана револьвер и положил его на скамейку, под правую руку. Снял куртку и надел откуда-то взявшийся широкий рабочий фартук, повязал лицо платком, будто у него болят зубы. Только узел сделал не сверху, а на самом подбородке. Вместо фуражки надел вытащенную из кармана шляпу-катанку *, в каких ходят на огневую работу *.

У нас начался было спор, кому сидеть на веслах, но раненый строго приказал:

— Без спору! Сам расскажу, как надо.— И велел Петьке сесть к правому веслу, мне — к левому, а Колюшке сказал: — Ты, Медведушко, в самый нос ступай да повыше как-нибудь взмостись. Не упади только.

Когда все приготовления кончились, раненый сильно оттолкнулся веслом от камня. Лодка теперь пошла без виляний и гораздо быстрее, чем у нас с Петькой. Держались не близко к берегу. Там, где берег делает крутой поворот направо, нас окликнули:

— Эй! Кто плывет? Отзовись!

Нас удивило, что незнакомец направил лодку на голос.

Не подплывая, однако, к берегу, он спокойно отозвался:

— Тихонько говори! Вроде объезда мы. Стражники велели объехать.

— Так ведь мы караулим...

— Не верят, видно.

— Сами бы тогда и караулили! Гоняют народ. Мне утром-то, поди, на работу,— сердито сказал голос с берега.

— Нам, думаешь, на полати?

— То и говорю — мытарят народ.

— Кто у тебя с правой-то руки стоит? — спросил незнакомец.

— Поторочин Андрюха, из Доменной улицы... Слыхал?

— Как не слыхал — в родне приходится. А с левой руки кто?

— К перевозу-то? Никого нету. На краю стою.

— Как — нету? Стражники говорили — везде поставлены.

— Слушай ты их больше! Говорю, нету. Кого там караулить? Между зимником и трактом тот сидит. Коли он брод знает, и то не уйти. По всему тракту до самой плотины люди нагнаны и стражники ездят. Не уйти мужику. Вы не слыхали чего?

— Нет, не слыхали. Ты потише говори — не велено нам.

— А ты испугался?

— Что поделаешь! У них палка, у нас затылок.

— То-то у тебя все как онемели! Ты сам-то хоть чей будешь?

— Не признал, видно?

— Не признал и есть.

— Подумай-ко... Делать-то все едино нечего.

— Скажись, кроме шуток.

— Не велено, говорю. Завтра все скажу.

— Шибко ты боязливый, гляжу.

— Да ты не сердись! Говорю, завтра узнаешь, а пока помалкивать станем.

И незнакомец махнул нам рукой — гребите. Мы налегли на весла, и лодка пошла под самым берегом.

На паромной пристани никого не было. Против, на Перевозной горе, все еще горел костер. Когда подплыли ближе к заводу, незнакомец проговорил:

— Ну спасибо, ребятки,— выручили наполовину. Как дальше будем? Еще помогать станете или уж будет? Натерпелись страху-то?

— Пусть другой кто боится. Мы не струсили! — сказал Петька.

— Ты за себя говори, а не за всех.

— Так мы, поди-ка, заединщина,— поспешил я поддержать Петьку.

— Ты что скажешь, Медведко?

— Ну-к, я — как Петьша с Егоршей.

— Тогда вот что, ребятки... Я вам покажу место, где меня искать. Только чтоб никому... Поняли?

Мы стали уверять, что никому не скажем.

— Ни отцу, ни матери. Не то худо будет. Знаю ведь, в которой улице живете.

— Да что ты, дяденька, разве мы такие!

— Ну, мало ли... Славные будто ребятки, да не знаю ваших отцов. То и говорю так, а вы за обиду не считайте. Ну, а если выдадите, беда вам будет.

Когда мы стали уверять, что никому ни за что не скажем, раненый заговорил опять ласково:

— Ладно, ладно — верю. Слушайте вот, что вам скажу. Сейчас мы подплывем к просеке на Карандашеву гору. Тут еще рудник был. Знаете?

— Костяники там много по ямам бывает.

— Ну вот. Против этой просеки я и вылезу. Только не на берегу буду, а постараюсь на ночь переползти к покосной дорожке. Лес там мелкий, да густой. Вот там и буду вас ждать. А вы мне хлеба притащите да черепок какой под воду. Ладно?

Мы, конечно, согласились.

— А как меня искать будете?

— Придем туда, кричать станем, ты и отзовись.

— Вдруг не узнаю ваших голосов, тогда как?

— Тогда... тогда Егорша пусть свистнет. Он у нас первый по улице. Большие против него не могут. Так свистнет — сразу услышишь.

— Нет, ребятки, это не годится. Вы лучше так сделайте. Идите из Горянки по покосной дороге. Как дойдете до Карандашевой горы, до просеки этой, поворотите на нее да к пруду и ступайте — и всё одну песенку пойте. Какую знаете?

— Ну, про железную дорогу:

Полотно, а не дорожка,
Конь не конь — сороконожка...

— Вот... Ее и пойте потихоньку, а я отзовусь. А если не отзовусь — значит, меня тут нет.

— Ты где будешь? — спросил Петька.

— Как придется. Сам не знаю. А теперь приставать станем. Вон она, просека-то.

Высадившись на берег, раненый посоветовал:

— Вы, ребятки, так под берегом и плывите. У крайних улиц где-нибудь и высадитесь. Ваша-то которая?

— Пятая с этого конца.

— Тогда пораньше. А то, поди, ждут вас — заметят. Да лодку-то оттолкните! Ее за ночь к плотине и унесет. Вишь, в ту сторону ветерком потянуло. Не проболтайтесь смотрите!

Оставшись одни, мы долго сначала молчали. Лодка у нас завихлялась. Колюшка перебрался к рулевому веслу, и все это молчком.

Первым заговорил Петька:

— Гляди, ребята, чтоб ни-ни! Колотить дома будут — говори одно: ходили на Вершинки.

— Отлупят все равно.

— Ну-к, про это что говорить...

— Это уж так точно. Готовьсь, ребята! Только чтоб ни словечка про того-то! Да хлеба-то припасайте. Покормят, поди, нас... Отлупят сперва, потом кормить станут. Не зевай тогда! Ты, Егорша, у бабушки еще попроси. Скажи, не наелся. Она тебе еще отрежет, а ты — в карман.

Была глубокая ночь, но в домах кое-где видны были огни. Фабрика молчала — был летний перерыв. Только над домной взлетали столбы искр.

Чем ближе мы подплывали, тем страшней становилось. Вот и Вторая Глинка. Через одну улицу наша Каменушка.

— Правь, Кольша, к плотику. Высаживаться, видно, надо.

Мы высадились на плотик, уложили весла в лодку, повернули ее носом вглубь, оттолкнули от плотика, а сами по гибким доскам вышли на берег. Пройти еще шесть-семь домов до переулка, пересечь Первую Глинку — и мы дома... Никто,

однако, не радовался. Каждый только пошарил в своем ведерке и рыбу покрупнее вытащил наверх.

— Ну-к, я говорил — заведет нас зеленая. Вот и завела!

— Чудак ты, Кольша! Человека из беды выручили, а ты материной трепки испугался.

— А что, если, ребята, это конный вор?

Сначала мы просто опешили от этого вопроса, потом принялись доказывать Кольше, что это он вовсе зря придумал, что конных воров народ ловит, а не стражники, револьверов у конных воров не бывает, а подпилок да веревка.

— Ну-к, я тоже думал — не вор,— успокоил нас Колюшка.— Это он сам, как мы вдвоем-то оставались, все про лошадей спрашивал. Я сказал, что у Жигана девять лошадей, а он говорит — это мне не надо, скажи про рабочих, у кого есть лошадь. Вот я и подумал, на что ему.

— Сказал про лошадей-то?

— Всех перебрал на нашей улице.

— А он что?

— Не знаю, говорит, этих людей.

— Ну, вот видишь! Он знакомого человека ищет и с лошадью. Перевезти его. Это уж так точно. А что, ребята, если Гриньше сказать? Он нашел бы лошадь.

— Выдумал! Тебе что говорили? Если скажешь — я с тобой не заединщик.

— И я тоже.

— Ладно, ребята! Завтра спросим... про Гриньшу-то.

Все это говорилось на берегу. Лодку отнесло так далеко, что едва можно было разглядеть. Домой все-таки надо идти.

Ох, что-то будет?..

ДОМА

У всех нас матери не спали.

Встретили «горяченько», но вовсе не так, как мы ждали. Отцов у нас с Петькой не оказалось дома. По первым же словам мы поняли, где они.

Матери даже не спросили, как бывало раньше, когда мы

опаздывали: «Что долго? где шатался? куда носило?», а сразу перешли к приговорам:

— Я тебе покажу, как за большими гоняться! Будешь еще у меня? будешь? будешь?

— Больших угнали, а ты куда полез? Тебя кто спросил? кто спросил? кто спросил?

— Стражники наряжали? наряжали тебя? наряжали?

— Будешь помнить? будешь помнить? будешь помнить?

Вопросы, по обычаю тех далеких дней, подкреплялись у кого вицей *, у кого — голиком, у кого — отцовским поясом. Мы с Петькой орали на совесть и отвечали на все вопросы, как надо, а терпеливый Колюшка только пыхтел и посапывал. За это ему еще попало.

— Наказанье мое! Будешь ты мне отвечать? Будешь? будешь? Слышь, вон Егорко кричит — будет помнить, а ты будешь? А, будешь? Смотри у меня!

После расправы я сейчас же забрался на сеновал, где у меня была летняя постель.

Петька со своим старшим братом Гриньшей тоже спали летом на сеновале. Постройки близко сходились. У нас был проделан лаз, и мы по двум горбинам легко перебирались с одного сеновала на другой. На этот раз Петька перелез ко мне и зашептал:

— Гриньша тут. Спит он. Потише говори, как бы не услышал. Про Вершинки-то сказал?

— Нет. А ты?

— Тоже нет. Тебя чем?

— Голиком каким-то. Нисколь не больно. А тебя?

— Тятиным поясом. В ладонь он шириной-то. Шумит, а по телу не слышно. Гляди-ка у меня что! — И Петька сунул что-то к самому моему носу.

По острому запаху я сразу узнал, что это ржаной хлеб, но все-таки ощупал руками.

— Этот — большой-то — мне Афимша дала, а маленький — Таютка. Она с мамонькой в сенцах спит. Как я заревел, она пробудилась, соскочила с кошомки, подала мне этот кусок: «На-ка, Петенька!», а сама сейчас же плюхнулась и уснула. Мамонька рассмеялась: «Ах ты, потаковщи-

ца!» Ну, а я вырвался да дёру. Под сараем Афимша мне и подала эту ломотину. Ишь, оцарапнула — это так точно!.. Еще, может, покормят. Не спят у нас. Ну, не покормят — мы этот, Таюткин-то, съедим, а большой тому оставим. Ладно?

Мне стало завидно. Ловко Петьке! У него четыре сестры. Таютка вовсе маленькая, а тоже кусочек припасла. А меня и не покормит никто.

Но вот и у нас во дворе зашаркали по земле башмаками. Петька толкнул меня в бок:

— Твоя бабушка вышла!

Смешной Петька! Будто я сам не знаю. Шарканье башмаков затихло у дверей в погребицу. Скрипнула дверка. Минуты две было тихо, потом послышался голос:

— Егорушко! Беги-ко, дитенок!

Да, бабушку тоже неплохо иметь!

Петька шепчет:

— Ты еще попроси. Не наелся, скажи. А сам не ешь! Почамкай только. Она не увидит.

Быстро спускаюсь с сеновала и подбегаю к погребице. Бабушка нащупывает одной рукой мою голову, а другой подает большой ломоть хлеба.

— Поешь-ко, дитятко! Проголодался, поди? Шуточно ли дело — с одним кусочком целый день. Да не поворачивай кусок-то. Так ешь!

По совету Петьки я начинаю усиленно чавкать, будто ем, и в то же время спрашиваю:

— Ты, бабушка, видела мою рыбу-то?

— Видела, видела... Хорошая рыбка. Завтра ушку сварим.

— Окуня-то видела... большого? Еле его выволок. С фунт, поди, будет. Будет, по-твоему?

— Кто знает... Хорошая рыбка... Как у доброго рыболова.

— Чебак там еще... Видела?

— Ну, как не видела... Все оглядела. Пособник ведь ты у меня! — И бабушка поглаживает меня по голове.

Я все время усердно чавкаю, потом говорю:

— Бабушка, я не наелся.

— Съел уж? Вот до чего проголодался! А мать-то и не подумает накормить! Сейчас я, сейчас... сметанкой намажу... Ешь на здоровье.

В это время хлопнула дверь избы, и мама звонко крикнула:

— Ты, рыболовная хворь! Иди-ко! Сейчас чтоб у меня!

Голос был строгий. Надо идти, а куда кусок, который я держал за спиной! Тут оставить — Лютра схамкает. В карман такой не влезет... Как быть? Сунул за пазуху — сметана потекла! Тоже бабушка! Всегда она так!

На столе оказались горячая картошка с бараниной, творожный каравай и крынка молока. Но приправа была горькая — мама плакала. Лучше бы она десять раз меня голиком, чем так-то. И я тоже разревелся.

— Не будешь больше?

— Не буду, мамонька! Вот хоть что... не буду. Засветло домой... всегда...

— Ну ладно, ладно... Хватит! Поешь вот. Один ведь ты у меня.

После этого я уж мог есть без помехи. На душе светло и весело, как после грозы. Но ведь надо еще тому запасти. Об этом я не забыл, да и забыть не мог: струйки сметаны с бабушкина ломтя стекали на живот и холодили. Было щекотно, но я все время поеживался и крепко сжимал ноги, чтобы не протекло. Как тут забудешь!

Припрятать что-нибудь, однако, было трудно. Мама стояла тут же, около стола, и смотрела на мою быструю работу. Бабушка тоже пришла в избу и сидела недалеко.

По счастью, в окно стукнули. Это Колюшкина мать зачем-то вызывала мою.

Тут уж надо было успеть.

Я ухватил два ломтя хлеба и сунул их за пазуху, а чтобы не отдувалась рубашка, заправил их по бокам. Быстро выбросил из правого кармана все, что там было, и набил его картошкой с бараниной. С левым карманом было легче. Там лишь берестяная червянка. Вытащить ее, выгрести остатки червей, наполнить карманы рыхловатым, тепловатым караваем — дело одной минуты. Когда мама вернулась, я был сыт

и чувствовал бы себя победителем, если бы не проклятая сметана. Она уже ползла по ногам, и я боялся, что закаплет из левой штанины.

— Зачем Яковлевна-то приходила?

— Молока крынку унесла, Колюшку покормить. Ушка, говорит, оставлена была, да кошка добылась. Ну, а больше и нет ничего. Картошка да хлеб, а накормить тоже охота рыболова-то своего.

— Как ведь! Всякому охота своего дитенка в сыте да в тепле держать... Трудное у Яковлевны дело. Пятеро, все мал мала меньше, а сам вовсе старик. Того и гляди, рассчитают либо в караул переведут... На что только другой раз женился!

— Подымет Яковлевна-то. Опоясками да вожжами все-таки зарабатывает.

— Работящая бабеночка... что говорить, работящая, а трудненько будет, как мужниной копейки не станет. Ой, трудненько! По себе знаю.

Мне давно пора было уходить. Под разговор мамы с бабушкой я думал убраться незаметно, но мама остановила вопросом:

— Егоранько, вы хоть где были-то?

Вопрос мне вовсе не понравился. Неужели Колюшка про Вершинки выболтал? Как отговориться?

— Рыбачили мы...

— В котором, спрашиваю, месте?

— На Песках сперва... Тут Петьша подъязка поймал.

— Ну?

— А я окуня... большого-то...

Мама начала сердиться:

— Не про окуней тебя спрашиваю!

Но тут вмешалась бабушка:

— Да будет тебе, Семеновна. Смотри-ко, парнишка весь ужался, ноги его не держат... Выспится — тогда и расскажет. Ночь на дворе-то. Светать, гляди, скоро будет... Иди-ко, Егорушка, поспи.

Хорошая все-таки бабушка у меня! Когда подходил к порогу, она потрепала по спине и ласково шепнула:

— В сенцах-то, над дверкой, кусок тебе положила. Ты его возьми с собой, а утром съешь. Тихонько бери, не перевертывай.

— Со сметаной?

— Помазала, дитятко, помазала... Неуж одному-то внучонку пожалею... Что ты это! Что ты!

Я и без того знал, что бабушка не жалела. Очутившись в темных сенцах, первым делом полез рукой в левую штанину, чтобы остановить липкую сметанную струйку. Сметана будто ждала этого и сейчас же поползла еще сильнее во все стороны. Пришлось вытащить кусок и заняться настоящей чисткой — смазывать на пальцы и облизывать.

Тихо сидя на приступке, я слышал, как мама говорила:

— Из сыромятной кожи им надо карманы-то шить. Видела, как оттопырились? Чего только не набьют!

— Ребячье дело. Все им любопытно.

— А мнется что-то. Не говорит, где был. У Яковлевны-то эдак же. Знаешь ведь, он какой: не захочет, так слова не добьешься.

— Наш-то простой. Все скажет.

— Попытаю вот я завтра.

— Да будет тебе! Парнишко ведь — под стекло не посадишь.

Просто замечательная бабушка! Все как есть правильно у ней выходит.

Кусок с наддверья я снял и сложил с тем, что вытащил из-за пазухи. Теперь у меня четыре куска да оба кармана полны. Ловко! Куда только это? Изомнется, поди, в карманах-то... С ребятами надо сговориться, как завтра отвечать. С Петьшей нам просто, а вот как Кольшу добыть?

Через широкую щель забора поглядел к ним во двор. В избе все еще огонь. Колькина мать сидит за кроснами, ткет тесьму для вожжей. Спит, видно, Колька. В сенцах ведь он. Разве слазить? В это время у них скрипнула ступенька крыльца. Идет кто-то. Не он ли?

— Кольша, Кольша! — зашипел я в щель.

— Ну?

— Иди к нам спать! Петьша у нас же.

— Ну-к что, ладно. Мамонька до утра не увидит...— И Колька осторожно перелез через забор.

Петька был уже на нашем сеновале и встретил ворчаньем:

— Ты что долго? Разъелся без конца! Я уж давным-давно поел. Чуть не уснул, а его все нет! Достал хоть что-нибудь? Для того-то?

— Мы да не достанем! Четыре куска у меня. В одном кармане баранина с картошкой, в другом — каравай. Вот! — хлопнул я по карману.

— Молодец, Егорша! А я подцепил вяленухи два куска да полкружки горохового киселя. Тут, в сене, зарыл! Ну, хлеба не мог. Это так точно. Только и есть, что те два куска. Таюткин да Афимшин. Хватит, поди? Кольше вот не добыть. Плохо у них.

Колюшка, которого Петька не заметил до сих пор, отозвался:

— Картошка-то есть, поди, у нас. Семь штук в сенцах спрятал.

— Кольша! — обрадовался Петька.— Тебя-то и надо. Ты про Вершинки не сказывал?

— Нет, не говорил.

— Вот и ладно. Мы с Егоршей тоже не сказывали. Теперь как? Меня спрашивают, где были, а я и сказать не знаю. Про то, про другое говорю...

— У меня этак же. Мама спрашивает, сердиться стала, а я верчусь так да сяк,— отозвался я.

— Кольша, тебя мать-то спрашивала? Потом-то, как кормила?

— Спрашивала.

— Ты что?

— Ну-к, я сказал...

— Что сказал?

— Сказал... промолчал...

Это показалось смешно. Мы расхохотались. На соседнем сеновале завозился брат Петьки — Гриньша — и сонным голосом проговорил:

— Вы, галчата! Спать пора. Скажу вот...

Гриньша уснул, но мы уж дальше разговаривали шепотом. Сложили все запасы в одно место и уговорились завтра идти не рано, будто за ягодами.

Если будут спрашивать о сегодняшнем, всем говорить одно: удили у Перевозной горы, потом увидели — народ бежит, тоже побежали поглядеть, да на тракту и стояли. Ждали, что будет, а ничего не дождались. Так и не узнали. Говорят, кто-то убежал, его и ловили. Неугомонный Петька хотел было еще уговориться:

— А где мы зеленую кобылку ловили?

Но тут стал всхрапывать Колюшка. И у меня перед глазами стала появляться тихая вода, а на ней поплавок. Вот пошел... пошел... а!..

Петька все еще что-то говорит. Опять тихая вода, а на ней поплавок... Потянуло... Окунь! Какой большой! Тащить пора, а рука не подымается...

ЗАГАДОЧНЫЙ ТУЛУНКИН

Утром, когда пили чай, пришел отец. Пришел усталый, но веселый и чем-то довольный. Сел рядом со мной, придвинул к себе:

— Ну как, рыболов, дела-то? Много наловил?

Я готов был сейчас же бежать на погребицу за рыбой, но отец остановил, а бабушка сказала:

— Сейчас ушку варить станем. Страсть хорошая рыбка! Окуньки больше.

— Ты лучше спроси, в котором он часу домой пришел,— вмешалась мама.

— Опоздал, видно? Насыпала, поди, мать-то, а? Она, брат, смотри!

— Вот и пристрожи у нас! Бабушка — потаковщица, отец — хуже того.

— Вишь, вишь, какая сердитая! — подмигнул мне отец.— Гляди у меня, слушайся! Я вон небось всегда слушаюсь. Как гудок с работы — я и домой, и уходить никуда неохота. Покрепче тебя, а сижу, а ты вот все бродишь. Туда-сюда тебе надо. Сегодня куда собрались?

— По ягоды, тятенька. За Карандашиху думаем.

— И то дело. Скоро ягоды-то от нас убегут, а рыба останется. Успевать надо. Только домой засветло приходи. Ладно? Не серди мать-то!

— Да будет тебе! Скажи хоть, куда вас гоняли?

— Дорогу да лес караулили.

— Что их караулить-то?

— Станового спроси, ему виднее. Так и сказал: «Этих поставить караулить лес и дорогу». Ну, мы и караулили.

— И что?

— Да все по-хорошему. Дорога на месте, и сосны не убежали...

— Без шуток расскажи, Василий,— попросила мама.

А бабушка заворчала:

— Что, в самом деле, балагуришь, а про дело не сказываешь!

— Нельзя, мать, про это дело без шуток рассказать. Коли дурак делает, так всегда смешно выйдет. Придумали тоже — народ выгнать политику ловить! Как же! Пусть сами ловят!

— Какую политику?

— Да, видишь, на Скварце — на золотом-то руднике под Вершинками — появился человек один. Из пришлых какой-то. Под землей работал, как обыкновенно. Вот этот пришлый и стал с тем, с другим разговаривать про тамошние дела. Стал около него народ грудиться. Стража-то горная побаивается под землю лазить, им и вольготно там. Соберутся

да и судят. Про штрафы там, про обыски... ну, про все рабочее положение и как лучше сделать. Кто-то все-таки унюхал про это. Из начальства. Вчера, сказывают, как из шахты народ подыматься стал, его и хотели взять, а у него револьвер оказался. Стражники-то — они на голоруких храбрые, а этой штучки боятся — выпустили. Он в лес. Стражники давай стрелять в него, он опять в них. Перепалка вышла. Говорят, будто ему ногу подшибло пулей.

— Поймали его?

— Зачем поймали? Ушел...

— С подстреленной ногой?

— Может, это еще вранье — про ногу-то... Говорю, ушел, да и как не уйти, коли стражники сами боятся в лес заходить! А нам зачем этакого человека ловить?

— Вы по лесу и ходили?

— Вроде облавы сделано было. Он, видишь, в том лесу был, между зимником да трактом, под самыми Вершинками. В пруд этот лесок выходит. Вот его и оцепили и по тракту до плотины народ поставили. В случае если пруд переплывет, так тут его и схватят. Мы с Илюхой против Перевозной горы пришлись. Только и видели, что стражники по дороге ездят да покрикивают: «Эй, не спишь?» А сами-то и проспали. Он знаешь что сделал?

— Ну?

— Переплыл, видно, пруд да к перевозу и пробрался. Там взял лодку — потихоньку — да прудом прямо к господскому дому. Ищи теперь! На Яшу Лесину приходят, почему лодку не уберег. а он говорит: «Тут три стражника сидело, я и не караулил. Они спать завалились, а я сиди! Как бы не так!» Лодку-то оглядывают теперь, не осталось ли следов каких... Подходили мы с Ильей. Сережку какую-то там нашли да панок-свинчатку *. У нашего Егораньки такой же есть. Зеленым крашен.

— Ты, Егорушко, этот панок выбрось и не сказывай, что у тебя такой был,— посоветовала бабушка.

Отец расхохотался:

— Что ты, мать! Не будут же ребячьи бабки перебирать. Мало ли крашеных панков.

Отцовский смех меня успокоил. Надо все-таки ребятам сказать, чтобы про мой зеленчик не поминали. Будто я еще с весны его проиграл. Эх, какой паночек-то был! И как это он выскользнул?

Успокоенный, я стал собираться.

Бабушка, как всегда, отрезала мне хлеба, а мама напомнила:

— Смотри, не по-вчерашнему! Глубоко-то от дороги не ходите. Там и ягод нет. К пруду ближе держитесь.

Колюшка уже поджидал на завалинке, но Петьки еще долго не было. Мы понимали, почему он долго не выходит. Ему надо незаметно пронести корзинку с запасами для раненого. Петька же взялся разыскать посудину, которую мы могли спокойно оставить. Ждали терпеливо. Петька вылетел наконец и сразу набросился на нас:

— Вы что тут расселись, ровно воробьи на жердинке! Про Сеньку-то узнали? Может, он с голубятни караулит, а они сидят! Драться-то, поди, нам сегодня не с руки! Беги, Егорша, хоть к Потаповым ребятам. Посмотри из огорода, не видно ли Сеньки либо еще каких первоглинских.

— Ну-к, что бегать-то, так пройдем.

— Говорю — не с руки нам сегодня драться.

В это время из проулка показалась лошадь, запряженная в телегу. На телеге — старик и три женщины, за телегой — привязанная хромая лошадь. Это был удобный случай. Мы сейчас же забежали с левой стороны и пошли рядом с телегой, один за другим.

Немолодая женщина спросила:

— За какими, ребята, ягодами-то?

— Какие попадут.

— За брусникой-то рано ведь.

— Черника еще попадает. А вы куда?

Этот разговор был нам тоже на руку — будто мы знакомые. Нам надо было со взрослыми пересечь улицу Первую Глинку.

В Горянке тогда был дикий обычай: ребятишки одной улицы были в постоянной вражде с ребятами двух соседних

улиц. Почем зря тузили один другого за то, что живут на улицах рядом.

В той стороне, куда мы шли, врагами нашими были ребята Первой Глинки. Во Второй Глинке уже были наши друзья, которые тоже воевали с Первой Глинкой.

В Первой Глинке, у самого переулка, справа, жил наш заклятый враг — Сенька Пакуль. Это был рослый, красивый, ловкий и очень сильный мальчик наших же лет. Но в школе он не учился. Совсем еще маленьким он упал и прикусил кончик языка. Речь у него стала невнятной, над ним смеялись. Из-за этого Сенька и не учился в школе, а ходил учиться к какой-то старинной мастерице. Наших ребят он особенно не любил. Готов был целыми днями сторожить, чтобы поймать и поколотить кого-нибудь из наших, если узнавал, что прошли в их сторону.

Не дальше трех дней тому назад нашей тройке удалось поймать Сеньку Пакуля с его другом Гришкой Чирухой, и мы их жестоко побили. Нелегко, конечно, это досталось. У Кольши появился пяташный синяк, у меня удвоилась губа, но больше всех пострадал Петька — у него были разорваны новые штаны. Как бы то ни было, мы все-таки победили, и Петька похвалялся:

— Будет помнить Сенька-то, как наших бить! Задавалко худоязыкое! Еще кричит — выходи по два на одну руку! Вот те и по два! Получил небось. А этой поганой Чирухе я еще покажу, как новые штаны рвать!

Мы теперь и боялись, как бы Сенька с товарищами не отплатил.

Обошлось, однако, по-хорошему. Только один парнишка увидел нас и заорал:

— Эй, лебята, Сестипятка идет! Сестипятка! С Каменуски, Сестипятка!

Парнишка был нам не ровня. С такими не дерутся. Мы только сделали ему знак пальцем — утри сопли, да Петька крикнул:

— Эх ты, сосунок! Говорить не научился!

Никого из ребят нашей ровни не было видно. Мы, конечно, больше поглядывали в сторону голубятни Сеньки Паку-

ля и пятистенника, где жил Гришка Чируха. Но тоже никого. Только уж когда подошли ко Второй Глинке, из-за угла выглянула лисья морда Гришки. Петька погрозил ему кулаком:

— Я тебя научу штаны рвать!

Дальше шли вовсе спокойно.

— Ну-ка, ребята, пошли поскорее. Сами-то небось наелись, а он голодом.

— Верно, пошевеливаться надо.

Мы зашагали быстрее. Покосную дорогу через речку Карандашиху мы знали хорошо, первую просеку—тоже. Но чем ближе подвигались, тем больше тревожились.

Хотели поскорее увидеть, что раненый тут, никто его не захватил, и мы всё больше и больше поторапливались. Около просеки уже бежали бегом. Свернули налево и сейчас же запели про железную дорогу. Спели раз, другой — никого. Мы продолжали петь. Опять никого.

— Вон пруд, ребята, видно, а его нет. Говорил — за Карандашеву гору проползет. Как же так? Она, видишь, кончилась. Искать надо. Может, тебе, Егорша, свистнуть?

— Дойдем сперва до пруда,— предложил Колюшка.

— Что там делать-то? Говорил — в мелком лесу, а там видишь какой! Голова!

— Вот тебе и голова! Помните, сказал — до конца идите?

Опять запели про сороконожку и пошли к пруду. Вблизи берега, где лес совсем редкий, наш раненый отозвался. Где он? Близко вовсе, а не видно. За деревом, что ли? Но вот зашевелилась куча хвороста. Вон он где!

— Не мог, ребятки, выше-то уползти. Что-то плохо мне,— сказал незнакомец, когда мы подбежали к нему.— Воды принесите кто-нибудь.

Петька вытряхнул перед раненым смесь горохового киселя с бараниной и творожником, выложил ломти хлеба и побежал с бураком к пруду.

— И поесть принесли. Вот спасибо, ребятки! Да как много!

И он сейчас же схватил ломоть и жадно стал есть. Мы не менее жадно разглядывали своего вчерашнего знакомца. Он

был еще не старый, с короткими черными волосами и широкими бровями. Кожа лица и рук покрыта мелкими черными точками, как у слесарей. Подбородок сильно выдался, а глаза, казалось, спрятались под широким квадратным лбом. Ласковые слова мало подходили к строгому лицу.

— Что глядите-то! — усмехнулся раненый.— Не видали, как голодные едят? Что говорят в заводе про вчерашнее?

Тут я принялся выкладывать, что слышал от отца. Раненый заметно заинтересовался:

— Где, говоришь, отец-то у тебя работает?

Я сказал, что у нас с Петьшей отцы работают в пудлинговом цехе, а у Колюшки — тот всю жизнь на домне.

— Лошадей ни у кого нет?

— Лошадей нет.

— Вот что, ребята... Вы бы мне слесаря Тулункина нашли. В вашем краю живет. На Первой Глинке.

— Приезжий какой?

— Нет, ваш, горянский. Мы с ним вместе в городе работали.

На Первой Глинке, как и на своей Каменушке, мы знали подряд все дома, но Тулункиных там не было. Перебрали по памяти всех — нет Тулункиных!

Раненый, однако, стоял на своем: есть.

— Писал ему раз. Дошло письмо, и ответ получил.

— На Первой Глинке?

— На Первой Глинке. Тулункин Иван Матвеевич.

— Нет, такого не бывало.

Раненый все-таки не верил нам.

— Вы вот что, ребята! Ступайте домой и там узнайте про Тулункина. Сходите потом — только не все, а один кто-нибудь — к этому Тулункину и скажите ему: Софроныч, мол, тебя ждет с лошадью, а где ждет — я укажу.

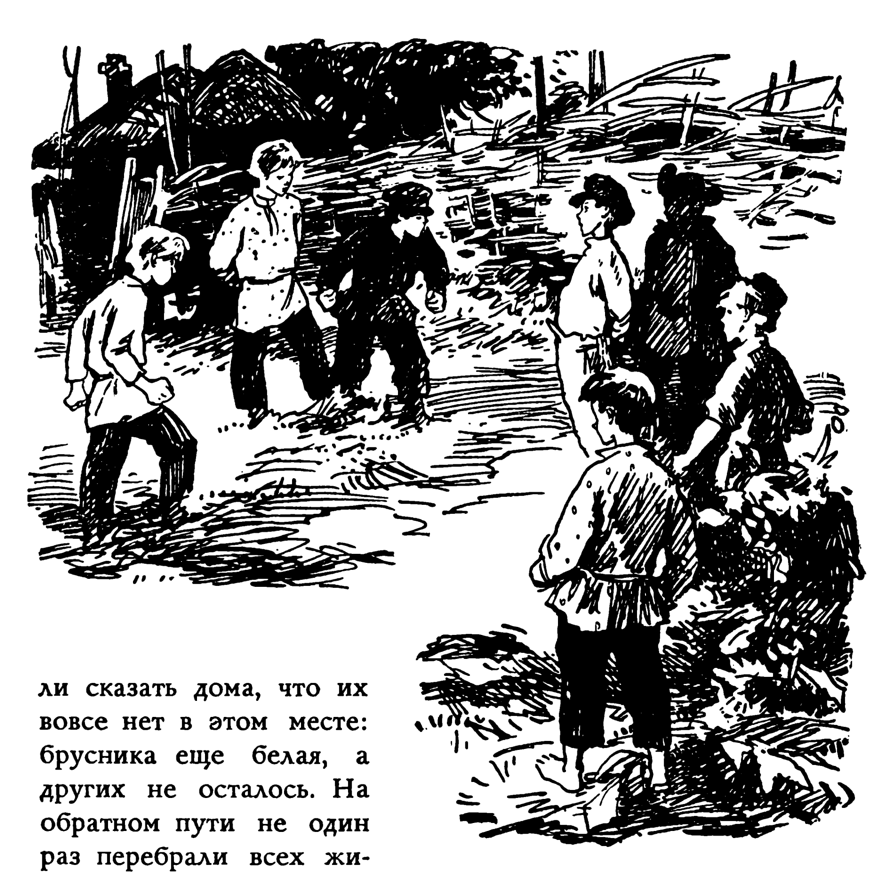
— Дяденька, да нам на Первую Глинку и ходить нельзя.

— Деремся мы с тамошними ребятами.

— Ну, помиритесь на этот случай.

— Легко сказать — помиритесь! Это с Сенькой-то Пакулем да с Гришкой Чирухой! Попробуй!

Мы быстро собрались домой, ягоды не стали брать. Реши-



ли сказать дома, что их вовсе нет в этом месте: брусника еще белая, а других не осталось. На обратном пути не один раз перебрали всех жителей Первой Глинки. Может, пишется кто так? У нас ведь в Горянке чуть не у всех двойные фамилии. Петька вон зовется Маков, а пишется Насонов. Колюшка по-уличному Туесков, а пишется Турыгин. У меня тоже две фамилии.

— Надо, ребята, все-таки узнать про Тулункина.

— Ты сперва про другое думай! — сурово сказал Петька.— Как пройти мимо Глинки? Сенька-то, поди, караулит. Думаешь, Чируха ему не сказал?

— Может, Сеньки и дома нет.

— Все-таки, ребята, пойдем берегом.

— Там скорее нарвешься.

— Мы со Второй Глинки поглядим. Если не купаются —

ходу прямо по воде. Ладно? А Сенька пусть сидит, как сыч, в переулке караулит.

Сенька оказался хитрее.

Только мы поравнялись с Первой Глинкой, как на нас налетело четверо, а сзади, с огородов, еще перелезло трое. Нас окружили. Враги заранее радовались:

— Попалась, Шестипятка!

Но Петька не забыл про разодранные штаны и зверем кинулся на Гришку Чируху. Гришка был слабый мальчик, и Петька с одного удара сбил его с ног.

Колюшка пошел на Сеньку Пакуля, но тот увернулся, ловко подставил ножку, и наш Медведко сунулся носом в землю на самый берег. Меня тузили двое школьных товарищей и уже кричали:

— Корись, Егорко!

Я, конечно, не мог допустить такого позора и отбивался как мог, хотя уже из носу бежала кровь и рука была чем-то расцарапана.

По счастью, Петька изо всей силы залепил камнем в ведро подходившей к пруду женщины. Ведро зазвенело, загрохало и свалилось на землю. Женщина освирепела и бросилась с коромыслом в самую гущу свалки. Мы воспользовались этим и бросились наутек к переулку.

Как раз в это время возвращался лесник верхом на лошади. Ехал он шагом. Это для нас было выгодно. Мы из-за него могли отбиваться камнями, а нашим врагам этого сделать было нельзя. Так и ушли.

Петька мог все-таки утешиться:

— Видели, ребята, как я Чирухе засветил? Два раза перевернулся! Будет помнить, как штаны драть!

Хоть Гришка и не перевертывался двух раз, но нам самим похвалиться было нечем, спорить не стали. Колюшка только вздохнул:

— Кабы нога не подвернулась, я бы ему показал...

— Ежли да кабы стали на дыбы, хвостиком вильнули, Кольше подмигнули...

— У самого-то щеку надуло!

— Это мне Сенька вкатил. Хорошо бьется, собака! Это

так точно. В нашей бы улице жил, мы бы показали первоглинским! А Чируха — язва. Только и толку, чтобы одежду драть. Ему ловко, богатому-то!

— Вот и мирись с ними!

— А надо,— проговорил Колька, растирая медной пуговкой большую шишку на лбу.

— Наставят тебе с другого-то боку!

— Ну-к что, наставят, а мириться надо.

— Да как ты станешь с ними мириться? Покориться, что ли, Первой Глинке?

— Чтобы наши каменушенцы первоглинским покорились! Никогда тому не бывать! Это уж так точно. Гляди, вон Сенька-то задается!

Над угловым домом Первой Глинки, где жил Сенька, взлетела пятерка голубей. Нам с завалинки был виден и конец Сенькиного махала.

— Видишь, голубей выпустил. Хвастается задавалко худоязыкое! Постой-ка...— Петька поглядел на нас, как на незнакомых, потом махнул головой: — Пошли, Егорша!

Он швырнул корзинку тут же на улице и бросился в калитку своего дома. Я не понимал, что он задумал, но тоже побежал за Петькой. Ухватив в сенцах коротенький ломок, Петька полез на сеновал.

Неужели он Гриньшиных голубей спустит? Это было страшно, но я все же полез за Петькой. У нас ни у кого из тройки своих голубей не было, но у Петюнькиного брата Гриньши была пара ручных, подманных. Эту пару хорошо знали по всему околодку. Нам доступа к ней не было. Клетка всегда была на замке, а ключ Гриньша носил с собой.

Петька подсунул ломок, нажал и выворотил пробой.

— Свисти на выгон! — приказал он мне, открывая дверцу клетки.

Я засвистал, и пара, хорошо знавшая свое дело, сразу пошла на подманку, врезавшись сбоку в стайку Сенькиных голубей. На свист выбежала из избы Петькина мать и закричала:

— Что вы, мошенники, делаете? Гриньша-то узнает — задаст вам!

— Он, мамонька, сам велел Сенькиных подманить.

— А как его-то упустите.

— Не упустим! Подсвистывай, Егорша.

С крыши нам видно было, как метались на своей голубятне Сенька и трое его друзей. Залез на голубятню какой-то вовсе большой парень. Все они свистали, подманивали голубей, но напрасно старались: вся стайка слушалась теперь только моего свиста.

Я еще раза три сгонял ее вверх, потом стал свистать на спуск. Петька уже кричал вниз Кольке:

— Тащи решето да сбивай ребят, какие есть! Сенька сейчас драться полезет.

Через несколько минут все было кончено. Гриньшина пара сидела в своей клетке, а Сенькина пятерка трепыхалась в закрытом решете. Только Сенька не лез драться. Он, как потом мы узнали, ревел, как маленький.

— Теперь, ребята, с Сенькой помириться не стыдно,— объявил Петька.

Подождав немного, мы вышли в переулок. Со стороны Первой Глинки там уже были все те ребята, которые недавно нас тузили. Вышел и заплаканный Сенька. Петька звонко крикнул:

— Сеньша, хошь отдам?

— За сколь?

— Так отдам. Без выкупу.

— Обманываешь!

— Нет, по уговору отдам.

— О чем уговор?

— Мириться.

— На сколь дней?

— Навсегда.

— С тобой?

— Нет, со всей нашей заединщиной. Со мной, с Кольшей, с Егоршей.

— А мне как?

— Ты сговорись вон с Митьшей Потаповым, с Лейшей Шубой.

Петька указывал на самых крепких мальчуганов, наших одногодков. Они меня и колотили.

— Не будут если?

— Других подбирай. Только Гришку не надо. Он штаны новые дерет.

Сенька недолго говорил со своими и крикнул:

— Давай!

— Навсегда?.

— Навсегда! — крикнули на этот раз Митька и Лейко.

Мы сбегали за решетом и передали его Сеньке. Тот сейчас же убежал на голубятню, высадил голубей, притащил решето. Начался уговор. Обрадованный Сенька был готов сойтись на пустяках, но все остальные хотели мириться «как следует».

Мирились тогда у нас на «вскружки» — драли один другого за волосы. Вскружки были простые, сдвоенные, с рывком, с тычком, с поворотом, зависочники, затыльные до поясу, до земли.

Сенька сперва сказал — пять простых. Смешно даже! Пять-то простых — это когда из-за пустяковой рассорки дело выходило, а тут вовсе другое: улицы мирились, да еще навсегда! Выбрали для такого случая три самых крепких зависочника да пять затыльниц до земли, чтоб лбом в землю стукнуть.

Встали парами один против другого и начали выполнять уговор. Сначала они раз, потом мы, опять они, опять мы. Сенька из-за голубей и тут хотел поблажку Петьке сделать, да Петька закричал:

— Не в зачет! Сенька мажет!

Дальше уже пошло по совести. Драли друг друга за волосы так, что у всех стояли слезы на глазах. Нельзя же! Мирились не на день, а навсегда, да еще с разных улиц. Дешевкой тут не отделаешься! Составились еще две пары, но Гришку Чируху никто не вызвал.

Когда мир был заключен, решили искупаться на каменушенском берегу. У нас было удобнее, да и Петьке давно хотелось помериться с Сенькой на воде. Только куда Петьке! Сенька и заплывал и нырял много дальше. Потом Сенька бо-

ролся с Кольшей и тоже легко его бросил. Зато на палке Кольша все-таки перетянул. Попыхтел, конечно, а перетянул. Все три раза. Хотели еще проверять — заставляли снова бороться, да Кольша сказал:

— Ну-к, он ловчее, а я сильнее.

На этом и согласились. Медведушко наш, и верно, ловкости большой не имел.

Мы — остальные — тоже боролись и на палке тянулись, но это уж так, для порядку. Зато наши новые друзья заказывали мне:

— Егорша, свистни по-атамански.

Я бы с радостью потешил друзей, но после первого же посвиста из окон ближайших домов высунулись взрослые и на всякие голоса закричали:

— Егорко, уши оборву!

— Свистни еще — я тебе покажу!

— Егорко! Ты опять? Сколько раз тебе говорить, а?

Петька, всегда гордившийся моим свистом больше меня, похвастался:

— По всему заводу против нашего Егорши свистаря не найти! Мешают вот только парню! — кивнул он головой в сторону ругавшихся взрослых и сейчас же громко спросил первоглинских: — Ребята, у вас Тулункины есть?

Сенька с удивлением поглядел на него:

— Ты что, шутишь? Мы — Тулункины пишемся.

— Да ведь вы Кожины!

— Кожины, а пишемся Тулункины.

— Отца у тебя как зовут?

— Иван Матвеич.

— Сеньша, друг! Его-то нам и надо!

— На что?

Этот вопрос смутил Петьку. Он метнул глазами в мою сторону и сказал:

— Егорше вон надо-то... Поклон, что ли, передать.

— Ну, что... Приходи, Егорша, в шесть часов. С работы он придет.

Загадка была отгадана. Тулункина нашли — и вовсе близко.

ВЫСЛЕДИЛИ ДО КОНЦА

До шести еще было далеко, и мы занялись игрой в городки, только перешли на Первую Глинку. У них было гораздо лучше играть, чем на нашем, каменушенском косогоре. В шесть часов я сходил к Ивану Матвеичу. Он только что пришел с работы и умывался у крыльца. Я тут ему и сказал:

— Дяденька, тебя Софроныч с лошадью ждет, а где — я укажу.

Иван Матвеич выпрямился во весь свой высокий рост и так, с мокрым лицом, спросил:

— Какой Софроныч?

— С которым ты в городе работал. Еще письмо он тебе писал...

— Постой... Ты откуда его знаешь?

— Не велено сказывать.

— Да ты чей?

Я сказал. Иван Матвеич торопливо утер лицо и руки, потом сказал:

— Пойдем к отцу. Знаю я его.

Пришли. Иван Матвеич сразу же сказал:

— Мне бы, Василий Данилыч, с тобой надо поговорить.

— Говори тут — некому у нас вынести.

— Нет, все-таки надо бы по тайности.

— Тогда пойдем в огород.

— И парнишку твоего надо.

— Неуж что худое наделал?

— Нет, ровно.

В огороде у нас росло два черемуховых куста, под ними стояла скамейка. Место это называлось садом. Тут и уселись.

Иван Матвеич, понизив голос, проговорил:

— Сынишка твой сейчас мне поклончик передал от человека, которого ему, ровно, знать неоткуда. Стал спрашивать, где видел, а он говорит — не велено. Вот и повел к тебе. Пусть расскажет.

Тут уж пришлось сказать все. Отец пожалел:

— Ох, ребята, ребята, давно бы сказать надо! Хоть мне, хоть Гриньше, хоть Илье. Беги-ка за своими заединщиками да Илью тоже позови. Скажи, дело есть.

Через несколько минут на скамейке прибавился Илья Гордеич, Петькин отец, а мы все трое уселись на земле. Мой отец сам рассказал, как было дело, потом сказал нам:

— Вы, ребята, теперь про это забудьте. Будто и не было. Слышали?

— Без вас того человека уберем,— добавил Илья Гордеич.

— Без нас не найти,— ответил Петька.— Он на нашу песенку отзывается, а вы не умеете.

— Найдем и так. А вы забудьте! Никому чтобы! Панок-то, Егорша, не твой?

— Мой...

— Смотри! Всем говори — давно потерял.

— Я так и думал...

— Ну, а теперь бегите играть.

Когда нас так отстранили, Петька первым делом налетел на меня:

— Распустил язык! Все им сказал. Кто тебя просил?

— Сам бы шел!

— «Сам бы, сам бы»! А ты что?

— А то... Не поверил Иван Матвеич. Пойдем, говорит, к отцу.

— Ну?

— Ну я и рассказал.

— Все, как было? И про место, где он лежит?

— И про место...

— Вот и вышел «малый мой, малый мой, понесу тебя домой»! Теперь, думаешь, они что скажут?

— Так ведь спрячут его.

— Спрячут-то спрячут, да тебе не скажут. Слыхал у них разговоры: «Отвяжись! не твое дело!»

— Узнаем, поди, потом,— отозвался Колюшка.

— Когда узнаем? Как большие вырастем?

В это время отворилась калитка. Вышел Иван Матвеич и не спеша зашагал к своей улице. Вскоре вышли и наши отцы.

Отец Петьки зашел к себе во двор, а мой прошел мимо и повернул в переулок налево.

— Видал? Сговорились уж, а про нас и помину нет! Это так точно.

— Ну-к что...

— Вот те и «ну-к»! Узнать-то охота или нет? Беги, Егорша, за отцом. Если он брать не станет — скажи, в Доменную, мол, надо, а мимо Кабацкой боюсь один. Я к Сеньше сбегаю. Пусть он за своим отцом глядит. А ты, Кольша, тут сиди. Никуда, смотри, не уходи. Если мой тятя куда пойдет, беги за ним.

Своего отца я догнал, когда он поравнялся с соседней, Кабацкой улицей. Отец усмехнулся:

— Тебе куда?

— Я, тятенька, в Доменную... К Силку Быденку...

— Зачем это?

На этот вопрос я не знал, что сказать. Никак не придумывалось.

— Так... Говорят, у него крючки есть...

— Самоловы, поди?

Я обрадовался и принялся врать о крючках, но отец не дослушал:

— Ступай домой.

В голосе не было строгости, и я уже по-простому запросился:

— Я с тобой пойду!

— Нет, Егоранько, нельзя. Потом тебе скажу...

— Когда скажешь?

— Ну, когда надо, тогда и скажу. Ступай! Некогда мне.— И отец нахмурился.

Приходилось идти домой без удачи.

Петьки еще не было. Кольша спокойно сидел на завалинке у Маковых. Я сказал, что отец меня воротил, и в утешенье себе добавил:

— Обещался потом сказать.

— Ну-к, я говорил — скажут. Зря Петьша трепещется.

С этим я не мог согласиться. Когда еще скажут! Надо теперь узнать.

От Маковых вышел Илья Гордеич. Одет он по-праздничному, но как-то чудно́: ворот синей рубашки расстегнут и торчит заячьим ухом, суконная тужурка надета в один рукав, левый карман плисовых шаровар вывернут, фуражка сидит криво и надвинута на глаза. Что это с ним? На ногах нетвердо держится! Когда напился? Сейчас трезвехонек был.

— Что, угланята *, уставились? Пьяных не видали? — спросил Илья Гордеич и, пошатываясь, пошел вверх по улице.

Мы переглянулись и стали смотреть, что будет дальше. Пройдя домов пять, Илья Гордеич совсем по-пьяному затянул:

Ой-да, ой-да за горой,
За круто-о-ой...

Запыхавшись, прибежал Петька и стал рассказывать:

— Сеньшин отец с удочками пошел! В ту сторону... Понятно? Не поймаю ли, говорит, вечером ёршиков, а у самого и червей нет и удочки у Сеньши взял. Рыболов, так точно... У вас что?

Мы рассказали. Петьку больше всего удивило, что отец у него напился.

— Вина-то в доме ни капельки. Знаю, поди. Выдумываете?

— Ну-к, гляди сам. Вон он у Жиганова дома куражится.

— Верно... Пошли, ребята!

Около камней у дома подрядчика Жигана стоял Илья Гордеич и громко спрашивал двух работников Жигана:

— Мне почему не гулять? Сенцо-то у меня видали? Что ему сделается, коли оно у меня под крышей... а? Слыхали про Грудки-то? Нет? Все зароды * в дыму. Не слыхали?

Со двора торопливо выбежал Жиган и, отирая руки холщовым фартуком, спросил:

— О чем ты, Гордеич?

— Тебя не касаюсь... С ними разговор.

Илья Гордеич, сильно шатаясь из стороны в сторону, пошел дальше и опять запел:

Ой-да, ой-да за горо-о-ой...

Жиган поджал губы:

— Напьются, главное дело, а тоже! Что он сказывал?

— Ну, выпивши человек... мало ли сболтнет... На Грудках будто сено горит.

— На Грудках?

— Все, говорит, зароды в дыму.

— На Грудках?

— Так сказывал... Пьяный ведь — что его слушать...

— Тебе, главное дело, горюшка мало, что у хозяина на Грудках три зарода. Работнички!

Увидев нас, Жиган спросил Петьку:

— Был у вас кто нонче?

— Не видал.

— Говорил отец с кем-нибудь?

— Стоял давеча в заулке. Разговаривал с какими-то.

— С кем?

— Нездешние. По-деревенскому одеты. С вилами, с граблями... На паре. Пятеро их.

— Откуда ехали?

— С той стороны,— указал Петька.

— О чем говорили-то?

— Не слушал я.

— Ну и соседи у меня! Им бы, главное дело, худое человеку сделать! Про беду сказать — язык заболит! По пьяному делу разболтался, и то за счастье почитай. Чем, главное дело, я поперек горла людям стал? — И Жиган, потряхивая козлиной бородкой, побежал во двор.

Илья Гордеич между тем перешел на другую сторону улицы и остановился перед окнами чеботаря * Гребешкова. Петька удивился:

— На что ему Гребешков сдался? Сам Гриньше говорил: «Берегись Дятла, наушник он, для виду только чеботарит».

Илья Гордеич сел на завалинку и стал скручивать цигарку. Возился он с этим долго. Бумага не слушалась, табак сыпался на землю. Вышел Гребешков — маленький, вертлявый человечек с большим носом, взял у Ильи Гордеича кисет и бумагу и свернул две цигарки. Было не слышно, о чем они говорили, но вот Илья Гордеич стал стаскивать с левой ноги сапог. Делал он это очень долго. То наклонялся чуть не до самой земли, то откидывался назад. Когда сапог был снят, Гребешков ушел с ним в дом, а Илья Гордеич остался на завалинке. Со двора Жигана вылетела запряженная в телегу пара «праздничных», соловых с белыми гривами и хвостами. На телеге сидели Жиган, двое работников и работница. Телега загремела вниз по улице и свернула в переулок налево. Вышел Дятел с сапогом. Илья Гордеич опять долго возился, надевая сапог, потом притопнул ногой, поднялся и указал рукой на кабак. Дятел что-то говорил, как будто отказывался, но кончил тем, что снял с головы ремешок, которым были стянуты волосы, забросил в раскрытое окошечко, и оба они зашагали к кабаку.

— С Дятлом пошел! Нашел дружка! — осудил Петька своего отца.

Нам тоже было удивительно, что Илья Гордеич вдруг связался с пьянчугой Дятлом. Чтобы ждать было не скучно, мы стали играть шариками с верховскими ребятами.

Становилось темно, когда Илья Гордеич вышел из кабака. Дятла с ним не было. Илья Гордеич, пошатываясь, пошел домой. Песни на этот раз он не пел. Нам пришлось доигрывать, и мы потеряли из виду Илью Гордеича. Как только кончили игру, побежали домой. Остановились у Колюшкиного дома.

— Егорша, давай не будем спать эту ночь. Ладно? Ты за своим отцом гляди, я — за своим. Это будет так точно. Ты, Кольша, тоже не спи!

— А мне за кем глядеть?

— А ты... за нами, чтоб не уснул кто. К Егорше на сеновал приходи.

— Ну-к что... Ладно.

Отца своего я застал дома. Он сидел у огня и подшивал

сапог. Мама готовила ужин, а бабушка вязала. Мама с бабушкой разговаривали, отец молчал.

После ужина я не пошел сразу на сеновал, а притаился во дворе — не услышу ли тут какой-нибудь разговор взрослых. Так и вышло.

Вскоре из дому вышел отец и, попыхивая трубкой, сел на крылечко. Как только на колокольне пробило двенадцать, отец подошел к соседнему забору и тихонько кашлянул. Ему ответили тем же.

— Ну что?

— Разыграл. Жиган угнал на Грудки, Дятел без задних ног. Чуть не две бутылки в него вылил да еще сорок копеек дал. У тебя что?

— Дедушко сам взялся проводить. Говорит, от Карандашихи через Жиганову заимку, потом болотами на Горнушинский прииск, а он чуть не к самой Чесноковской больнице подходит. Двадцати будто верст не выйдет.

— В Чесноковском, сказывают, доктор молодой, а дельный.

— В котором часу Филат Иваныч заедет?

— Велел, как час бить станут, наготове быть.

— Слушай-ка, Василий, не побоится доктор на леченье принять? Дано, поди, знать в Чесноковский.

— Да ведь он по чужому виду * на руднике был прописан. Настояще-то его зовут Михайло Софроныч Костырев. Из Чесноковского он родом-то, только смолоду в городе работает.

Теперь я знал все. С трудом удерживался, чтобы не броситься на сеновал. Еле дождался, пока отец выбивал табачную золу и бродил по двору. На сеновале я хотел было выпалить все Петьке, но он, оказывается, тоже слышал весь разговор.

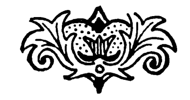
На другой день мы узнали, что Сеньшин отец с утра был на работе, а наших не было до вечера.

Отцу я не напоминал обещания; но осенью, когда мы уже ходили в школу, он сам сказал:

— Вылечили, Егоранько, того...

— Михайла Сафроныча? — не удержался я.

— Ты откуда знаешь, как его зовут?
— Сам тогда сказывал...
— Вам?
— Нам.
— Ой, парень, смотри! Не верю я что-то.
Вечером в бане у Маковых, где Илья Гордеич поправлял зимние рамы, собрались наши отцы и стали «допрашиваться», что мы знаем. Сначала мы отмалчивались, потом это надоело. Петька махнул рукой и выпалил:
— Все знаем. Слышали ваш разговор.
— Чистая беда с вами, ребята! Не сболтните хоть!
— Мы-то? Это уж будьте в надежде! Умерло!
— Умерло! А Гриньше сказывали?
— Гриньше, конечно... Не маленький, поди, он.
— А Сеньше?
— Ну-к, Сеньша заединщик... Навсегда!



ЕГОРШИН СЛУЧАЙ

Из повести „Дальнее — близкое“

Мой отъезд в город на учебу был для ребят нашей улицы большим событием. Все давно знали, что Чернобородый, как ребята звали уездного ветеринарного врача Алчаевского, «берется выучить Егоршу в городе», но все же полной веры этому не было.

— Может, еще раздумает. Мало ли большие обещают?

Теперь это определилось окончательно. Ребятам всей улицы было известно со всеми подробностями:

— Завтра Егорша поедет. В десятом часу. С отцом, с матерью. На дедушковом Чалке, в гоглевском коробке. Дрожки-то у них рябиновые. Сам старик Гоглев делал. Качкие! Егорша до городу сам править будет.

По такому случаю накануне были «прощальные игры».

Вечером долго засиделся со своими заединщиками. Петька откровенно завидовал:

— Не к рукам куделя! Мне бы поехать! Это бы так точно. Знал бы, на какое место поглядеть!

Такое хвастовство в обычных условиях встретило бы ожесточенный отпор, вплоть до рукопашного, но теперь воспринималось вяло. Кольша помалкивал, только при прощании сказал:

— Первым делом чугунку* погляди и железный круг* тоже. Потом расскажешь.

Дома тоже было невесело. Отец, вернувшийся позднее меня, сразу заметил унылое настроение и пошутил:

— Что-то наш городской притуманился. Того и гляди: либо нос зачешется, либо в глаза порошинка попадет.

Бабушка, считавшая эту затею с учебой в городе «немысленным делом», воспользовалась случаем напоследок отговорить:

— Легкое ли дело из своего места в чужие люди поехать. Да еще в этакое страховитое! Я вон восьмой десяток считаю, а в городе только два раза была. Натерпелась страху-то. А тут, на-ко, что придумали. Десятилетка одного в городе оставить! Наговорил тебе Чернобородый четвергов с неделю. Слушай его! Он хоть и ладный, а все-таки вроде барина. Досуг ему за Егорушкой приглядывать. Да и жена, поди-ко, у него есть. Как еще взглянет?

Видя, что речи остаются без ответа, бабушка переменила прицел:

— Чего молчишь? Не смеешь против грамотейки своей слова вымолвить? Нашептала она тебе?

Перекоры по поводу моей учебы случалось слышать не раз. Обычно бабушка «стращала»: «заблудится», «стопчут лошадями», «оголодает», «худому научат». Мама старалась доказать свою правоту, ссылаясь на пословицы: «Ученье — свет, неученье — тьма», «Без грамоты, как без свечки в потемках» и т. д.

Несмотря на резкий и откровенный вызов, мама на этот раз смолчала, и от этого ей стало еще тяжелее. Отец, привыкший строго держаться принятого решения, даже укорил:

— Радоваться надо, а она реветь собралась!

Обратившись к бабушке, попросил:

— Не встревай, мать, в это дело. Сами не железные. Понимаем, сколь сладко одного парнишку из дому отпустить, а надо. Время такое подошло. Без грамоты ходу нет.

Бабушка махнула рукой и, выходя из избы, проворчала:

— Больно умные стали! Своей крови им не жалко!

По уходе бабушки отец примирительно сказал:

— Старый человек, — не понимает.

Мама кивнула головой и подтвердила:

— Жалко ей с Егоранькой расстаться.

Мне приятно, что мама не сердится на бабушку. Чтоб закрепить это, добавляю:

— Это она так. Потом перестанет. Как на рождество домой приеду, по-другому заговорит.

Неожиданно вмешивается отец:

— Ты что это, милый сын? Не успел уехать, а о рождестве думаешь! Этак не годится. Коли за какое дело берешься, так о нем и думай! Тебя, может, не примут вовсе.

Это напоминание встревожило. Представилась картина экзаменов. И вдруг в самом деле не выдержу? Может, не ездить? Бабушка вон как страшно рассказывает. А чугунку поглядеть? Железный круг? Петька что скажет, коли узнает, что струсил? Эта мысль о Петькиной насмешке, помню, была последней в решении вопроса. Больше не колебался. Хотелось только уговорить бабушку, чтобы не плакала и маму не укоряла. Направился к выходу. Отец проговорил вслед:

— Сходи-ко, пошепчись с бабушкой. Надолго ведь разлучиться приводится.

Бабушка оказалась на любимом своем месте, на высоком крылечке амбарушки. Как видно, ждала меня. Крепко прижала к себе и тихонько всхлипнула:

— Ты, Егорушко, не вини меня, старую. Отец с матерью, поди, не худого тебе желают, а только жалко мне, не могу себя сдержать. Вовсе, видно, остарела.

Слова говорились сквозь слезы, но действовали на меня успокоительно. Больше всего меня как раз смущало, что мой постоянный ласковый друг — бабушка была против ученья.

Теперь я слышал другое, и это меня радовало. Я стал повторять то, что говорила мама при столкновениях с бабушкой: «Ученье — свет...», «Без грамоты, как без свечки...» И было непривычно, что бабушка соглашалась с тем, что постоянно вызывало ее возражения. Кончилась наша беседа обычно:

— Постой-ко, дитенок, оголодал, поди? Утром заторопился к ребятам, плохо поел, а обед пробегал. Пойдем покормлю. Оставлено у меня в печке. Похлебаешь горяченького да и спать. Завтра хоть не рано выезжать, а все лучше вовремя-то выспаться.

Волнения дня закончились крепким ребячьим сном. Проснулся позднее обычного и был огорчен, что отец уже ушел за лошадью.

Хотел бежать вдогонку, но мама удержала:

— Давненько ушел. Того гляди, подъедет.

Так и вышло. Только выбежал на улицу, как мои заединщики, стоявшие на углу, закричали:

— Едут, едут! Дедушко тоже. Проводить тебя захотел!

Дедушка, как всегда, пришучивает:

— Вовсе сам надумал учиться. С Егоршей поеду. Поглядим еще, кого примут. Забыл вот только, сколь пятаков в девяти гривнах.

— Восемнадцать,— дружно ответили мы всей тройкой.

— Вишь ты!— сделал удивленное лицо дедушка.— А я считал, без гривенника рубль.

Приезд был сразу замечен по всей улице, и вскоре около нашего дома собралась толпа ребят — моей ровни и малышей. Всем интересно было взглянуть, как «Егорша поедет». Для меня тоже это был первостепенный вопрос, заслонивший все остальное. Как-никак надо было выехать не хуже людей, а дедушкин Чалко не отличался честолюбием по части бега, не стремился показывать резвость, да и не по годам ему это было. Даже дедушка, крепко любивший своего старинного друга, не решался приписывать ему беговые качества, называл Чалка «шаговой лошадью». Причем, конечно, давалась сравнительная оценка:

— Которые вон и рысью бегут, да мелко шагают. На то

же и выходит. А мой податно идет. Хоть в гору, хоть под гору — ему все едино, — на воз не оглянется.

Это была явная неправда. Я хорошо знал, что под гору Чалко любил поскакать козлом, а на гору поднимался охотно лишь с разбегу, а дальше начинались длительные остановки. И хуже всего, что дед отвергал употребление хлыста «для этакой-то лошадки». При таких условиях подумаешь, как быть, а Петька еще наговаривает:

— Припусти, Егорша, мимо Кабацкой-то! Пусть пылью чихнут! Припустишь?

Одна надежда была, что начало пути совпадало с дорогой к дому, куда Чалко шел всегда оживленно. Может быть, хоть этим удастся прикрыться, а то обвинят в полной неспособности к кучерскому делу.

Вторым, не менее трудным вопросом оказалась подушка на кучерском сиденье. Дедушка набил мешок сеном и говорит: «Как раз», а ребята смеяться станут: «Маленький, без мяконького ехать не может». Ожесточенный спор с дедушкой кончился вмешательством отца, который дал спору неожиданный поворот:

— Не бойся, не свернешься с подушки. Тихая лошадь, не разнесет.

Мы оба запротестовали. Дедушка напомнил, что Чалко, конечно, шаговая лошадь, но за себя постоит. Я стал доказывать, что нисколечко не боюсь. Отец подтвердил дедушкины слова: «Я и говорю — не разнесет» — и сделал вывод для меня: «Коли не боишься, так и спорить не о чем». Улыбнувшись, добавил: «Дорожные всегда так делают».

Хитрый он! Верно, скажу ребятам: дорожным так полагается. Не поверят, поди? Скажут, что земские ямщики без подушки ездят. Так то ямщики! И тоже на сиденье подкладывают. Во всяком случае, подушка меня больше не волновала. Зато выезд не шел из ума. Когда садились «перекусить на дорожку», успел незаметно сбегать во двор и убрать брошенное Чалку сено: наестся, так и домой не побежит, а ребята скажут: не умею править.

Еда проходила скучно. Даже всегда шутливый дедушка на этот раз наставлял:

— Гляди, Егорша, учись порядком! Слушай, что учителя говорят. Не шали! Наше дело — не барское. С пóтовой копейки учить тебя отец с матерью собираются. Ты это помни! Городским тоже не поддавайся.

Бабушка твердила свое:

— Не бегай далеко от места, в каком жить придется.

Но вот эта тоскливая еда кончилась. Выйдя из-за стола, снова сели перед дорогой, перекрестились и стали «выноситься». Гоглевский коробок не отличался отделкой, он был сделан хозяйственно, то есть прочно и просторно. Мешочек с моим имуществом, корзина с «подорожниками», мешок с овсом для Чалка, несколько охапок сена «на первый случай» — все это не особенно «стеснотило» моих родителей. Пока дедушка с отцом заворачивали Чалка, я выбежал на улицу, простился «за ручку» с товарищами и услышал последний наказ:

— Замечай в городе-то, как там. Против Кабацкой-то припусти!

Потом торопливо чмокнул бабушку, подбежал к деду, который ласково похлопал по спине и посоветовал:

— На спусках покрепче сиди! Упирайся в подножку-то, а то холку набьет.

Наступил ответственный момент выезда. Сиденье казалось высоким, ноги едва доставали подножку. Уселся все-таки по полному правилу, подобрал вожжи. Дедушка распахнул ворота, но Чалко оставался совершенно равнодушен к подхлестыванию вожжами. Как видно, он поджидал, когда усядется его хозяин. Меня уже бросило в краску, но дедушка не спеша подошел к Чалку, ухватил его за ухо и громко сказал:

— Не поеду, дурачок, не поеду. Егоршу слушайся!

И было удивительно, что Чалко, встряхивая ухом, сразу пошел со двора. Может быть, он рассчитывал, что при таком кучере скорее доберется до дому. Поворот налево ему пришелся по нраву, второй поворот налево побудил к необычайной для него резвости. Мимо своих исконных врагов — ребят Кабацкой улицы — удалось действительно «пропылить». Жаль, видел это один Трошка Складень, который мог лишь бессильно погрозить кулаком.

Ничего, пусть грозит! Своим-то все-таки расскажет, как каменушенские ездят!

Приятная для меня дорога продолжалась недолго. Вскоре желания Чалка и мои резко разошлись: ему хотелось повернуть направо, к дому, а я изо всех сил тянул левую вожжу. Чалко тогда решил вовсе остановиться и, только после того, как к моему понуканью присоединился окрик отца, зашагал дальше, но уже без всякого одушевления.

С этого места мы выехали на Челябинский тракт. Править лошадью стало гораздо хлопотливее. Хотя день был праздничный, движение по тракту было довольно сильное. Железной дороги тогда на Челябинск не было, и гужевые перевозки имели полную силу. С заводов, начиная с Каслей, весь металл шел к ближайшей тогда железнодорожной станции — в Екатеринбург. Сюда же шло немало хлебных обозов. Навстречу везли городские товары. То и дело звенели колокольцы. Ехали на парах, на тройках.

Зато Чалко вовсе не желал себя изнурять. У него даже теплилась надежда отделаться от дальней поездки. На повороте к Ильинскому заводу он усиленно потянул опять направо. Когда убедился, что приходится идти дальше, помотал головой, как-то весь вытянулся и, не оглядываясь больше, пошел «возовым», действительно «податным» шагом. Отец, глядя на попытки Чалка, смеялся:

— До чего изнабузулен, стервец! Погоди вот, дотянешь до березнику, пропишу тебе бодрых капель. Вспомнишь, как жеребенком бегал!

По тракту в пределах своего завода мне случалось бывать. Я знал, что от возов и колокольцев всегда надо сворачивать в сторону, а от порожняка — как придется. Если у тебя меньше людей, ты сворачиваешь, если у встречных — они. На деле это оказалось утомительно, но я все же справлялся и был очень доволен. Только когда проезжали по деревне Кашиной, какой-то парнишка моего возраста, увидев, что я держу вожжи в вытянутых руках, насмешливо крикнул:

— Держи, держи, не отпускайся!

Это был, конечно, удар по кучерскому самолюбию. И хуже всего: не нашлось ответного слова. В растерянности огля-

нулся на маму, но она смотрела куда-то в сторону, хотя я чувствовал, что она переглядывается с отцом, и даже как будто слышал отцовские слова: «Чуть маму не закричал».

Раздумывать, однако, было недосуг: дорога продолжала ставить новые трудности. Слева уже крикнули:

— Эй, малец! В какую сторону глядишь?

Медлительность Чалка теперь меня не волновала. Пожалуй, и лучше, что не торопится. Легче было пробираться в дорожной сумятице. Не протестовал даже, когда Чалко норовил встать в хвост попутного обоза. Отец — по давнему с ним условию, чтоб мне самому до города править, — не вмешивался в мои кучерские права, но все же напомнил:

— Объезжай, милый сын, а то до ночи протянемся. Не с возом мы. Пошевеливай маленько!

Объезд попутных обозов оказался нелегким. Тракт не широк, и приходилось хорошо рассчитывать свободную полосу дороги. Кой-где успех зависел от быстроты, а Чалко никак не хотел спешить. Удачнее объезд проходил на спусках, но один раз я тут попал впросак. Обоз как раз остановился перед спуском, слева была свободная полоса дороги. Чалко, побуждаемый понуканьем, подхлестываньем вожжами, разбежался под угор, но тут от обоза закричали:

— Стой! Не видишь?

Довольно далеко виднелась встречная пара, колокольцев не было слышно, но на черной дуге коренника был прикреплен яркий красный лоскут. Справа и слева верховые с ружьями. Запряжены лошади в какую-то вовсе не обыкновенную телегу-ящик. За телегой еще трое верховых, тоже с ружьями. У среднего на длинной палке опять красный лоскут.

Сдержать Чалка под гору мне было не по силе. Вмешался отец. Он так осадил, что старый мерин оглянулся: что это?

Пара поднималась в гору не спеша. Кучер, сидевший на каком-то стуле, пристроенном к ящику, не бултыхался на рытвинах, а мягко покачивался.

— Кыштымские, видно, — пояснил отец, — вишь, динамит везут. Много у них идет. По медному-то руднику. Не как у нас, привезут раз на два года.

— Откуда везут?

— Из города, конечно.

— Там делают?

— Это не знаю. Только без нашего города в таком деле не обойдешься. Никому без разрешения горного начальства не дадут, а оно, начальство-то, в городе.

— А может этот динамит бабахнуть по дороге?

— Где, поди. Он в фунтовых жестяных коробушках. Каждая войлоком замотана, да еще между рядами войлок, и телега на рессорах. Какой может быть удар?

Продолжая мысль, отец добавил:

— Наши вон до чего додумались! В склад в сапогах не допускают. Велят пимы либо плетухи надевать. А так это, для одной видимости, чтоб горной страже дело придумать. Другого боятся.

Тут вмешалась мама:

— Будет тебе набивать парнишке голову чем не надо!

Отец принял совет и с усмешкой спросил меня:

— Слышал, что мать говорит? Сперва, дескать, подрасти надо, а дальше сам разберешь.

Это, разумеется, показалось обидным, но передышка кончилась. Приходилось опять поворачивать направо, налево, выглядывать прогалы для объезда, дергать, подхлестывать вожжами и покрикивать: «Но-но! Пошевеливайся!»

Сказать по правде, все это порядком прискучило, но нельзя было сдавать, если сам выпросил. Проехали еще только одиннадцать верст. Об этом говорил не только верстовой столб, но и граневая просека. Здесь кончались владения Сысертского округа, начиналась казенная дача. Отец по этому поводу заметил:

— По другой земле поехали. Тут люди свой хлебушко жуют, не как у нас, все с купли.

В посессионной даче Сысертских заводов, где я рос, вовсе не было пахотных наделов. Хлеб на корню мне до этого случалось видать лишь в деревне Кашиной, которая когда-то была со своими наделами заверстана в заводскую дачу. Были хлебные поля и по другим деревням, приписанным к заводам, но в тех деревнях мне не приходилось бывать.

Разговор о своем хлебе растревожил моих родителей, и

после недолгого совещания они решили ехать стороной — через Шабры и Пантюши. Мотивировалось это желанием поглядеть нынешние хлеба. Желание было понятно мне, так как давно слышал немало разговоров о «своем хлебе» и об «уставной грамоте». По этой «уставной» будто бы и нашим заводским земля выйдет. Правда, многие после долгих лет тяжбы с заводоуправлением перестали этому верить, но все-таки мечта о своем хлебе была распространенной. Нашли, как водится, и другие доводы, чтобы изменить путь:

— Дорога помягче. Крюк небольшой, а ехать спокойнее. Егорше передышку дадим, а то он замотался на тракту-то.

Разумеется, я говорил, что мне вовсе не трудно, что могу ехать по тракту сколько угодно, но втайне желал перемены.

По проселочной дороге ехать оказалось приятней и много спокойней. После недавних дождей она была «в самый раз»: уже просохла, но еще не сильно пылила. День, с утра казавшийся хмурым, теперь повернул на вёдро. Было даже жарко, но все же чувствовалось, что это осень.

Чалко по каким-то своим лошадиным соображениям отно-

сился к перемене дороги тоже благожелательно. Без всякой погонялки он затрусил рысцой и удивил отца:

— Смотри-ка ты, разошелся! Эх, Чалко, в руки бы тебя! С хозяином вместе!

Мама, недолюбливавшая своего отчима, моего милого дедушку, на этот раз заступилась:

— Старики ведь оба.

Отец не соглашался:

— Хоть и старики, да дюжие. Есть с кого спрашивать. У одного руки золотые, у другого ноги непорченые.

Эта часть пути осталась в памяти как самая приятная. Поля, правда, здесь были не особенно обширны, часто перемежались перелесками, но все же это были хлебные поля, которые мне пришлось видеть по-настоящему в первый раз. Рожь уже везде стояла в суслонах, пшеница и овес убраны наполовину. По случаю большого праздника людей не видно, и это мне кажется лучше. Люди не отвлекают внимания от широкой картины однообразных и в то же время очень разных по освещению полей.

Вспоминая это первое впечатление от хлебных полей, разговор родителей о своем «полечке», постоянные толки об уставной грамоте, задумываешься, в чем же все-таки была тут сила.

Ни отец, ни мать, ни их деды и прадеды сельским хозяйством не занимались, навыков в этом деле не имели. Откуда же у них, как и у большинства заводских рабочих того времени, эта мечта о своем клочке пахотной земли? Принято думать, что здесь действовало желание с помощью этого клочка получить хоть тень независимости от заводоуправления. Может быть, так и было. Но едва ли это было единственным.

Привыкшие по-деловому оценивать все факты жизни, рабочие видели, разумеется, что в ближайших горнозаводских деревнях при ничтожности наделов никакой независимости не получилось. И если рабочие все-таки продолжали упорно, в течение уже трех десятков лет, добиваться пахотных наделов, то здесь, думается, действовала и другая сила. Та самая, что тянет каждого из нас, независимо от его специ-

альности и привычек, «покопаться» весной в земле и что-нибудь посадить. Как видно, двести лет работы в горе, у печей и прокатных станов не погасили более древние навыки народа-хлебороба, который на всем необъятном просторе нашей страны первым делом заводил свою пашню и умел эту пашню отстоять от любого врага.

Приятная и самая легкая для меня часть дороги кончилась выездом на тракт, уже за Арамилью. Началась опять дорожная сутолока, но встречный поток к вечеру заметно убавился. Ехать было не так хлопотливо.

Когда подъезжали к Уктусу, встречных почти не стало, зато ближе к городу встречный поток принял вид беспрерывной вереницы. Но это уж были не «дорожные», а выехавшие на прогулку. Щегольская запряжка, показные лошади, нарядные пассажиры, кучера в невиданной мною форме — все это казалось необычным, требующим разъяснения. Отец ответил предположительно:

— Гулянье, видно, какое-то в Мещанском бору. Видишь, туда правятся.

У нас в заводе большинство знает друг друга. С детства нас приучали кланяться старшим при встречах. Этот обычай соблюдался и при встречах в лесу, в поле, на дороге. Были разные формы приветствия. Когда, например, встречаешь или обгоняешь за пределами селения, должен сказать: «Мир в дороге». Если люди расположились на отдых или сидят за едой, тоже за пределами завода, надо говорить: «Мир на стану», а если просто разговаривают: «Мир в беседе» и т. д. Весь этот ритуал я знал хорошо и дорогой не забывал снимать свою шапку-катанку и говорить нужные слова. Мне отвечали по-честному, без усмешки. При встрече с непрерывной вереницей горожан снимание шапки стало затруднительным, но я все-таки старался с этим справиться. Однако мне не отвечали, улыбались, а один какой-то ехавший в блестящей развалюшке, как у нашего заводского барина, с кучером в удивительной форме, закричал:

— Здравствуй, молодец! Поклонись от меня березовому пню да сосновому помелу, а дальше, как придумаешь! — и захохотал.

Обескураженный насмешкой, я обернулся к отцу, а он посмеивался:

— Научил тебя городской, кому кланяться? То-то и есть. Тут, брат, всякому кланяться,— шапку скоро сносишь. Да и не стоит, потому — половина жулья. Этот вот, может, на гулянье едет, чтоб кого облапошить. А тоже вырядился! Извозчика легкового нанял. Знай наших!

— Какого извозчика?

— А вон видишь, которые в долгих-то кафтанах да в лаковых шляпах. Их сколько угодно по городу. Кому понадобится, тот и нанимает. За гривенник либо за пятиалтынный и больше, по дальности глядя.

— Хоть кто может нанять? И повезет? В этакой развалюшке?

— Да хоть ты поезжай. Им все равно. Тем кормятся.

— Богатые?

— Вроде нашего брата. На хлеб, на соль добывают, а на приварок как случится.

— А кони вон какие, и развалюшки блестят! Дорого ведь стоят?

— Без этого номера не дадут. В извозчики, значит, не пустят. Есть, конечно, и такие, которые не по одной запряжке содержат. Эти, понятно, наживают, от себя работников нанимают. Извозчичьи, выходит, подрядчики. А у работников своего только и видно, что борода да руки.

Выходило вовсе неожиданное. Оказывается, все эти замечательные запряжки — просто извозчики, которых может нанять всякий. И среди них есть совсем бедные люди, на которых все хозяйское. Разберись тут! Во всяком случае интерес к извозчикам потускнел, да и остальной городской люд как-то перестал казаться внушительным.

Приближался город.

С южной стороны он тогда начинался по линии нынешней улицы Фрунзе. Тогда это была еще одинарка, обращенная в сторону просторного выгона с пожелтевшей, пропыленной полянкой.

Вправо от дороги, ближе к реке, виднелись здания, похожие на заводские.

— Посудное заведение тут,— пояснил отец.

Слева к городу вплотную примыкал сосновый бор, такой же, как у нас.

Город удивил своей величиной и обилием церквей. Потом я узнал, что по размерам города число церквей было не особенно велико, но тогда это казалось мне огромным. Заметней всех других зданий с этой стороны был монастырь. Его собор с широким куполом издали походил на большой башкирский малахай, поставленный среди сада.

Над этим куполом поднимался другой, еще более огромный, не с такими ясно очерченными линиями, но все же вполне заметный,— купол мелкой пыли, высоко поднявшейся над всем городом.

Подъезд к городу был удобен. В ряд с трактом на широкой поляне вилось множество мягких дорожек — выбирай любую! Все эти дорожки сходились к одной улице, и я без труда мог решить вопрос, как лучше ехать. Вечер был ясный, тихий, но чувствовался какой-то «смрадный дух». Иногда он становился заметнее, иногда ослабевал. Мама по этому поводу проговорила:

— И как там люди живут!

— Это еще что!— отозвался отец.— Вот когда по Полевской дороге поедешь, так нанюхаешься. С непривычки человека стошнить может. Мимо боен-то да салотопок. А живут! Привыкли. Им нипочем, что кишки на дороге валяются. Воронья, видишь, сколько в той стороне кружится, а все из-за неряшества. В других-то местах, говорят, все это подбирают да в дело пускают.

Так вот какой город! Пыли шапка, на подъезде стошнить может, и в людях не разберешься. Думаешь, барин, а вовсе он за гривенник нанял человека, у которого из своего видно только бороду да руки.

Столбов заставы в этой части города не было. Около углового дома на левой стороне улицы длинные коновязи. На крыльце шумливые люди. Сразу видно — кабак.

Чалко сделал было попытку присоединиться к лошадям, стоявшим у коновязей Селетихина трактира. Мама с отцом перемолвились: «Привычно, знать, место». Вот! Всегда они

так! Подсмеиваются над дедушкой, а он вон какой славный. Все ребята мне завидуют. И Чалко тоже хороший. А что бабушка теперь делает? Плачет, поди. Петька говорит: «Я сразу оглядел бы!» Огляди, попробуй! Вон какой большой город! И мысли окончательно повернулись к городу.

Первый квартал ничем не отличался от нашего заводского. Такие же домишки. Один побольше, другой поменьше. Даже почва такая же, как по нашим улицам: тоже синий ребровик выглядывает. Второй квартал оказался каким-то однобоким. На одной стороне такие же маленькие дома, а на другой — огромный пустырь, огороженный редким реечным забором. Через пустырь, как поднесенный, виден монастырь — с каменной оградой, по-осеннему пестрыми деревьями и сосновой рощей. Над купой церквей и зданий господствует собор. Тот самый, что издали показался мне похожим на башкирский малахай. Сходство и теперь оставалось, но другого малахая — из городской пыли — уже было не видно: мы в него въехали.

После спуска с горы, собственно, и начался город. Здесь уже была замощена средняя часть дороги. Это одинаково не понравилось ни мне, ни Чалку. Гремит, трясет, ногам твердо. Поэтому мы без всякого сговора выбрали мягкую обочину. Пыли тут было уже много.

Особенно удивил меня целый квартал каменных домов при выходе улицы на Александровский проспект.

Эти каменные дома с невиданными раньше колоннами, с тротуарами из широких плит привели в полный восторг.

Вот это город! Это дома! Кто только живет в них?

Как будто в ответ на этот вопрос, из ворот дома с круглыми колоннами вылетел рослый вороной жеребец, запряженный в какую-то необыкновенно легонькую «штучку». Кучер тоже в чудной шапке с пером, в плисовом кафтане без рукавов показался мне просто великаном. Сидел он высоко над лошадью. Сиденье экипажа занимал на удивленье толстый человек с обвислыми щеками. Одет он был, по-моему, гораздо хуже кучера.

— Кто это?

— Откуда мне знать. Может, хозяин этого дома. Может, в гости какой приезжал. Много их таких-то жируют тут.

— А почему у кучера рукавов нет?

— Для моды, видно.

При выезде на пересекавшую улицу впечатление нового не ослабело. Справа красивый каменный мост с чугунными перилами, между каменных столбов, налево прямая широкая улица — Александровский проспект. Он замощен уже во всю ширину. Это и понятно, так как здесь проходил Сибирский тракт. Движение тут и по вечернему времени было сильное. Стало хлопотливо. Не без моего попустительства Чалко встал в хвост обоза и зашагал не торопясь. Это позволило мне глазеть по сторонам и удивляться.

Отец, не перестававший знакомить меня с городом, указав на мост, проговорил:

— Там вон, за мостом-то, квартал только подняться, и будет Конная площадь, куда лошадей-то приводят.

Мне, разумеется, захотелось сейчас же хоть одним глазком взглянуть на эту площадь, но мои родители дружно заговорили, что ехать еще далеко, время к вечеру, заворачиваться на тракту трудно.

Из этого убедительней всего мне показался последний довод. Мама еще тревожилась, застанем ли мы Алчаевского, к которому ехали.

— Сам-то он, конечно, принял бы и все бы разъяснил, а вдруг уехал по участку? Его-то хозяйке какое до нас дело!

Отец не разделял этих опасений:

— Не такой человек. Твердо сказал: «Приезжай в Успенье к вечеру. Обязательно дома буду». Так и сделает.

После этого разговора я все же стал усиленно причмокивать на Чалка. Ему город меньше всех нравился. Шагать по камню, да еще в гору было совсем неприятно. Еле тащил. Отец мне напомнил:

— Егорша, ты где?

С Александровского проспекта повернули на Уктусскую улицу. Она в этой части тоже была замощена, но обочины здесь оставались широкие и вовсе пыльные.

На следующем углу стояло заметное каменное здание в три этажа.

— Вроде скворечника,— определил отец.

Действительно, дом был какой-то необычный. Как видно, здесь сказывалось несоответствие между высотой и площадью пола. Чтобы представить себе это здание, надо иметь в виду, что в среднем этаже было только четыре классных комнаты, каждая не более как на сорок человек. Узкие окна усиливали эту общую неслаженность здания. На одном из углов надпись: «Екатеринбургское духовное училище». То самое место, куда я ехал учиться.

На противоположной стороне улицы тоже каменное белое здание, более прочно стоявшее на земле, в два этажа, с мезонином, имело надпись: «Екатеринбургское городское училище».

С Уктусской улицы повернули на Главный проспект — лучшую часть города. Окрашенная в голубой цвет церковь, обнесенная довольно тесной оградой с чахлыми деревьями, не привлекла внимания. Церковь как церковь. Не лучше наших заводских. Но вот дом с лепными украшениями — это да! Ничего похожего не видывал. И вывески тут какие-то необыкновенные: «Жорж Блок», «Барон де Сукontен», «Швартэ», а сверху какой-то неведомый «Нотариус».

Сама по себе эта главная улица была не похожа на остальные. Посредине обсаженная деревьями дорожка для пешеходов.

В начале каждого квартала, у прохода на эту дорожку, с той и с другой стороны небольшие лавочки, около которых толпится народ. Пьют «кислые щи», «баварский квас», ребята отходят с разноцветными трубочками, в которых, как я вскоре узнал, продавался мак с сахаром. Маковушка стоила от одной до трех копеек. Около лавочек прохаживался или стоял городовой. Эти постовые набирались из внешне видных людей, и все четверо, которых я видел в тот день, показались огромными и страшными.

На выезде из города подивился столбам заставы с орлами наверху. Посмотрел на уходившие вдаль аллеи берез по обеим сторонам Московского тракта и направил Чалка по до-

роге в Верх-Исетск. Здесь было совсем родное, заводское. Дорога была такой же, как у нас на Вершинки: сделана подрудком и горным песком, дававшими красноватую пыль. Необычным казались лишь пешеходные дорожки справа и слева, тоже обсаженные березами.

В Верх-Исетске без затруднения отыскали квартиру Алчаевского. Он оказался дома и принял приветливо. Указал, где поставить лошадь, где брать воду, сходил к хозяевам, попросил, чтобы на эту ночь не спускали цепную собаку. Иначе незнакомому человеку нельзя будет выйти ночью к лошадям. Когда все это было устроено, повел нас в квартиру.

Жена Алчаевского, молодая красивая женщина, тоже отнеслась приветливо, но детское чутье подсказало, что делается это в угоду мужу, а своего интереса к нам у ней нет.

Квартира у них, по моей мерке, была огромная: весь верхний этаж да еще кухня в нижнем. А жили только двое вверху и кухарка внизу.

Пока собирали на стол, Алчаевский увел нас с отцом в свою комнату. Я никогда даже думать не мог, чтоб в одном доме было столько книг. Полный шкаф за стеклом, полки стоячие, полки висячие и огромный ворох в углу. Книги же лежали на всех столах и даже на некоторых стульях. Кроме книг, было много других занимательных вещей. Волчья шкура, у которой целиком оставалась голова с оскаленными зубами, даже страшно немножко. Лосиные рога на стене. Тут же ружье и большой кинжал. Наверно, у Аммалат-бека такой был! На столе какая-то машинка со стеклышками. Как потом узнал, микроскоп. Рядом куски руды, какие-то кости на огромной книжище с застежками. Через открытую дверь в соседней комнате видны две кровати, закрытые чем-то необыкновенно красивым.

Алчаевский, усадив отца около своего стола, открыл большую резную коробку с папиросами:

— Покурим, Василий Данилович.

Отец, всегда куривший махорку из трубки, на этот раз взял «дамскую», и мне показалось забавным. По-городскому курить стал!

Разговор у них завязался оживленный, но мне он был малоинтересен.

Предоставленный себе, я прохаживался из комнаты в коридор, и мне было видно, что мама передавала хозяйке узорные чулки своей работы и ленту широких кружев, которые я недавно видел на ее коклюшечной подушке. Работа, как видно, понравилась, и мама уже показывала какую-то обвязку. В привычных руках работа шла ловко и быстро, и хозяйка с удивлением отмечала: «Уж больше четверти». Наконец появилась кухарка, которую хозяева звали Парасковьюшкой. Она принесла самовар и разную еду. Появился объемистый графин. Меня все-таки этот стол не интересовал. Чувствовал, что слипаются глаза. Алчаевский пытался тормошить меня, задавал смешные задачи: сколько останется, если из бороды вырвать три волоска, можно ли купить на полтинник три пуда сахару? Но глаза продолжали слипаться.

— Ложись тогда на волка,— решил Алчаевский и принес подушку и покрывашку.

Ложиться на волка с оскаленными зубами в других условиях, может быть, показалось бы страшноватым, но теперь это прошло без раздумья. Поспешно разделся и, укладываясь, видел смыкающимися глазами бесформенный туман, в котором потом явственно вырисовались дорога, встречные обозы, шумная тройка.

На другой день с утра пешком отправились в город. Мои экзамены заняли не очень много времени. За экзаменаторским столом сидели люди в рясах и необычных сюртуках без переду, но со светлыми пуговицами. Было страшно, но спрашивали все-таки не строго, и было удивительно, что некоторые мальчики путались или вовсе не отвечали.

Мне пришлось написать две фразы «на миры»—«который с точкой, который без точки». В этих грамматических «мирах» я разбирался свободно, доска была свежей покраски, мел хороший, и я не забыл в конце каждой фразы «выкрутить» очень осязательную точку. Со стуком решил задачу. После этого заставили читать, но, по-моему, бестолково: начнешь в одном месте, сейчас же перелистнут: «А ну, тут». Молитвы и заповеди рассыпал горошком, а когда стал раз-

делывать историю какого-то судьи, один из экзаменаторов пошутил:

— Так его! Круши с навесу, чтоб не встал!

Шутка, видимо, хорошо отражала мой ребячий азарт, и все засмеялись. Сидевший посредине инспектор, очевидно, чтобы не смутить новичка, сказал:

— Хорошо. Принят. Завтра приходи на уроки к девяти часам,— и пояснил остальным: — Из светских* он. Отец у него простой рабочий.

Инспектор, а не понимает! Какой же простой, коли тятя с Ильей Гордеичем — самолучшие мастера! По всему заводу! А по сварке никто против него не выстоит.

Уходя от стола, слышал, как экзаменатор, пошутивший над моим ребячьим азартом, проговорил:

— То-то и есть. Светские чекалят, а у своих каша во рту застыла. Чуть получше мальчишка, так его либо в гимназию, либо в реальное сдают.

Выбежав в коридор, где толпились родители экзаменуемых, рассказал своим, что говорил инспектор, и склонен был позадаваться своим успехом. Отец погладил меня по голове, но повернул разговор в другую сторону.

— Александр Осипыч, конечно,— хороший учитель. Ученики у него небось не хуже других. Как вот здесь учиться будешь?

Выходило, что я вроде и совсем ни при чем. Это, разумеется, было немного обидно, как и то, что на экзамене не дали договорить до конца. Но что поделаешь? Большие всегда так.

После экзамена хотелось побродить по городу, посмотреть вблизи то, что вчера успел заметить лишь проездом, главное, пробраться к чугунке и железному кругу. Но отцу надо было в тот же день уезжать домой, и он наотрез отказался, даже укорил:

— Что ты, милый сын! Неужели не знаешь, что нам с матерью поторапливаться надо? На один-то день едва подменщика нашел. Время, сам знаешь, осеннее. У всякого по хозяйству дела много.

От училища мы пошли на Щепную площадь, чтоб купить там сундучок. Здесь тогда были лабазы с просторными навесами, под которыми выставлялся такой товар, как телеги, кошевки, санки и горки сундуков. Помню, меня удивило, когда увидел в щепном товаре также зеркала и обои. В одном месте ожесточенно рядились около ямской телеги. У других лабазов народу было не видно. Только ходила группа женщин, присматривавших горку для невесты.

Мы не задержались на Щепной: цена на маленькие сундучки была определенной, рядиться не приходилось. Купили окованный в полоску зеленый сундучок и двинулись дальше. Шли на этот раз по прямой — к толкучке на Коковинской улице. Там тоже были ряды лавчонок с небольшими навесами, где болталось разноцветное тряпье: пояски, ленточки, платочки. Здесь выбрали мне картузик: моя шляпа-катанка не подходила для города. А жаль! Хорошая шапочка была. Если ее развернуть до конца, так до плеч закрыться можно. И воду черпать ею можно. Но против покупки картузика не

возражал. Еще бы! Было приятно, что продавец говорил мне, примеряя фуражки: «Молодой человек».

Отцу хотелось перед отъездом поговорить с Алчаевским, но Никиту Савельича с утра вызвали в город, и дома не знали, когда он вернется. Приходилось ехать, не дождавшись его. Мне, конечно, стало жутковато и почему-то особенно жалко было расставаться с Чалком. Мама произвела мне экзамен: как будешь ходить в училище? Ответил: вперед стану «правиться на монастырь», обратно — сперва на коричневую церковь, потом на голубую, которая на Главном проспекте. Это было признано удовлетворительным, и мама попросила кухарку Парасковьюшку:

— Сделай милость, пригляди за нашим-то!

И мне было приятно, когда Парасковьюшка кивала головой и говорила:

— Как без этого! Своих ребят растила, понимаю. Будь в спокое, догляжу.

Это обещание, помню, успокоило меня больше всего, вероятно, потому, что Парасковьюшка ближе других стояла к тому кругу людей, с которыми я разлучался.

Отец при прощании посоветовал:

— Ты, Егорша, в городе-то с оглядкой действуй. На городской штиль живут. Вроде постоялого двора тут у них. Без спросу полешко построгаться не возьмешь. Разговор может выйти. Ты и остерегайся,— и после этого утешил:— По снегу-то мать либо оба приедем. Никита Савельич обещал похлопотать. Может, тебя в общежитие примут.

Дальше оставалось позавидовать Чалку, который с заметным оживлением направился домой.

Вскоре я нашел в Верх-Исетске своего настоящего друга. Встреча вышла случайной, и потом мы оба удивлялись, почему не знали друг друга раньше, хотя жили буквально через дом.

Занятия в училище кончались без четверти два, но я все еще не переставал удивляться чудесам города, застаивался подолгу около разных магазинов.

Все эти наблюдения над удивительной жизнью города

занимали ежедневно часа два, и в Верх-Исетск обычно приходил в пятом часу. Раз так добрался до Разъезжей улицы, которую уж стал называть своей. У домика на углу первого переулка стояли трое ребят. Двое совсем одинакового роста, а третий поменьше. Все трое усердно «пушат» камнями в рыжего мальчика, а тот, что поменьше, кричит:

Мишка Рыжак проглотил пятак,
Сел на семишник, поехал на девишник!

Понятно, что человек, обвиняемый в столь диких поступках, должен был защищаться, и рыжий мальчик стойко боролся против своих врагов. Ловко увертываясь от летевших камней, он кидал ответные и каждый раз приговаривал:

— Получай, стервы!

Было видно, что рыжий не нагибался, не искал камней: имел достаточный запас в карманах. Такая хозяйственность мне понравилась, но позиция у него была из рук вон плоха. Он стоял на открытом месте, а его враги расположились против окон дома. Рыжему приходилось бить по ногам, так как всякому известно, что залепить камнем в лоб гораздо менее ответственно, чем разбить стекло. Стойкость Рыжака и подлый прием его врагов, укрывавшихся под защитой окон, естественно, располагали меня в пользу одиночного бойца, но я все-таки вовсе не думал принимать участия в этом столкновении, чувствовал себя «проходящим» и попросил:

— Эй, погодите фуряться *, дайте пройти!

В ответ получил насмешку:

— «Фуряться»! Из какой деревни выехал? Говорить не научился, а тоже с книжками ходит!

Мальчик поменьше ростом заболтал:

— Фурялка, нырялка, наскочил на палку!

После такого незаслуженного оскорбления мне оставалось только присоединиться к Рыжему. Запас камней в карманах у меня тоже на всякий случай имелся, но я решил применить против «подокошечников» испытанный контрприем: засунув книжки за пояс, ухватил увесистый камень с дороги и что было силы бабахнул в ворота. Отдача получилась обычная: из калитки выбежал представитель больших.

Это оказалась высокая костлявая старуха. Ребята побольше, не желая, видимо, попасть под руку при разборе дела, кинулись в переулок, а маленький остался, будто его не касалось. Мы со своим союзником отбежали на некоторое расстояние и остановились до выяснения вопроса. Старуха первым делом закричала на Мишу:

— Ты что, рестант, делаешь?

— Своих сперва уйми! — ответил мой союзник и добавил: — Проходу людям не дают! Мальчик вон идет из школы, никого не задевает, а они давай в него камнями кидаться. Я и бухнул в ворота, чтоб ты вышла.

— Я тебе покажу бухать! — погрозила старуха.

А маленький закричал:

— Врет он, рыжа кожа! Это он Васю нашего избил! Синяков ему, помнишь, насадил? За четвертым переулком живут. Еремеев ему фамилия.

— Да знаю я, — отозвалась старуха. — А этот чей? — указала она на меня.

— Приезжий какой-то. С гимназистом каждое утро мимо ходит. Учится, видно. Видишь — без обеда оставили: этак поздно домой идет.

Такая клевета требовала немедленного вмешательства, но я смолчал, ожидая, как кончится дело о моей полной непричастности. Когда Миша объявил, что это он бросил камнем в ворота, я подумал: «Вот настоящий товарищ! Не выдаст. С таким бы дружить!» Наш враг поспешил выяснить и этот вопрос:

— Это он, бабушка, камнем-то в ворота присадил!

— А тот говорит — я, — удивилась старуха. — Разбери вас.

Почувствовав колебание стару-

хи, наш враг попытался спасти положение. Указав на след камня на полотнище ворот, он проговорил:

— Гляди, вмятина какая! Папаня приедет, заругается!

Упоминание о папане повернуло мысли старухи в невыгодную для наших врагов сторону.

— То-то, «папаня»! А почему Васька с Димкой убежали? Придут домой, задам им жару! А отец приедет, и ты от плетки не уйдешь! Дня не проходит, чтоб у нашего дома драки не завелось.

Видя, что разбор пошел по семейной линии, мы с Мишей спокойно отправились своей дорогой. Старуха, однако, крикнула нам вдогонку:

— Еще раз увижу у своего дома, я вам покажу! В полицию заявлю, чтоб сократили таких мошенников! Знаю, где оба живете!

Старуха, конечно, приврала, что знает и мою квартиру, но на это не стоило обращать внимания, и мы занялись своим разговором. Миша пожаловался:

— Первые задиры — эти бревновские ребята. Спускай им! Одного я поколотил, а которого, не знаю. Они ведь двояшки, а третий вроде дурака. Только и умеет вселад слова подбирать, а из школы выгнали. Он годами-то большой, только ростом маленький. Урод, известно, а злой. Это он тех и подтравливает, чтоб драться.

— Ты за что этому бревновскому парнишке наподдавал?

— Задавался перед ребятами, что они богатые. Отец у них рыбой да орехом по зимам торгует. Теперь его нет. Где-

то по далеким местам ездит, тамошних людей обдувает. Купит у них за пятак, а в городе за рубль продает.

Закончив характеристику вражеского дома, Миша спросил:

— Ты где учишься?

— В духовном.

— В попы метишь? — удивился Миша. — Кутейка, балалайка, соломенна струна? Ныне, присно и во веки веков?

Я поспешил отвести обидное предположение:

— Никита Савельич этак же учился, а ветеринарным врачом служит.

— Ты у него живешь?

— Ага.

— Тоже коров лечить станешь?

И это предположение не показалось мне привлекательным, и я сослался на другой пример:

— У нас в заводе учитель. Так вот учился — сперва в духовном, потом в семинарии. И в Кашиной учитель тоже из семинаристов, только он в попы собирается.

— Вот видишь, — наставительно проговорил Миша, — свяжись с ними, прилипнет.

Я стал уверять, что ко мне не прилипнет, что «у нас и в роду такого не бывало».

— Отец-то у тебя кем?

— Мастером на сварке. В Сысертском заводе.

— А у меня на мартене. Родня вроде. Дружить можно, а только почему тебя в духовное отдали?

— Дешевле тут приезжему содержаться. Общежитие вон скоро откроют. Меньше десяти рублей в месяц. И формы не надо. Она, поди-ка, дорогая.

Эти доводы показались Мише убедительными, но он все-таки пожалел:

— Лучше бы ты в нашем втором городском учился. Вместе бы ходили мимо бревновских ребят. А здорово ты саданул в ворота! Приедет Бревнов, так он выпорет Игошку. Это урода-то. Страсть бьет его, когда пьяный! Соседи, случалось, отнимали. Жалеют Игошку по сиротству. А сам-то

Бревнов — зверь зверем. Говорят, купца по рыбному делу убил. То и разбогател.

— Ты откуда знаешь?

— По одной улице живем. Сказывают.

Это было мне знакомо. У нас тоже каждый знал всю подноготную жителей своей улицы, но здесь с этим пришлось встретиться впервые. Поэтому даже спросил:

— Отец у тебя давно тут живет?

— Да мы здешние. Не то что отец, а и дедушка и раньше его все при заводском деле были.

— Ты кем будешь?

— Я-то? — Миша застенчиво улыбнулся, еще раз спросил: — Я-то? Я, брат, как выучусь в нашем втором городском, в магазин к Шварте поступлю.

— Зачем?

— Там компасы продают. Видал?

Я сознался, что видал только на картинках в «Родном слове».

— А там и горные компасы есть. Под землей с ними не заблудишься. И других мелких машинок много.

— Приказчиком поступишь?

— Механиком бы охота. Собирать, разбирать, людям показывать. Починить когда. А удилище там на пять колен бывает. Несешь — вроде тросточки, а составишь да закинешь — еле поплавок видать. И жерличные шнурки такие, что пудовая щука не оборвет, коли поводок не перекусит.

— Ты рыбачить любишь?

— Я-то? Да я чуть не каждый день на пруд бегаю ершей ловить. Когда и дедушка меня с собой берет. За дальние острова с ним плаваем. Там он мережи ставит.

— Своя лодка у вас есть?

— А как же! Дедушка без этого не может. И тятя, когда ему свободно, рыбачит. Теперь они лучат чуть не каждую ночь.

— Тебя берут?

— Меня-то? — Миша задержался с ответом, но все-таки сказал правду.— Жерлицы смотреть, мережи тянуть — берут, а лучить — нет. Говорят, не дорос. Знаешь, большие...

Это я по опыту знал и сочувственно подтвердил:

— Знаю я этот разговор.

Поравнявшись с квартирой Алчаевского, мы еще долго разговаривали, потом дошли до ближайшего переулка, и Миша, указав на трехоконный домик, сказал:

— Тут мы живем. Приходи через часок. Пойдем ершей ловить.

Это знакомство было большим событием в моей жизни. Еремеевский дом и семья живо напомнили мне быт родного завода, о котором я, видимо, начинал скучать. У Еремеевых, правда, жил «какой-то городской», но в остальном все было, как на «нашей улице». Отец и старший брат Миши жили по гудкам: оба работали на заводе. Дедушка, с выжженными щеками доменщика, служил по лесному делу, но был крайне недоволен своим положением:

— На старости лет нарядили доглядывать, кто куда свое полешко сунет: в свою печку, в соседскую ли!

Мать Миши «ворочала по хозяйству»; старшая сестра, которую Миша звал нянькой, помогала матери и «водилась» с двумя малышами. Весь уклад дома мне казался настолько знакомым, что я заранее знал, что вдоль теневой стены дома должны быть спицы для удочек, а ниже их — спицы с натягами для запасных удилищ. Так оно и оказалось, и это, помню, меня обрадовало до слез: как у нас, как у Петьши, Кольши.

Понятно, что я стал завсегдатаем еремеевского дома. С Мишей мы крепко сдружились. Одинаковый возраст, одни и те же условия быта давали нам возможность хорошо понимать друг друга. Было лишь одно, что нам сильно мешало. Это разные училища. По обычаям тех лет, ученики разных училищ были в постоянной вражде между собой. Причем «начальники» — ученики начальных школ — из общего счета исключались. Считалось позором «связаться с азбучниками». Исключались и дети школьного возраста, которые нигде не учились. На «стороннего налетать» тоже считалось неправильным. Так как «духовники» не имели формы и могли «прикидываться» «начальниками» либо «сторонниками», то производился контроль по книгам.

Может быть, потому, что первое городское и духовное находились по соседству, вражда между этими училищами была особенно острой и напряженной. «Духовники», уходя в город, неизменно охотились на «козлов» и преувеличенно хвалились, когда им удавалось «продрать козла до слез», те, в свою очередь, не упускали случая «растереть кутью». Совместные военные действия допускались лишь при столкновении со «светлопуговишниками» — гимназистами и реалистами. Но союз был кратковременным и непрочным. При оценке боевых действий мнения расходились: победу каждая сторона приписывала себе, а поражение объясняла слабостью другой, — и кончалось это взаимной потасовкой.

Миша учился во втором городском училище, чем немножко гордился, произносил слово «в т о р о е» так, будто это училище было гораздо значительнее первого.

Второе городское было далеко от духовного, и это давало нам уверенность, что наша дружба не станет известна ни в том, ни в другом училище. У меня вовсе не было никакой формы, даже в виде пряжки пояса. Ходил я тогда в «пиджачке домашнего покроя», как называл мой костюм Никита Савельич. Это позволяло Мише ходить со мной, как со «сторонним», но утрами на занятия мы все-таки отправлялись порознь. Наши враги — бревновские ребята — как-то узнали, что я учусь в духовном, и могли подвести Мишу перед его товарищами по второму городскому. Таких в Верх-Исетске было человека три-четыре.

Ко мне Миша не любил заходить: стеснялся непривычной обстановки и дальше кухни не шел.

Зато я у Еремеевых был принят всеми дружелюбно. Чтоб лишний час пробыть у них, я прекратил шатания по городу. Стал ходить теперь в училище и обратно «степью» и «через Амур».

«Амуром» тогда назывался участок южнее нынешней водонапорной башни.

«Амур» считался опасным местом. Внешне он таким и казался. Здесь ближе к «степи», толкалось немало «потерянного народу», который на угрозы тюрьмой отвечал:

— По соседству живем, нам не страшно.

Для десятилетнего мальчугана с книжками проход здесь все-таки был вполне безопасен. От мальчишек можно было встать под защиту любого «дяденьки, который так рыкнет, что отскочишь». Гораздо опаснее было пересекать по диагонали «степь», разделявшую город и Верхисетский завод. Тут могли наподдавать мальчуганы других школ. Приходилось применять военную хитрость — прятать книжки. Я так и делал. Выйдя на линию Московской улицы, забивал книги на спину за пояс, а в платок, в котором носил хлеб «на перекуску», как говорила Парасковьюшка, набирал камней и шел дальше, беспечно помахивая узелком. Убивалось два зайца: и школьной видимости не было, и дополнительный запас метательного материала имелся под рукой. Маскировке мешала пухлая хрестоматия, по которой обычно задавали на дом выучить наизусть какое-нибудь стихотворение. Чтоб избавиться от лишнего груза, я стал заучивать заданное в последнюю перемену, а книжку оставлял у сиделки училищной больнички.

Эта старуха была «хоть не из нашей улицы», то есть раньше была мне неизвестна, но «из нашего завода». Ребята любили старуху, так как она многим «сноровляла по больничному делу», и в первые же дни учения сказали ей, что приехал «из нашего завода». Старуха разыскала меня в толпе ребят на училищном дворе и принялась расспрашивать: чей, из которой улицы? Припомнила, что с Дуняткой (моей бабушкой) в девчонках по суседству жила. Повздыхала, поохала: «Как годы-то бегут!» В заключение наставительно сказала:

— Гляди, учись хорошенько, чтоб нашим заводским покору не было, будто сысертские толку не имеют.

Некоторые из ребят, слышавшие этот разговор, склонны были подразнить меня: «Сиделка ему родня!» — но я не понял насмешки и простодушно объяснил:

— Не родня, а через две улицы от нас жила и с моей бабушкой подружка. Слышал, зовет ее Дуняткой, а она такая же старая.

Сам я охотно признал бабушку Катерину Григорьевну близким человеком и попросил, нельзя ли оставлять у нее

книжку. Старуха, однако, не склонна была к «зряшним поблажкам», поэтому каждый раз спрашивала:

— А ты уроки выучил? Которые по этой книжке?

В ответ я начинал «барабанить с задыхом» — быстро говорить, насколько хватало дыхания.

Катерина Григорьевна была неграмотная, поэтому обращалась к кому-нибудь из старших учеников, спасавшихся в больнице от уроков:

— Ну-ка, ты, урокова немочь, послушай.

Приглашенный в судьи, разумеется, давал блестящую оценку:

— Здорово вызубрил. Прямо на пять с плюсом!

Старуха, зная односторонность бурсацких законов товарищества, с сомнением поглядывала то на судью, то на меня и раздумчиво говорила:

— Кто вас знает! На ухо будто бойко сказывает. А то ли, которое надо?

— То самое,— подтверждал судья.

А старуха еще раз спрашивала:

— Так, говоришь, ладно? Не обманываешь?

— Ну, что ты! От зубов отскакивает! Лучше нельзя,— успокаивал судья.

Старухе казалось этого мало, и она требовала:

— Ну-ка, скажи вечорошнее, про чижа со злодейкой.

Я «отжаривал» басню «Чиж и голубь», и на этом проверка кончалась. Катерина Григорьевна брала у меня книгу, совала ее в подстолье аптечного шкафика и говорила:

— Не беспокойся, в сохранности будет. Что ее зря трепать! Тоже не близко место Верх-Исетск.

И, надо сказать, я ни разу не обманывал старуху по простой причине: бо́льшую часть задававшихся тогда стихов знал еще до поступления в училище, да и новые схватывались ребячьей памятью легко и быстро.

Через несколько дней я привык к новому пути и перестал набирать в платок камни, полагаясь на одни карманные запасы.

Любимым местом моего нового пути было взгорье против первой Ключевской улицы. Отсюда открывался такой вид на

город, что я просто не мог здесь не остановиться. Другой, еще более захватывающий вид, на заводской пруд, открывался уже в самом Верх-Исетске, около Нагорной церкви. Мы с Мишей не раз прибегали сюда полюбоваться на широкую панораму пруда, а потом, дождавшись потемок, подолгу смотрели на городские огни.

Раз нам удалось побывать на колокольне Нагорной церкви, что оказалось не совсем просто. Этой колокольней пользовались не только для церковного звона, но и как пожарной вышкой. От завода там посменно «стояли» двое. В шесть часов утра и в шесть часов вечера церковный каморник Назарыч впускал одного и выпускал другого в притвор, откуда лестница вела на колокольню. Один из таких заводских сторожей был в родстве с Еремеевыми. Миша и стал его просить:

— Дяденька Кузьма, возьми нас с собой на колокольню!

Дяденька Кузьма был не из приветливых людей. У него правая рука была вдвое короче левой и не сгибалась в локте. Его за это звали «безлокотником». Природный недостаток мешал ему работать обычным образом, и он смолоду «околачивался на стариковском деле». Вероятно, этот недостаток и сделал человека угрюмым, неразговорчивым. На просьбу Миши он пробурчал:

— Придумал! Не пасха, чтобы всякого на колокольню пускать!

На повторные просьбы ответил:

— Назарыч не пустит.

Кончилось все-таки согласием с оговоркой:

— Чтоб в первый и последний раз!

К шести часам мы с безлокотным дяденькой подошли к церкви. После заводского гудка каморник Назарыч открыл дверь и, увидев, что мы тоже входим, спросил:

— А эти угланята куда?

— Поглядеть охотятся,— угрюмо ответил Кузьма и добавил: — Отвязаться не мог.

Назарыч в противоположность Кузьме был веселым, ласковым стариком.

— Поглядите, поглядите! Только, чур, не баловать на колокольне. И долго там не стойте, а то как запрусь на ночь да

завалюсь спать, на всю ночь тут останетесь. Ты уж догляди сам,— прибавил он, обращаясь к безлокотному.— Да не давай им борзиться по лестнице! А то ведь ребята, им все вскачь надо.

— Угу,— пробурчал Кузьма.

На колокольне Кузьму встретил другой старик ворчаньем:

— Копаешься! — и, взглянув на нас, добавил: — Хвост еще за собой притащил! Привожай их, не рад станешь!

— Говори по делу,— потребовал Кузьма.

— По делу хорошо. Часы отбивал, худого не видал.

С этим ворчливый старик стал спускаться. Напутствие Назарыча, чтоб не баловались на колокольне, оказалось лишним. Оба мы как зачарованные простояли с полчаса у перил колокольни, смотря на город и верхисетский пруд. Стояли бы и дольше, но наш Кузьма настойчиво предложил:

— Будет! Слезайте! Не час вам тут стоять!

Мы оба заикнулись было: «Дяденька, еще маленько!» — но Кузьма был неумолим:

— Сказано слезать!

Может быть, это было и хорошо, что наш угрюмый вожак не дал «досмотреть». В памяти осталась недопроявленная картина, где смешались краски заката, всхолмленность местности, скрашенная расстоянием пестрота домов и причудливая рама верхисетского пруда. На меня этот пруд тогда произвел такое впечатление, как будто я увидел его впервые, хотя не раз с Мишей ходил с удочками далеко по берегу, в том числе на Большой и Малый конный. Так назывались два мыса в юго-восточной части пруда, где в летнюю пору пасли лошадей. Точнее, выпускали на кормежку с закованными в железо передними ногами «для сохранности от воров». С этого места я имел возможность видеть ближний остров Баран, но он ничем меня тогда не привлекал. Наоборот, это даже усилило мои возражения в споре с Мишей, который «задавался своими островами».

— Подумаешь! Пустырь и пустырь! Нисколечко не интересно!

Но, когда посмотрел на пруд с вышки колокольни, острова неудержимо потянули меня. На нашем заводском пруду

их не было, а тут и дальние и ближние, и все они с колокольни казались красивыми.

— Хоть бы на ближнем побывать!

У Еремеевых была лодка, которая считалась дедушкиной. Даже взрослые не имели права пользоваться «без дедушкина слова». Обойтись без этого «слова» было нельзя, потому что с ним передавался и ключ от замка, которым была замкнута цепь у причала — огромной коряжины с вбитыми в нее пробоями. Одному Мише лодка не доверялась, а когда он указывал на меня, как товарища, Гаврило Фадеич сказал:

— У двоих и баловства вдвое.

И, как мы ни упрашивали, старик уперся на своем:

— Нельзя.

Помог, вернее, подвел нас рыбный пирог. В этом году старшему брату Миши исполнился двадцать один год, и в ноябре он должен был явиться на призывной участок. По такому случаю решили справить именины «по-хорошему», то есть с приглашением родных и близких знакомых. Дедушка две ночи кряду ездил с мережами, и очень удачно. Именины пришлись на воскресный день. Зная, что будут гости, я с утра не пошел к Мише, но он сам прибежал за мной:

— Пойдем! Дедушка за рыбным пирогом подвыпил. Сговорим его!

Я не стал возражать, и мы побежали. В избе было шумно. Гаврило Фадеич сидел на крыльце с каким-то незнакомым мне стариком. На просьбу Миши о лодке Гаврило Фадеич сначала ответил решительным отказом:

— Сколько раз говорить — нельзя!

Но у нас оказался неожиданный союзник, старик, сидевший рядом с Фадеичем. Узнав, что мы просим лодку, он проговорил:

— А я своему даю. В какую хошь погоду. Такой же, как вот эти. Беспрекословно даю. Пускай приучается.

Гаврило Фадеич посмотрел на небо, вытащил из кармана заветный ключ и, подавая Мише, проговорил:

— Ладно уж, потешьтесь для братовых именин. Только больше чтоб никого не брать и засветло домой! Весла берите, которые полегче.

У лодок, рассчитанных для ботанья и лученья, где человеку приходится работать стоя, главным качеством считается устойчивость, но легкостью хода такие лодки не отличаются. Мы сначала решили ехать на Дальние острова, но скоро убедились, что и расстояние до Барана нелегко одолеть двум десятилеткам. Оба были в поту, набили мозоли на руках, когда приплыли наконец к этому острову. Тут решили сделать остановку.

Пристали с восточной стороны. Лодку, сколько могли, вытащили на берег, поспорили друг с другом о количестве и качестве своих мозолей и для передышки занялись игрой. Оба мы читали «Робинзона», поэтому без раздумья решили играть в «Робинзона на необитаемом острове». Вид заводских труб, плотины, церквей и домов Верх-Исетска, конечно, мешал представлению острова необитаемым, поэтому мы перекочевали на западную сторону Барана, откуда виден лишь дальний бор. Редкие лодки катающихся и рыбаков мы старались не замечать. При организации игры возникло немало спорных вопросов. Прежде всего надо было решить, кому быть Робинзоном, кому — Пятницей. Решили этот вопрос жеребьевкой. Дальше вышло серьезное затруднение в способе, как выразить готовность Пятницы во всем слушаться Робинзона. Один уверял, что Робинзон должен поставить ногу на спину Пятницы, а другой говорил — на плечо, что казалось просто невозможным. Дальше возник еще более трудный вопрос: что делать на необитаемом острове? Припомнили, что прежде всего надо развести огонь без спичек. Островок был безлесным. В расщелинах камней только изредка встречались карликовые березки. Нашли все-таки сухих прутиков и стали их тереть один о другой, но они лишь чуть теплели, а огня не было. Хотели соорудить из таких прутиков сверло, но не было шнурка. Миша сообразил, что можно заменить шнурок гайтаном от креста, но нужна была еще планка с отверстием в середине. В нашем же распоряжении был один инструмент — мой перочинный ножик, у которого маленькое перо вихлялось, а большое было наполовину подломленным.

Пока мы пытались преодолеть трудности добывания «де-

ревянного огня», погода, как это иногда бывает на Урале, резко переменилась: стало холодно, подул северо-западный ветер и начал разводить волну. Сперва нас это даже порадовало: все-таки на необитаемом и в бурю да и обратно при попутном ветре плыть легче. Нас занимало, когда по гладкой поверхности воды побежали пятна ряби. Мы видели, как они, сбегаясь и разбегаясь, перешли в бесформенное волнение, из которого вскоре возникли определенные ряды волн.

Когда на волнах стали появляться белые гребешки, мы стали отыскивать «девятые валы». Так как невозможно было точно сговориться о ряде, с которого начинать, то счет у нас не сходился и возникал спор, который вал «девятее».

Мы видели, как с пруда поспешно уходили лодки. Один из рыбаков, проезжавший вблизи острова, крикнул:

— Пора домой, ребятишки! Скорей убирайтесь!

Нас обидел этот окрик неизвестного, и Миша ему ответил:

— Не маленькие! Без тебя знаем.

Западная сторона пруда теперь стала совсем безлюдной и мрачной, ветер усиливался, и начинало темнеть. Стало страшновато, но именно поэтому каждому из нас не хотелось первому заговорить о возвращении. Еще постояли, но уже оба томились желанием поскорее добраться до дома. Я дипломатически выразил опасение:

— Дедушка-то, поди, осердится, что долго лодку не ведем. Другой раз ключа не даст.

— И то,— быстро согласился Миша.— Пожалуй, пора домой.

Но когда мы подошли к месту остановки, то лодки не оказалось. Ее, как видно, скачало волной, пока мы считали «девятые валы». Нам таки пришлось провести довольно прохладную ночь на «необитаемом острове в бурю», и ни один из нас не мог похвалиться, что это доставило ему удовольствие. Мы сначала до хрипоты кричали в сторону плотины, потом перекорялись друг с другом, по чьей вине упустили лодку, а когда увидели на берегу двигавшиеся огни фонарей, всплакнули над своей участью: «Думают, видно, что мы утонули».

Миша ждал телесных неприятностей. Мне это, пожалуй, не грозило, но было хуже: мой «случай с городской учебой» ставился под удар. На выручку пришло «страшное». Оно заслонило все остальное. Вспомнились разговоры о щуке, которая втягивает в пасть целую утку, о гигантском налиме, который выходит на берег и может «присосаться». А вдруг он тут близко? На всякий случай отодвинулись от берега. Все-таки холод осенней ночи оказался сильнее «страшного». Мы сначала подпрыгивали и стучали зубами в одиночку, потом занялись добыванием внутреннего тепла: стали бороться. Кончилось тем, что мы, примостившись от ветра за скалистым выступом, прижались друг к другу и крепко уснули. Холод, однако, поднял нас рано, и мы издали увидели, что по направлению к острову шла большая четырехвесельная лодка. В носовой части сидел дедушка Миши, дальше — его отец и старший брат. К своему удивлению, я увидел, что и Никита Савельич в лодке. Екнуло сердце: что будет? Мы даже готовы были куда-то бежать, когда лодка стала подходить к острову, но все переменил выкрик дедушки:

— Испужались, мошенники!

В голосе вовсе не слышно было угрозы, и Миша стал уверять:

— Ничего не испугались! Подумаешь, беда, лодку унесло!

— Рот разинешь, так не то что лодку, голову унесет. А это

ты врешь, что не испугались. На берегу слышно было, как оба ревели да маму кричали! Видишь, голос осип и глаза подпухли.

По части мамы была явная выдумка, но почему-то все в лодке засмеялись над этим. Верили, видно, а дедушка Миши звал:

— Идите скорее — уши драть буду.

В нашем положении не оставалось ничего другого, как идти в лодку. И дедушка, подхватив Мишу, неожиданно заплакал.

— Испужал ты меня, Мишунька!

Тут пришла Мишина очередь, и он «в голос заревел», обращаясь к отцу:

— Не буду, тятя!

— Ладно уж! — промолвил тот.— Надевай вон полушубок. Намерзся, поди?

Только старший брат проворчал:

— Сделал ты меня именинником!

Но отец строго оговорил:

— Не znозди! Со всяким может случиться.

— А ты, Егорко, что скажешь? — спросил меня Никита Савельич.

— В Робинзоны мы играли,— начал я оправдываться.

— Вы играли, а мне отдуваться! — сухо проговорил он, потом более ласково: — На-ка плед. Закутайся хорошенько. Продрог, наверно.

В книжках мне не раз случалось встречать такие слова, как плащ и плед, но я не знал, что плед — большая шаль, в какую обыкновенно кутаются женщины, отправляясь зимой в дорогу. Я не умел с ней обращаться, да и стыдно было в «бабью одежду снаряжаться». Никита Савельич строго приказал:

— Разверни и набрось на плечи.

Пришлось послушаться. Сразу стало теплее. Миша уже отогрелся в полушубке и, сидя рядом с отцом, поглядывал на меня веселыми глазами. Я знал: будет потом смеяться, что я ехал в женской шали, как маленький, но мне было не до этого. Беспокоило другое: как дальше будет.

Вышло не так, как я думал. Когда мы пришли домой, Никита Савельич сказал:

— Получи Робинзона! Он, видишь, играет, а мне от тебя житья нет. Ничего ему не сделалось.

Софья Викентьевна, ходившая с заплаканными глазами и со своим «нюхательным пузырьком», была необычно приветлива. Сейчас же стала поить меня чаем с малиновым вареньем, потом уложила на кушетку, натерла ноги спиртом и укрыла своим мягким одеялом, тем самым, что удивило меня в первый день приезда в город.

За чаем я рассказал, как было дело. Старался, конечно, обелить себя, но боялся сваливать всю вину на Мишу, чтоб не запретили играть с ним. Никита Савельич, понявший мою хитрость, проговорил:

— Подобрались! Два сапога пара. Развести вас надо. Ты сегодня на уроки не пойдешь. Буду в городе, скажу там, что прихворнул.

Этот разговор меня встревожил. Еще хуже стало, когда Парасковьюшка укорительно сказала:

— Ты что же, милый сын, вытворяешь? Не у своих, поди, живешь! С оглядкой надо. Что мне отец с матерью скажут?

Я и сам еще в лодке почувствовал, что значит «жить со своими» и «не со своими», и теперь не верил ни теплому одеялу, ни приветливости Софьи Викентьевны. Мне захотелось домой, чтоб там «наругали как следует» и... простили тоже как следует.

Пролежав день, плохо спал ночью, но на следующее утро ушел в училище. Дни пошли обычным порядком, а все-таки я не переставал чего-то ждать. Так и вышло. Никита Савельич, возвратившись из поездки, сказал:

— Видел твоих. Сговорился с ними. Завтра переведу тебя на ученическую квартиру. К нам будешь ходить каждую субботу. Воскресенье здесь, а в понедельник утром на уроки. Понял? Книжки, значит, с собой приносить будешь.

После случая с «необитаемым островом» Софья Викентьевна как-то потеплела ко мне. Раньше всегда обращалась на «вы», теперь говорила «ты», подарила мне чудесную книгу «Принц и нищий». Раз даже стала пересматривать мое бель-

ишко. Нашла, что оно плохонькое, и сделала замечание Парасковьюшке за непростиранный ворот, чем вызвала большое недовольство.

— Нашла куда сунуться! Без тебя не знают! Простирай у них, попробуй! А что рубашонки плохие, в том ничьей вины нет. Всяк бы доброе заводил, да не у всякого хватает! — ворчала Парасковьюшка, когда Софья Викентьевна ушла в свою комнату.

Вообще стало заметно, что Софья Викентьевна изменилась ко мне, но я почему-то этому не доверял, и мне было неприятно, что она теперь звала меня «Горичкой». Вовсе по-девчоночьи. Вот бы Петьша с Кольшей услышали! Было бы смеху на всю улицу.

Услышав теперь о переезде, Софья Викентьевна запротестовала: зачем с этим спешить,— но Никита Савельич загремел:

— Хватит, матушка, с меня твоих сантиментов! Хватит! Парнишка — не игрушка. Изболтается у нас, а там хоть голодно, зато к работе приучат.

Дальше у них пошли «междоусобные разговоры». Софья Викентьевна схватилась за свой «нюхательный пузырек», а кончилось это тем, что мой зеленый сундучок с его владельцем в тот же день оказались на Уктусской улице, в доме Садина. Софья Викентьевна при прощании даже расплакалась и поцеловала меня в веки. Я старательно обтер это место пальцем и подумал: «Как-то у нее все не по-людски выходит».

Но мне почему-то стало жаль ее, и я искренне заверил, что в следующую субботу обязательно приду, хотя перед этим решил: «Ни за что ходить не стану».

В верхнем этаже дома Садина, в расстоянии полутора квартала от училища, была одна из ученических квартир. Это была не бурса, в которую мне предстояло вскоре перебраться, но все-таки преддверие. Придя с уроков, ученики не имели права уходить с квартиры без особого разрешительного билета, который подписывался только смотрителем или инспектором училища. Даже простой выход на улицу против дома считался преступлением. Вечером с пяти до девяти ча-

сов полагались обязательные вечерние занятия, делившиеся получасовым перерывом на «первые занятные» — два часа и «вторые занятные» — полтора часа. На «первых занятных» не разрешалось чтение книг из библиотеки, надо было сидеть над учебниками даже в том случае, когда тебе казалось, что уроки приготовлены. Квартира почти ежедневно посещалась кем-нибудь из учителей или надзирателей училища, которые проверяли подготовку к урокам и общее прохождение занятий. Случаи какого-нибудь нарушения установленного порядка «заносились в квартирный журнал», который в конце месяца представлялся инспектору при постановке баллов по поведению.

Переход на режим ученической квартиры дался не без трудностей. Мне казалось диким, что нельзя выбегать на улицу со двора даже в свободные часы. Не менее удивляли и обязательные сидения за учебниками в течение двух часов. На деле же это оказалось необходимым и своевременным. В сущности, до этого я лишь учил наизусть стихотворения, большая часть которых была мне знакома раньше, а тут пришла пора заниматься более основательно.

В училищной квартире жило девять человек разного возраста. Трое — мои соученики, двое великовозрастных, не один раз остававшихся на повторительный курс, и четверо третьеклассников, которые уже причисляли себя к старшим. Оба великовозрастные были из «тихих» зубрил. Они надоедали разве тем, что не давали повозиться и пошалить во время вечерних занятий. Из третьеклассников был один «охочий позадаваться», но физические его возможности были ограниченны, и, когда мы, первоклассники, в какой-то игре дружно его отлупцевали, он стал с нами на равную ногу. Вообще мне, как видно, повезло: ни в квартире, ни потом в общежитии не помню, чтоб кто-нибудь обижал и притеснял меня как малыша. Вошел в новую для меня жизнь просто, без особых трудностей и переживаний.

У садинского дома было одно ценное качество. Он находился рядом с верходановским садом, на угловом участке которого достраивалось наше общежитие.

Значительная часть участка была все-таки пустырем, за-

росшим репейником и крапивой. Посредине имелись два небольших озерка, которые тоже представляли для ребят большой интерес зимой как катки, а весной, при полой воде, как место для плавания на плотах. Училищное начальство усиленно боролось против последнего использования озерков, снижало баллы по поведению, но все-таки это крепко держалось.

«Садинская квартира», то есть те десять человек, которые там жили, были первыми обосновавшимися на новом месте. Владелец дома Сергей Вавилыч проделал в своем заборе калитку, и мы на законном основании, не выходя на улицу, могли носиться по огромному пустырю, прятаться в развалинах, кататься — с оглядкой, впрочем, — на плотиках, которыми служили полотнища каких-то ворот, обрезки половых досок.

Ребята, живущие в других квартирах, а также казеннокоштные, ютившиеся в самом училищном здании, завидовали нам и усердно расспрашивали, как идет достройка, скоро ли всех переведут на верходановский участок.

Когда началась осенняя ловля птиц, это место стало и боевым участком. Городские ребята привыкли пользоваться старыми березами для установки силков и западенок, но теперь у них появились полноправные конкуренты из садинской квартиры, и, как водится, началась война, к обоюдному удовольствию сторон.

Ученикам училища, разумеется, не дозволялось заниматься птицеловством, но у нас оказался удобный выход. Квартира звалась садинской, но Сергей Вавилыч был только владельцем дома, а ученическую квартиру в верхнем этаже держала его дальняя родственница. Сам владелец дома со своей семьей жил в нижнем, полуподвальном этаже, и его квартира не подлежала инспекторской ревизии. Садин, по основной профессии маляр, был большим любителем охоты, рыбной ловли и всего, что связано с походами за город. Хозяйственные люди, как мне потом удалось слышать, не очень одобрительно отзывались о нем:

— Вавило-то ему вон какой дом оставил и к мастерству приучил. Живи, как у Христа за пазухой, а он себя, гляди-ка,

в подвал забил. Недаром, видно, сказано: «Охота — не работа, хлеба не даст».

Сергея Вавилыча действительно чаще можно было увидеть с ружьем или рыболовными снарядами, чем с малярными кистями. Оценивая свое положение, этот высокий длиннолицый человек говорил:

— Больше малярных работ наберешь, меньше годов проживешь. Мой вон родитель на сорок пятом свернулся. Дом нажил, а веку не дожил, а мне желательно наоборот: хоть дом проживу, а свое доживу. Больно ведь занятно в лесу-то и на реке тоже. Вон я...

И он начинал рассказывать о чем-нибудь недавнем. Тонкое, детское чутье подсказывало, что говорит это не промысловик, а человек, влюбленный в природу и хорошо ее наблюдающий. Особенно часто он рассказывал о весенней охоте на глухарей. При этом неизменно выплывало «лучшее токовище в нашем краю», которое удивляло Садина своей добычливостью. Ведь и место не больно удаленное. Между Челябинским трактом и Полевской дорогой есть свечной завод. Там воск в больших чанах топят, потом в воду спускают, воск и застывает пластинками, вроде стружки. Эту восковую стружку раскидывают на большие решета и отбеливают на солнце, как холсты. Места под отбеливание многонько взято, а людей не так уж много. Двое-трое при варке да пятеро-шестеро по разноске восковой стружки. Что и говорить, дело тихое, а все-таки люди. И рядом, в лесочке, это самое токовище. Куда я ни хаживал, а лучше не видал. Иной раз за одну охоту столько набьешь, что едва до дому донесешь. И не тому дивишься, что охота удачливая, а вот как это устроено: направо дорога, налево дорога, город близко, а глухарь все-таки это свое токовище не бросил!

В числе других трофеев охоты у Садина была живая лиса. Она была привязана недлинной цепью к обыкновенной собачьей конуре. Понятно, что каждому из нас хотелось приручить лису, но она злобно тявкала тонким голоском на каждого приближающегося, а если видела что-нибудь у него в руках, то скрывалась в свою конуру. Ближе других подпускала лишь Сергея Вавилыча, когда он приносил еду, но

близко не подходила, пока Садин не отойдет. Сосед, нередко заходивший к Сергею Вавилычу, спрашивал:

— На что ты эту нахлебницу держишь? Давно на воротник поспела, а он ее рыбой да мясом кормит! В копеечку она тебе обойдется, а получишь столько же, сколько и сейчас.

— Не конторский я, — отвечает Садин, — чтоб мне все копейки сосчитать. У меня тот интерес — не удастся ли ее приручить.

В квартире у Садина была не одна клетка с птицами, а в сенях жили два ручных голубя. Мы пользовались этой особенностью нашей квартиры: свою птицеловскую добычу тащили к Сергею Вавилычу.

Против садинского дома был тогда один маленький домик, в котором останавливались приезжавшие из монастырских заимок. Через ворота этого домика можно было попасть в монастырскую рощу, которая занимала тогда огромную площадь, обнесенную с трех сторон каменной стеной.

Нас, ребят, конечно, привлекали монастырские стены, особенно сложенные из дикого камня. Очень хорошо тут играть «во взятие крепостей». При всей занимательности верходановского сада и строгом запрещении отлучаться с квартиры мы все-таки бегали на нынешнюю улицу Большакова, чтоб оттуда «занять крепость». Кстати, здесь и вовсе в других целях, как я узнал впоследствии, были налажены перелазы. Да ведь как ловко! Стена как стена, а глядишь, один камень убран, другой выдвинут — иди, как по лестнице! Только, конечно, знать, где эти перелазы.

Живая лиса во дворе, верходановская усадьба, монастырская стена, которую можно брать приступом, чечетки, щеглы и жуланы «не хуже наших», Сергей Вавилыч, новый уклад жизни — все это так захватило меня, что первые две субботы я не ходил в Верх-Исетск. Когда же наступила осенняя слякоть и игры волей-неволей были перенесены в комнаты, я после какого-то столкновения в своей среде вспомнил о Мише, о Парасковьюшке, о Никите Савельиче, даже о Софье Викентьевне и почувствовал, что мне стало скучно. Идти в Верх-Исетск уже не решался: «Заругают, что долго не был».

В то же время тревожило, как сказать дома, что не хожу к Никите Савельичу. От этого стало еще беспокойнее. Но вот Никита Савельич, возвращаясь из Сысерти, заехал сам. Он рассказал о моих домашних, спросил, как учусь, потом стал разговаривать с другими ребятами. Как выходец из духовных, он знал многих «по отцам», а разговаривать он умел. Всем нашим так понравился, что я потом этим даже гордился.

Посидев в верхнем этаже, он сказал мне:

— Ну, пойдем к Вавилычу.

Оказалось, что он хорошо знал Садина и запросто называл его Вавилычем. Разговаривали они об охоте. Никита Савельич сам охотником не был, но очень интересовался истреблением волков, которые тогда довольно заметно мешали скотоводству. Прощаясь с Садиным, он передал ему два серебряных рубля и попросил:

— Ты, Вавилыч, направляй этого парнишку каждую субботу и канун праздника к нам. Когда вовсе грязно, найми ему извозчика. Выйдут деньги, скажи: с ним пришлю либо сам завезу.

С той поры мои субботние походы в Верх-Исетск стали регулярными. Никита Савельич вовсе не ругался, а Софья Викентьевна усиленно меня подкармливала, хотя я и в квартире не голодал.

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ, ПОНЯТИЙ И ВЫРАЖЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СКАЗАХ

Азовка-девка; Азовка — мифическое существо, одна из «тайных сил». Стережет клады.

Арту́ть — рту́ть. Артуть-девка — подвижная, быстрая.

Бало́дка — одноручный молот.

Ба́ссенький, -ая — красивенький, -ая.

Берга́л — переделка немецкого «бергауэр» — горный рабочий. Сказителем это слово употреблялось в смысле «старший рабочий».

Бла́знить — казаться, мерещиться; побла́знило — показалось, почудилось, привиделось.

Блёнда, блёндочка — рудничная лампа.

Бортева́я сосна — здесь: сосна с дуплом.

Вид — вид на жительство, паспорт. По чужому виду — по чужому паспорту.

Ви́ца — хворостина, прут, розга.

Влего́тку — легко, свободно, без труда, безопасно.

Во́жгаться — биться над чем-нибудь, упорно и длительно трудиться.

Воро́бы — снаряд для размотки пряжи.

Вострошá́рая — вострорлазая.

Вы́дюжить — выдержать, вытерпеть, перенести.

Га́литься — издеваться, мучить с издевкой.

Глядéльце — разлом горы, глубокая промоина, выворотень от упавшего дерева — место, где видно напластование горных пород.

Го́лбец — подполье; рундук около печки, где делается ход в подполье, обычно зовется голбчик.

Голк — шум, гул, отзвук.

Гоноши́ть — готовить.

Грань — см. «Заводская грань».

Да́ча — здесь: земельные и лесные угодья.

Доли́ть — одолевать; доли́ть приняла — стала одолевать.

Дробильные бегуны — тяжелые колеса, которыми дробят в песок золотоносные камни.

Дудку бить, дудку пробить — вырыть шурф, глубокую яму.

Ела́нь, ела́нка — травянистая поляна в лесу (вероятно, от башкирского jalan — поляна, голое место).

Жарова́я сосна — рослая, высоко вытянувшаяся сосна.

Железный круг — привокзальные склады железа в старом Екатеринбурге (теперь Свердловск).

Жу́желка — название мелких самородков золота.

Забо́й — место в руднике, где вырубают руду, каменный уголь.

Забе́дно — обидно.

Заводская грань — линия, отделявшая территорию одного заводского округа от другого. Чаще всего грань проходила по речкам и кряжам, по лесу отмечалась особой просекой, на открытом месте — межевыми столбами. За нашей гранью — на территории другого заводского округа, другого владельца.

Заво́зня — род надворной постройки с широким входом, чтобы можно было завозить туда на хранение телеги, сани и пр.

За́все — постоянно.

Заде́лье — предлог.

Зарука́вье — браслет.

Запо́н, запо́нчик — фартук, фартучек.

Заро́д — стог, скирд сена.

Земляная кошка — мифическое существо, живущее в земле. Иногда «показывает свои огненные уши».

Змеёвка — дочь Полоза. Мифическое существо, одна из «тайных сил». Ей приписывалось свойство проходить сквозь камень, оставляя после себя золотой след (золото в кварце).

Змейный праздник — 25 (12) сентября.

Золотые таракашки — крупинки золота.

Из кистей выпала.— Раньше на Урале в сельских местностях и в городских поселках женщины в большие праздники одевали поверх сарафана пояса, вытканные из чистого разноцветного гаруса. Мужчины тоже носили такие пояса, только они были чуть поу́же, а кисти покороче. Красивая девочка сравнивается с гарусинкой, выпавшей из кистей такого пояса. (Примеч. В. А. Бажовой.)

Изобро́чить — нанять по договору (оброку), законтрактовать.

Изро́биться — выбиться из сил от непосильной работы, потерять силу, стать инвалидом.

Каёлка, кайло, кайла — инструмент, которым горнорабочие отбивают, откалывают руду.

К а з н а — употребляется это слово не только в смысле — государственные средства, но и как владельческие по отношению к отдельным рабочим. «С п е р в а с т а р а т е л и д о б ы в а л и тут, п о т о м з а к а з н у п е р е в е л и» — стали разрабатывать от владельца.

К а л ы́ м — выкуп за невесту (у башкир).

К а́ м е н к а — банная печь с грудой камней сверху; на них плещут воду, «подают пар».

К о з ё л — здесь: застывший при плавке и приставший к чему-нибудь (например, к печи) металл (см. «Посадить козла»).

К о с о п л ё т к и п л е с т и — сплетничать.

К о ш м а́, к о ш о́ м к а — войлочная подстилка.

К о ш — войлочная палатка особого устройства.

К р е п о с т ь — крепостная пора, крепостничество.

К р и́ ц а — расплавленная в особой печи (кричном горне) глыба, которая неоднократной проковкой под тяжелыми вододействующими молотами (кричными) сначала освобождалась от шлака, потом под этими же молотами формировалась в «дощатое» или «брусчатое» железо. К р и ч н а я, к р и ч н а, к р и ч н я — отделение завода, где находились кричные горны и вододействующие молоты для проковки криц; крична употреблялась и в смысле — рабочие кричного отделения. К р и ч н ы й м а с т е р — этим словом не только определялась профессия, но и атлетическое сложение, и большая физическая сила.

К р о́ с н ы — ручной ткацкий станок, на котором ткут холст.

К у р а́ й — башкирский музыкальный инструмент, род дудки, свирели.

Л и с т в я́ н к а — лиственница.

М е р т в я́ к — мертвец; иногда — только потерявший сознание («Сколько часов мертвяком лежал»).

Н а в и д я́ ч у — на глазах, быстро.

Н а́ л и — даже.

Н е о ч е с л и в ы й — неучтивый, невежа.

Н е о́ х т и м н е ч е н ь к и ж и в у т — без затруднений, без горя, спокойно.

Н е т о г о с л о в а — сейчас, немедленно, без возражений.

Н я́ з я — река, приток Уфы.

Н я́ з и — лесостепь по долине реки Нязи.

О б а́ л ь ч и к — пустая порода.

О б о́ й — куски камня, которые откалываются, отбиваются при первоначальной грубой обработке, п р и о к о л т ы в а н и и.

О б о р а́ т ь — побеждать, осиливать в борьбе.

О б о р у́ ж е н н ы й — вооруженный, с оружием.

О б р а т а́ т ь — надеть оброт, недоуздок, подчинить себе, обуздать.

О б у́ й — имя сущ. м. р. — обувь.

О г н е в а я р а б о т а — работа возле сильного огня, например у доменных печей.

О г р а́ д а — двор (слово «двор» употреблялось лишь в значении семьи, тягловой и оброчной группы, но никогда в смысле загороженного при доме места).

О д и н а́ р к а — улица, на которой только один ряд домов.

О д и н о в а́ — один раз.

О к л е м а́ т ь с я — прийти в сознание, начать поправляться.

О к о л т а́ т ь — обтесать камень, придать ему основную форму.

О т к а т ь — отброс.

О т у́ т о в е т ь — отойти, прийти в нормальное состояние.

О х л ё с т ы ш, о х л ё с т, о х л ё с т к а, о х л ё с т а н н ы й х в о с т, п о д о л — человек с грязной репутацией, который ничего не стыдится, наглец, обидчик.

О х т и м н е ч е н ь к и, о́ х т и м н е (от междометия «охти», выражающего печаль, горе) — горе мне, тяжело. «Жизнь досталась охтимнеченьки» — тяжелая, трудная.

П а н о́ к — бабка, кость из ноги коровы; п а н о к - с в и н ч а т к а — бабка со свинцом внутри; употребляется в игре в бабки для удара по кону — ряду бабок.

П а р у́ н — жаркий день после дождя.

П е с к о з о́ б — пескарь.

П и м ы́ — валенки.

П о в е́ т ь — чердак, сеновал.

П о г а́ л и т ь с я — насмехаться, издеваться, измываться.

П о ж а р н а — она же м а ш и н а — в сказах упоминается как место, где производилось истязание рабочих. Пожарники фигурируют как палачи.

П о к о́ р п у с н е е — плечистее, сильнее, здоровее.

П о к у́ ч и т ь с я — попросить, выпросить.

П о́ л е р н а в е с т и — отшлифовать.

П о м с т и́ л о с ь — почудилось, показалось.

П о м у ч н е́ т ь — побледнеть.

П о н а́ с е р д к е — по недоброжелательству, по злобе, из мести.

П о н а́ с т о в а т ь — понаблюдать, последить.

П о н и́ т о к — верхняя одежда из домотканого сукна (шерсть по льняной основе).

П о п у с к а́ т ь с я — отступить, отступиться.

П о с а д и т ь к о з л а — остудить, «заморозить» чугун или медь. Отвердевшая в печи масса называлась козлом. Удалить ее было трудно. Часто приходилось переделывать печь.

П о с л о́ в н ы й — послушный, кто слушается «по слову», без дополнительных понуканий, окриков.

П р а́ в и т ь с я — направляться, держать направление.

Пригóн — общее название построек для скота (куда пригоняли скот).

Прииск — место, где найдены и добываются драгоценные металлы (золото, плáтина) и драгоценные камни.

Прикáзный — заводской конторский служащий. Название это держалось по заводам и в 90-х годах.

Прикáзчик — представитель владельца на заводе, главное лицо; впоследствии таких доверенных людей называли по отдельным заводам управителями, а по округам — управляющими.

Прилйк — видимость: **для прилйку** — для видимости, ради приличия.

Прискáться — придраться.

Посы́киваться — намереваться.

Прйтча — неожиданный случай, помеха, беда.

Приходйть на кого-нибудь — обвинять кого-нибудь, винить.

Причтётся — придется.

Пря́сло — изгородь из жердей.

Пустоплéсье — открытое место среди леса.

Разостáвок — то, чем можно расставить ткань: вставка, клин, лоскут, в переносном смысле — подспорье, прибавок, подмога.

Ремьё, ремкй — лохмотья, отрепье. **Ремками трясти** — ходить в плохой одежде, в рваном, в лохмотьях.

Сам-Петербурх — искаженное Санкт-Петербург — старинное название Ленинграда.

Светский; из светских — то есть не из детей служителей церкви.

Сголубá — голубоватый, бледно-голубой.

Синю́ха, синю́шка — болотный газ.

Скудáться — хилеть, недомогать, хворать.

Скы́ркаться — скрести, скрестись (в земле).

Слань (вернее: **стлань**) — настил по дорогам в заболоченных местах. Увязнуть в болоте такая стлань не давала, но ездить по ней тоже было невозможно.

Слйчье — удобный случай; **к сличью пришлось** — подошло.

Смóтник, -ца — сплетник, -ца.

Снorовля́ть, сноровить — содействовать, помогать, сделать кстати, по пути.

Сóйкнуть — вскрикнуть от испуга, неожиданности (от междометия «ой»).

Сок, соковина — шлак от медеплавильного и доменного производства.

Солóвые — лошади желтовато-белой масти.

Сохáтый — лось.

Спа́сов день — 6 августа старого стиля. К этому дню поспевали плоды и овощи, и был обычай с этого дня начинать их собирать и употреблять в пищу.

Спра́вный — исправный, зажиточный: справа — одежда, внешний вид. Одежонка справная — то есть неплохая. Справно живут — зажиточно. Справа-то у ней немудренькая — одежонка плохая.

Станово́й, или становой пристав,— полицейский.

Стара́тель — человек, занимавшийся поиском и добычей золота.

Ста́рица — старое, высохшее русло реки.

Стенбухарь — так назывались рабочие у толчеи, где дробилась пестами руда. Этим рабочим приходилось все время бросать под песты руду — бухать в заградительную стенку.

Столё́шница — верхняя доска стола, поверхность стола; доска, на которой замешивают и раскатывают тесто.

Стуря́ть — сдавать, сбывать (поспешно).

Сугóнь — погоня; в сугóнь пошли — бросились догонять.

Сумки надевать — дойти или довести семью до сбора подаяния, до нищенства.

Сурьмяный — окрашенный в черный цвет.

Тайный купец — скупщик золота.

Тамга́ — знак, клеймо.

Теплу́ха — печурка.

Толми́ть — твердить, повторять.

То́нцы-зво́нцы — танцы, веселье.

Торгован Мерку́шка — Меркурий, бог торговли в древнеримской мифологии; изображался с кошельком и жезлом в руках и с крылышками на сандалиях и шляпе.

Тракт — большая проезжая дорога.

Тула́ем — толпой.

Ту́лово — туловище.

Туя́сь, туе́сь, туесо́к, туесо́чек — берестяной бурак, кузовок.

Угланя́та (углан) — баловники, шалуны.

Умуе́тся — близок к помешательству; заговаривается.

Уройм, или урайм (по-башкирски «котел»),— котловина по реке Нязе.

Усторо́нье, на усторо́нье — в стороне, отдельно от других, на отшибе.

Фа́ску, фа́сочку снять — обточить грань.

Фуря́ть — бросать.

Хе́знуть — ослабеть, слабеть.

Хи́тник — грабитель, вор, хищник; хита — хищники.

Ча́тинка — царапинка.

Чебота́рь — сапожник.

Чирла́ — яичница, скороспелка, скородумка, глазунья (от звука, который издают выпускаемые на горячую сковородку яйца).

Чугу́нка — железная дорога.

Ша́дринка — оспинка.

Шляпа-ка́танка — войлочная шляпа с полями.

Щегарь — штейгер, горный мастер.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Для восьмилетней школы

Бажов Павел Петрович

УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ

* * *

Ответственный редактор А. В. Ясиновская. Художественный редактор Н. И. Комарова. Технический редактор Н. М. Сорокина. Корректоры Э. Л. Лофенфельд и Т. Ф. Юдичева.

Сдано в набор 13/II 1970 г. Подписано к печати 17/IV 1970 г. Формат 60×90 1/16. Печ. л. 24,13. (Уч.-изд. л. 20,52 + 1 вкл. = 20,57). Тираж 100 000 экз. ТП 1970 № 157. Цена 79 коп. на бум. № 2.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Зак. 232.